
Дж. Лондон • Г. Уэллс • Г. Мелвилл
Р. Киплинг • Т. Рузвельт • Р. Говард
А. К. Дойл • Э. Уортон
ВСТРЕЧИ С ПРИЗРАКАМИ
СБОРНИК

Встречи с призраками

Артур Конан Дойль, Джек Лондон, Герман Мелвилл, Герберт Уэллс, Эдит Уортон, Джозеф Редьярд Киплинг, Роберт Ирвин Говард

Аннотация
Джек Лондон и др. Встречи с призраками
I. Следы невиданных наук
Артур Мэкен. Черная Печать
Роберт Куттс Армор. Новый вид
Теодор Рузвельт. Вендиго
Эдвард Верролл Лукас. Покинутая
I
II
III
IV
II. Ожидание страшного
Джек Лондон. Записки бывшего женоненавистника
Герберт Уэллс. Бродячая смерть
Роберт Говард. Прикосновение смерти
Винсент О’Салливан. Властелин веков ушедших

III. О страшном с улыбкой
Герман Мелвилл. Господин Громоотвод
Элис Паркер Батлер. Изобретение как хобби
Грант Аллен. Новогодняя ночь среди мумий
IV. Красное и черное. Легенды коренных американцев и афроамериканцев
Л. Фрэнк Баум. Зачарованный бизон
Мэри Истмен. Скала Девы, или Прыжок Веноны
Зиткала-Ша. Украденное дитя
Зора Нил Харстон. Дядюшка Понедельник
Тетушка Джуди Бикерстафф
Чарльз Чеснатт. Бедный Сэнди
V. Все страньше и страньше
Артур Конан Дойл. Выстрел, принесший победу
Пролог
I
II
III
IV
V
VI
VII
Эпилог
Редьярд Киплинг. Окопная Мадонна
Август Хэйр. Встречи с призраками. Страницы

из дневников
Статуя Якова I и смерть леди Солсбери
Рассказ лорда Хоутона о генерале Радовице
Рассказы Германа Меривейла о встречах на море и суше
Тварь из Кроглин-Грейндж
Черная Леди и королева Тереза Баварская
Каменщик Радикофани
Леди Уайльд (?). Баньши
VI. Принять на веру
Эдит Уортон. Отшельник и Дикарка
I
II
III
IV
V
VI
Уилла Катер. Как Волкопес чуть не украл Рождество
Кэтрин Батлер. Царство Божье

Аннотация

Орнитолог Портер решает навестить окутанный мрачными преданиями остров Эйерн. Местные верят, что на его берега время от времени выходят из морских пучин русалки и тритоны. Но то, с чем предстоит встретиться Портеру, гораздо ужаснее и безжалостнее… («Новый вид») Старик Адам Фаррел умирает в одиночестве. В его опустевший холодный дом является некто Фалред. Он решается провести ночь в комнате мертвеца («Прикосновение смерти») В юности охотник Бауман стал свидетелем жуткого происшествия. Вместе со своим напарником они ставили капканы в горной местности. А ночью к их лагерю наведалось нечто, не похожее ни на зверя, ни на человека… («Вендиго»)

Джек Лондон и др
Встречи с призраками

© Панченко Г. К., составление, 2021
© DepositPhotos.com / Sandralise; Svetlanarib79; YaroslavGerzhedovich, обложка, 2021
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2021
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2021



I. Следы невиданных наук

Артур Мэкен. Черная Печать

Фамилию Артура Мэкена (1863–1947) у нас иногда, в полном соответствии с правилами английского произношения, передают как «Мейчен» — но это неверно: она должна звучать по-валлийски. По-английски он и вовсе Джонс, но бабушка со стороны матери, представительница старого валлийского рода, в котором не осталось мужчин, выразила готовность оплатить юному Джонсу образование, если он примет ее родовую фамилию. Артур согласился и был верен этой договоренности всю жизнь.

Как писателя Артура Мэкена «забывали» по меньшей мере трижды — первый раз еще в 1930-х, то есть при жизни. Но каждый раз приходилось вспоминать снова. Иногда — благодаря внутренней эволюции самой литературы, когда, казалось бы, устаревшие направления (прежде всего связанные с хоррором) вновь оказывались востребованными, а иногда — благодаря влиянию на последо-

вателей. Учениками же Мэкена считали и считают себя многие: Лавкрафт, Говард, Стивен Кинг, Дэн Браун… В кинематографе ряд его идей развивали Спилберг, Лукас и дель Торо.

Рассказ, опубликованный в этом сборнике, входит в крупное произведение «Три самозванца» (1895), которое представляет собой нечто среднее между сборником и романом в новеллах. В нем впервые прозвучала мысль о том, что английский «маленький народец» — фэйри, пикси и другие «обитатели холмов» — возможно, не волшебные существа, а некая малая раса из плоти и крови, издавна существующая параллельно человечеству. Которая навсегда застыла в каменном веке, но взамен получила ряд магических способностей.

Именно от «Черной Печати» отталкивался Лавкрафт, создавая, возможно, одно из знаменитейших своих произведений — «Ужас в Данвиче». При этом кое в чем знаменитый американец отстал от своего британского учителя: например, если Мэкен, говоря о «древней расе», не

проецирует на нее современные ему расистские комплексы, то Лавкрафт этого избежать не сумел.

Но самое известное произведение Мэкена было написано не в жанре рассказа или романа. Речь идет о пропагандистской статье (без «отрицательного» смысла: во время Первой мировой войны он как журналист работал в ведомстве пропаганды), которая, отделившись от автора, зажила собственной жизнью. Это легенда о призрачных английских лучниках, которые, перенесшись из времен Столетней войны в 1914 год, заслонили собой обреченных соотечественников (на сей раз воюющих не против французов, а вместе с ними) и открыли из своих луков смертоносную стрельбу по наступающим немцам.

Мы еще встретимся с ней на страницах этого сборника, в рассказе «Окопная Мадонна» Киплинга.

Прошло уже много лет с тех пор, как в моем сознании забрезжило робкое предположение, впоследствии превратившееся в факты, дока-

занные если не полностью, то по крайней мере частично. Прежде всего, путь к этому проложила моя страсть к разностороннему чтению — занятию, ныне считающемуся анахронизмом, благодаря которому я стал своего рода специалистом и с головой погрузился в этнологию. И в те времена, и впоследствии я был шокирован находками, отвергаемыми классической научной мыслью, и открытиями, до сих пор недоступными всем исследователям. В частности, я убедился, что львиная доля устного творчества народов мира представляет собой несколько гиперболизированный отчет о событиях, случившихся на самом деле. Особенно меня увлекли кельтские предания о фэйри — удивительном народце. Именно здесь, мыслилось мне, можно найти следы преувеличения и прямого утрирования — все эти фантастические обличья, маленькие люди, облаченные в зеленое и золотое и веселящиеся среди цветов… Мне казалось возможным провести прямую аналогию между наименованием этой якобы вымышленной расы и описанием внешности и поведения ее представителей. Наши далекие предки нарекли чудовищные создания «феями» и «маленьким народцем» именно потому, что ужасно боялись их — так что их облекли

в чарующие одеяния, прекрасно зная, что на самом деле все обстоит с точностью до наоборот. К перевоплощению также приложила свою могущественную длань и литература, причем начала свою работу достаточно рано, и потому шаловливые эльфы Шекспира уже довольно далеки от своих реальных прототипов. Истинный ужас сделался неузнаваемым под маской плутовского озорства. Однако в более старых преданиях — в тех историях, что рассказывались у костра и заставляли людей истово креститься, — мы видим совсем иное: мне чудился совершенно иной дух в сказаниях о тех детях, женщинах и мужчинах, что таинственно сгинули с лица земли. Крестьяне замечали их в полях, шагающими по направлению к зеленым округлым невысоким холмам — а после уже никто на свете их не видал. А еще ведь есть истории о матерях, что оставляли ребенка мирно спящим за крепко-накрепко закрытой деревянной дверью, а по возвращении домой обнаруживали не пухлощекого розового маленького англосакса, а тощее, морщинистое создание с кожей землистого цвета и пронзительными черными глазами — дитя иной расы. Опять же, чем глубже в старину, тем более зловещими выглядят мифы об ужасных колдунах и ведьмах, об огнен-

ном зле шабашей, а также намеки на демонов, которые возлегали с дщерями человеческими. Но поскольку мы заменили чудовищные «предания о фэйри» байками о милых, хотя и чудаковатых эльфах, точно так же от нас оказалось сокрытым черное безумие ведьмы и ее спутников — его спрятали за популярными сказочками о старухах на метлах, чертовщине и забавных длиннохвостых кошках. Еще древние греки переименовали чудовищных фурий в милостивых повелительниц; как видим, северные народы последовали их примеру. Я неотступно вел исследования, выкраивая время за счет других, куда более важных занятий, и я спросил себя: если предположить, что в старинных преданиях кроется истина, то кем же были те демоны, которые, если верить имеющимся свидетельствам, посещали шабаши? Нет нужды объяснять, что я отбросил все то, что могло бы называться сверхъестественными домыслами Средних веков, и пришел к выводу, что фэйри и черти являются существами одного происхождения и расы. Разумеется, это было лишь догадкой, а германские сказания о былых днях подверглись значительному искажению и гиперболизации, но я все же непоколебимо верил, что за всеми этими художественными нагромож-

дениями скрывается темная изнанка правды. Однако некоторые чудеса, якобы имевшие место, заставляли меня пребывать в сомнениях. Хоть я и был далек от признания того, что в любой из разновидностей современного спиритуализма содержится хотя бы зерно истины, я все же не полностью мог отказаться от предположения, что плоть человека и в те далекие времена, и нынче чуть ли не в десяти миллионах случаев могла оказаться неисчерпаемым источником сил, кажущихся нам волшебными, — и силы эти, вдали от прогрессирующей человеческой цивилизации, действительно выжили в глубинах бытия. Даже у амебы или улитки имеются способности, недоступные нам; вот я и счел, что теория атавизмов способна объяснить множество вещей, до того казавшихся абсолютно необъяснимыми. На этом и базировалась моя точка зрения: у меня имелись веские основания полагать, что безбрежное море самых давних и нескомпрометированных позднейшими пересказами преданий о так называемых фэйри содержит неопровержимые факты. И я предполагал, что элемент сверхъестественного в этих преданиях следует отнести на счет того, что в человеческой памяти как живой мог сохраниться народ, павший под неумоли-

мой пятой эволюции, — народ, чьи способности показались бы нам абсолютно удивительными. Таковой была теория, зародившаяся в моем сознании, и, работая над ней, постоянно имея ее в виду, я словно получал ее подтверждения отовсюду — из раскопок курганов или древних захоронений, из заметок в местных газетах о собраниях любителей старины графства и из разномастной литературы общего содержания. Что же до прочих источников, то помню, как я был поражен принадлежащим перу Гомера выражением «сладкоречивый вития», словно бы до того писатель знал или слыхал о человеке, чьи речи были настолько грубы и примитивны, что мысль, содержащуюся в них, сложно было бы сформулировать. Следуя за моей гипотезой о расе, которая отставала от прочих, я легко мог представить себе существо, говорящее на непонятном языке, который лишь немногим отличается от нечленораздельного рычания грубого животного.

Здесь мне пришлось остановиться, дабы удостовериться, что во всех случаях мои догадки не слишком далеко отходят от реальных событий. Внезапно моим вниманием завладела случайная газетная заметка, напечатанная в местном издании графства. Это был короткий отчет о

том, что с любой точки зрения казалось мелкой деревенской трагедией: сообщалось об исчезновении молодой девушки, и смаковались злобные сплетни, втаптывающие в грязь ее репутацию. Однако между строк я увидел, что весь этот скандал состоит из чистой воды предположений, призванных объяснить то, что в любом другом случае осталось бы необъяснимым. Предположения дрянных соседей девушки были просты: побег в Лондон или Ливерпуль; или же никем не обнаруженное тело, лежащее с привязанным к шее камнем в заросших илом глубинах лесного пруда; или же, на худой конец, убийство. И вот когда я праздно просматривал написанное, меня словно электротоком ударила свежая мысль: что, если мрачный и внушающий ужас народец холмов все еще жив, все еще обитает в глуши, среди раскопанных холмов? Вдруг и сейчас, и позже они продолжают творить зло, описанное в легендах германских народов, неизменные и не способные измениться, наподобие монгольских цыган или испанских басков? Вынужден признать, что идея эта привела меня в неистовство: внезапно стало не хватать воздуха, я обеими руками вцепился в подлокотники кресла, пребывая в смятении и разрываясь между ужасом

и душевным подъемом. Происходящее было настолько же нереальным, как если бы один из моих коллег-естествознателей, прогуливаясь по тихому английскому лесу, внезапно с ужасом обнаружил, что на него нападает слизкий и тошнотворный ихтиозавр, служивший прообразом чудовищных змиев, которых убивали отважные рыцари, или увидал бы, как солнце потемнело от крыльев птеродактилей, драконов из древних преданий. В то же время, поскольку я изо всех сил стремлюсь к познанию, мысль о подобном открытии приводила меня в радостное возбуждение. Я вырвал газетную страничку и засунул ее в ящик старого письменного стола, постановив: это будет первым экземпляром коллекции самых странных событий. Я еще долго просидел в тот вечер, грезя о том, что же удастся в итоге обнаружить, и не позволяя трезвомыслию поколебать свою первоначальную решимость. Однако когда я непредвзято взглянул на дело, то осознал, что мои построения вполне могут базироваться на весьма шатком фундаменте, а факты вполне согласовываться со всеобщим суждением, и я начал относиться к произошедшему там с некоторой осторожностью. Но хоть я и постановил держаться начеку, но все же склонялся к мысли

о том, что единственный оказался бдительным и внимательным, в то время как огромная толпа исследователей и мыслителей оставалась халатной и незаинтересованной, поскольку пропускала мимо глаз наиболее существенные обстоятельства.

К тому времени, когда я сумел пополнить содержимое письменного стола, прошло несколько лет. Второе открытие в действительности ничего особенного не значило, поскольку было — с незначительными отклонениями — лишь повторением первого и произошло в отдаленной местности. Но я все же сумел сделать кое-какие выводы: как и в первом случае, трагедия произошла в безлюдной и пустынной местности. Таким образом, моя теория пока что подтверждалась. Однако третья находка имела для меня решающее значение. Как и прежде, посреди холмов, в месте, отдаленном от оживленных путей, был убит старик, и орудие казни оставили рядом с телом. Но в данном случае, в противоположность предыдущим, поползли слухи и сплетни, поскольку смертельным орудием оказался примитивный каменный топор, привязанный жилами животных к деревянной ручке, что вызвало самые неправдоподобные и нелепые догадки. Самые

дичайшие из них, как с ликованием думал я, заходили слишком уж далеко, и я взял на себя труд вступить в переписку с местным доктором, вызванным для коронерского расследования. Он, человек весьма проницательный, пребывал в замешательстве и написал мне:

«Я не стану рассказывать об этом на каждой площади, профессор Грегг, но, говоря по правде, в происходящем скрыта какая-то чудовищная тайна. Я получил каменный топор в свое распоряжение и тщательно исследовал его возможности. Воскресным утром, когда моя семья и все слуги отсутствовали, я принес его в сад за домом и там, укрывшись за тополями, провел эксперимент. Эта вещь совершенно неподъемна. Быть может, у топора отменный баланс и хорошее распределение веса, позволяющее его применять, или же эффективный удар достигается лишь при особенном положении тела — я не знаю, но уверяю, что к моему возвращению домой я несколько разочаровался в собственных физических возможностях. Мои упражнения напоминали потуги неопытного человека воздеть молот: приложенная сила вернулась ко мне самому, и меня отшвырнуло на спину, в то время как топор упал на землю, не в силах причинить кому-либо вред.

В другой раз я пригласил опытного местного лесоруба, но этот мужчина, сорок лет работавший собственным топором, не смог ничего сделать с топором каменным, и каждый его замах завершался совершенно смехотворно. Короче говоря, если б это не звучало столь бесконечно нелепо, я бы заявил, что уже четыре тысячелетия никто на земле не мог бы нанести сокрушительный удар орудием, которым, вне всяких сомнений, был убит тот старик».

Вообразите, какой музыкой прозвучала для меня эта новость! Впоследствии же, когда я услыхал, что несчастный старик порой болтал о том, что можно увидеть в ночи на белом склоне холма, намекая на неслыханные диковины, и что он был найден утром окоченевшим на том самом холме, о котором распространялся, мое ликование достигло предела. Я чувствовал, что реальность превосходит самые смелые мои ожидания. Но следующий шаг имел еще большее значение. Уже много лет я владел необычной каменной печатью — куском матового черного камня, размером в два дюйма по оснастке и грубым шестиугольником диаметром дюйм с четвертью на стороне оттиска. Все вместе это походило на увеличенный старинный пестик для набивания табака в

трубку. Камень прислал мне с Востока доверенный человек, по словам которого находка была сделана в районе древнего Вавилона. Но письмена, выгравированные на печати, составляли для меня неразрешимую загадку. Они представляли собой нечто вроде ассирийской клинописи, но с существенными различиями, которые мне виделись невооруженным глазом, и все попытки прочесть надпись, руководствуясь правилами расшифровки клинописей, потерпели неудачу. Неудачи, подобные этой, уязвляли мою гордость, и в любую свободную минуту я выносил Черную Печать из кабинета и изучал ее с таким усердием, что каждая буква оставила оттиск в моей памяти, и я мог не глядя воспроизвести надпись, не допустив ни единой ошибки. Вообразите же мое изумление, когда однажды я получил от приятеля из Западной Англии письмо с приложением, при виде которого меня точно молния ударила — ведь я обнаружил тщательно, до малейшей черточки воспроизведенный на большом куске бумаги оттиск Черной Печати. Над оттиском мой друг написал: «Найдено на известняковом камне в Серых холмах, графство Монмутшир. Сделано красноземом в недалеком прошлом». Я вернулся к письму, и вот что писал мой приятель:

«Посылаю тебе в приложении оттиск, сбереженный со всем тщанием. Пастух, проходивший мимо этого камня неделю назад, готов присягнуть, что тогда на нем не было никаких отметин. Письмена, как я уже говорил, были нарисованы поверх камня при помощи краснозема, и каждая буква длиной примерно в дюйм. Как по мне, выглядит похоже на значительно измененные ассирийско-вавилонские знаки, но это, разумеется, невозможно. Также это может быть чьим-нибудь розыгрышем или же, что наиболее вероятно, каракулями цыган, которых в этой глуши более чем достаточно. У них, как тебе прекрасно известно, имеется множество тайных знаков, при помощи которых они общаются между собой. Мне довелось увидать этот камень пару дней назад в связи с довольно неприятным инцидентом, произошедшим в этих краях».

Разумеется, я немедленно ответил приятелю, поблагодарив за копию надписи, и небрежно поинтересовался, о каком именно инциденте он упоминал. Говоря вкратце, я узнал, что красивая и молодая вдова по имени Крэдок, лишь день тому назад потерявшая мужа, отправилась сообщить печальные новости кузине, живущей примерно в пяти милях, и решила пойти ко-

ротким путем, который пролегал через Серые холмы. Она не добралась до дома своей родни. Чуть позже, но в ту же ночь некий фермер, у которого несколько овец отбилось от стада, забрел в Серые холмы. При нем была собака, а в руке он держал фонарь. Внезапно он услышал шум, который впоследствии описал как унылые завывания, которые вызывали жалость. Пойдя на звук, он обнаружил несчастную миссис Крэдок, придавленную к земле куском известняковой скалы. Женщина раскачивалась взад-вперед, кричала и плакала столь душераздирающе, что, по словам фермера, он вынужден был заткнуть уши, иначе убежал бы восвояси. Миссис Крэдок попросила доставить ее домой, и одна из соседок отправилась выяснить, не нужно ли ей чего. Всю ночь несчастная вдова не переставала рыдать, перемежая вопли неразборчивой тарабарщиной. Когда пришел врач, миссис Крэдок признали душевнобольной. Неделю она оставалась в постели, голося, по словам людей, точно приговоренная к вечным адским мучениям, а теперь впала в глубокую кому. Согласно всеобщему мнению, горе от потери супруга помутило рассудок несчастной, и врачи даже некоторое время были уверены, что она не выживет. Нет нужды говорить, насколь-

ко глубоко заинтересовала меня эта история, и время от времени я выуживал у приятеля очередные подробности. Так, я узнал, что спустя шесть недель здоровье женщины мало-помалу восстановилось, а через несколько месяцев она родила сына, нареченного Джервасом, который, к сожалению, оказался слабоумным. Таковы были факты, известные односельчанам миссис Крэдок, но для меня идея о чудовищных созданиях стала настолько неоспоримой, что я неосторожно осмелился высказать пару намеков на правду в кругу друзей-ученых. Стоило этим словам сорваться с моих губ, как я тут же горько раскаялся в содеянном, поскольку выдал величайшую тайну своей жизни; но вскорости обнаружил, что страхи мои оказались беспочвенными. Гнев мешался во мне с облегчением, когда друзья смеялись мне в лицо и я приобрел репутацию сумасшедшего. Ощущая вполне естественный в данных обстоятельствах гнев, я посмеивался над самим собой, осознавая, что поведать секреты этому дурачью — все равно что рассказать о них барханам в пустыне.

Но теперь, обладая столь многими знаниями, я был полон решимости выяснить все до конца и сосредоточился на расшифровке надписи на Черной Печати. Много лет минуты моего отдыха

были посвящены именно этой загадке. Разумеется, львиную долю моего времени отнимали иные обязанности, и лишь иногда мне удавалось выкроить неделю-другую на исследование всей моей жизни. Если бы я решился изложить полную историю этих невообразимых изысканий, данные записи стали бы неимоверно скучными, поскольку содержали бы простой перечень нескончаемых и тошнотворных провалов. Однако, вооруженный знаниями о древних письменах, я был хорошо подготовлен к охоте — именно так я всегда это называл. Я переписывался почти со всеми учеными Европы и, безусловно, остального мира и отказывался верить, что в наши дни какая бы то ни было надпись, сколь бы древней и сложной она ни была, может долго оставаться нераспознанной — учитывая, сколько я прилагал усилий. Однако факт оставался фактом: прежде чем я преуспел, прошло полных четырнадцать лет, причем каждый год рос объем моих профессиональных обязанностей, а время для отдыха сокращалось. Вне всяких сомнений, это замедляло мои изыскания, и все же я изумлен огромным объемом исследований Черной Печати, проделанных мной за этот период. На мой письменный стол стекались переводы древних

письмен, сделанные во все века и во всех точках мира. Я решил, что ничто не собьет меня с толку, и даже малейший намек будет воспринят с энтузиазмом и тщательно изучен. Однако шли годы, я использовал один подход за другим, а результата все не было, и я постепенно впадал в отчаяние, гадая: не может ли Черная Печать оказаться одиноким реликтом расы, полностью исчезнувшей с лица земли и не оставившей более ни единого следа своего существования — короче говоря, закончившей так, как, согласно легендам, сделали это атланты в результате некоей катастрофы, которая погребла их в морских пучинах или под холмами. Подобные размышления несколько охладили мой пыл, и хотя я упорно продолжал исследования, однако прежней веры в себя уже не испытывал.

На помощь пришла случайность. В то время я находился в одном крупном городе на севере Англии и воспользовался шансом посетить заслуживающий величайшей похвалы музей, который уже некоторое время располагался именно там. Его куратор был одним из моих друзей по переписке, и когда мы прогуливались по выставке минералов, мое внимание привлек некий образчик: квадратный кусок черного кам-

ня примерно четырех дюймов в длину, отчасти напоминающий Черную Печать. Я аккуратно взял его, покрутил в ладони и, к величайшему моему изумлению, обнаружил надписи на его обратной стороне.

Очень осторожно я сообщил своему другу-куратору, что данный образец меня заинтересовал и я буду крайне благодарен, если он разрешит мне забрать камень с собой в отель на пару дней. Разумеется, он не возражал, и я поспешил в номер, дабы убедиться, что глаза меня не обманули. На камне имелись две надписи: одна — обычной клинописью, а другая — клинописью Черной Печати, и я осознал, что мои поиски наконец увенчались успехом. Я сделал точную копию обеих надписей, и когда вернулся в свой кабинет в Лондоне и положил перед собой Печать, то уже был готов всерьез потягаться с величайшей загадкой. Исходная надпись на музейном камне хоть и была достаточно любопытна, но все же не имела отношения к моим исследованиям, но вот ее перевод помог мне постичь секрет Черной Печати.

Само собой, приходилось кое-что домысливать; время от времени я испытывал неуверенность относительно той или иной идеограммы, а один

символ, повторяющийся на Печати вновь и вновь, заставил меня всерьез помучиться на протяжении нескольких последующих ночей. Но в конце концов я сумел перевести таинственную надпись на чистейший английский и прочел руководство к чудовищным превращениям, происходившим на холмах. Едва я написал последнее слово, как тут же дрожащими пальцами разорвал бумагу в мелкие клочья, а затем смотрел, как они вспыхивают и чернеют в алых языках пламени. Потом я разворошил серый слой пепла, превратив его в мелкую пыль.

Никогда с тех пор я не выводил пером этих слов; никогда больше я не писал фразы, повествующие, как человека можно обратить в слизь, из которой он явился, а затем вынудить облечься в плоть змеи либо рептилии. Оставались лишь два вопроса, и ответ на них я знал, но жаждал увидеть все собственными глазами. И вот некоторое время спустя у меня появилась возможность снять дом по соседству с Серыми холмами, недалеко от жилища миссис Крэдок и ее сына Джерваса. Нет нужды вдаваться в полное и подробное перечисление произошедших здесь, в месте, где я пишу эти строки, совершенно невероятных событий. Я знал, что в Джервасе Крэдоке течет кровь

«маленького народца», и, как я выяснил позже, он не раз и не два встречал своих сородичей в уединенных уголках этой дикой местности. Когда однажды в саду у него начался припадок и я услыхал, как он разговаривает, а точнее — шипит на леденящем кровь наречии Черной Печати, боюсь, ликование во мне взяло верх над жалостью. Я слышал, как с его губ срываются тайны подземного мира, а также ужасное слово «Айшакшар» — прошу прощения за то, что вынужден был его воспроизвести.

Впрочем, не могу не упомянуть об одном инциденте. В глухом мраке ночи я проснулся от шипящих звуков, которые так хорошо знал. Я поднялся в спальню к несчастному мальчику и обнаружил, что тот бьется в конвульсиях, а изо рта его брызжет пена. Он так сильно извивался на кровати, словно его терзали демоны, а он пытался вырваться из их хватки. Я отнес мальчика в свою комнату и зажег лампу, пока он извивался на полу, взывая к силе, способной освободить его от плоти. Тело его опухло и раздулось, точно пузырь, а лицо почернело прямо на моих глазах, и в решающий момент я поступил согласно указаниям, начертанным на Черной Печати, и сделал все необходимое. С одной стороны, я, вне всякого

сомнения, был в тот миг ученым, скрупулезно наблюдающим за происходящим. С другой же стороны, то, чему я оказался свидетелем, было ужасным, выходящим за рамки не только человечности, но и самых чудовищных фантазий: из лежащего тела вырвалось и распростерлось на полу скользкое колышущееся щупальце, которое пересекло комнату, схватило стоявший на буфете бюст и сбросило его на письменный стол.

Оно исчезло, и остаток ночи я бродил взад-вперед, обливаясь потом, бледный и трясущийся, а затем безрезультатно пытался успокоиться. Я всерьез доказывал себе, что на самом деле не произошло ничего сверхъестественного, что каждый раз, когда улитка высовывает рожки из раковины и шевелит ими, происходит именно то, чему я был свидетелем, но лишь в миниатюре, — однако ужас перечеркивал все доводы рассудка, заставляя меня сокрушаться и испытывать отвращение к себе самому за ту роль, которую я сыграл в ночном происшествии.

Осталось сказать немногое. Я отправляюсь в последнее путешествие, на последнюю встречу. Как я уже отмечал, больше мне нечего желать, и я собираюсь лицом к лицу встретиться с «маленьким народцем». Я возьму с собой Черную

Печать, и знание ее тайн поможет мне; если же я, к несчастью своему, не вернусь из этого путешествия, не стоит вызывать в воображении картину чудовищной судьбы, что меня постигнет.

Перевод Валерии Малаховой
Под редакцией Григория Панченко

Роберт Куттс Армор. Новый вид

Об авторе, известном нам под именем — или псевдонимом? — Роберт Куттс Армор (1874–1945), мы на самом деле мало что знаем. Он жил в Австралии, тогда бывшей, с одной стороны, полноправной частью Британской империи, а с другой — «окраиной цивилизации», где человек, не стремящийся к публичности, мог оставаться в тени. Армор к публичности не стремился. Он использовал множество псевдонимов, и есть серьезные основания предполагать, что один из них, Пьер Квируль, является его подлинным именем, указывая, таким образом, на французское происхождение. Однако большинство работ опубликовано от имени Армора — которое по умолчанию принято считать настоящим или, по крайней мере, «основным».

Начал он публиковаться за несколько лет до Первой мировой войны, продолжал сотрудничество с книжными издательствами до конца 1930-х годов, а с газетами

и журналами — почти всю оставшуюся жизнь. Его руке принадлежат в целом свыше ста рассказов (возможно, много больше, если учесть нерасшифрованные до сих пор псевдонимы), неопределенное количество «малых романов», посвященных приключениям Секстона Блейка (персонаж детективного литературного сериала, выходившего с 1893 по 1978 год; авторство историй, опубликованных в первые десятилетия его существования, часто не раскрывалось), и три больших, изданных под именем Роберт Куттс Армор. Тематика его произведений многообразна: тут и юмор (очень удачный), и детектив (иногда фантастический), и стимпанк (впрочем, тогда так не называвшийся), и альтернативная история… Но конек Армора — хоррор, обычно в сочетании с приключенческим сюжетом.

Вечно терзаемый демоническим морем, окруженный рифами, острыми, как зубы акулы, остров Эйерн — у самого дальнего края Внешних Гебридских островов — редко посещается людьми. Здесь хозяйничают морские птицы.

Их нескончаемый пронзительный крик перекрывает шум волн, что разбиваются о подножие гранитных скал и грохочут в глубинах пещер, прорытых за века непрерывного прибоя, подобного ударам молота. Именно птицы и привели Портера на Эйерн.

Это был маленький седой человечек, гибкий и подвижный, со смуглым лицом, обветренным из-за постоянного пребывания на воздухе при любой погоде, с искоркой в серых глазах и адским терпением охотящейся за птицами кошки.

Последнее качество ему пригодилось еще до того, как он добрался до острова. Сначала Портер два месяца ожидал, когда нанятый им баркас отважится выйти в море, а потом, уже на месте, они целые сутки пролежали в дрейфе с подветренной стороны, прежде чем стало возможно доставить на берег привезенный груз и провиант, которого хватило бы на полгода. Команда в лихорадочной спешке возвела хижину, в которой Портер намеревался прожить ближайшие три месяца. Она была крохотной, но крепкой, собранной из секций, которые надежно стянули болтами, с крышей, не дающей защиты от ветра, и плотно прилегающей дверью, способной выдержать напор ураганного ливня. Хижину установили

в нише под плоской вершиной острова и тщательно закрепили, набросав тяжелых камней для балласта.

— Ну вот, сдается мне, что теперь вас отсюда не сдует, мистер Портер, — заявил капитан, завершив работу и встав поодаль, чтобы оценить работу. — Только я все одно не завидую вам, приятель. Недоброе здесь место. Знаете, сказывали мне…

— Ой, да слышал я все эти байки, — ответил Портер. — Якобы здесь выходит на берег морской народ, так, что ли? Русалки, тритоны там всякие, верно? Что ж, не побоюсь сказать, я буду только рад их компании. Предложу им, к примеру, чая, ага?

— Может статься, что это вас подадут им на обед, — усмехнулся капитан и, заметив, что на море опять поднялись волны, велел команде поторапливаться и подниматься на борт.

Через полчаса маленькое суденышко скрылось из глаз с подветренной стороны, и Портер стал повелителем всего, что видел перед собой.

По его словам, поначалу он испытывал неописуемый восторг. Энтузиаст орнитологии, он давно мечтал об этой экспедиции. Уединенный уголок, заброшенный людьми и заселенный птицами,

представлялся ему истинным раем. При нем были фотоаппараты, ружье и мелкокалиберная винтовка для отстрела коллекционных образцов, приспособление для выдувания яиц[1], защитный чехол для записных книжек, полный комплект снаряжения и неисчерпаемый материал для исследований. Он был счастлив.

Хорошая погода продержалась две недели, на протяжении которых он был занят от восхода солнца и до глубокой ночи, жалея о времени, потраченном на прием пищи, поскольку прекрасно понимал, что такие благоприятные условия не могут длиться долго.

«А потом с севера пришел шторм, настоящая буря, — рассказывал он. — Мне казалось, что я все знаю о ветре, но такой опыт я не хотел бы пережить снова. Я не смел отойти от хижины дальше чем на несколько шагов, опасаясь, что меня сорвет со скалы и зашвырнет в море. Воздух наполнился брызгами, и я едва мог различить собственные ноги. Шум стоял ужасающий. Весь

---

[1] Примечания: 1

Поскольку для коллекционирования используется лишь скорлупа яйца, его содержимое предварительно выдувают. Для этого применяется специальное устройство, включающее зажимы и особое сверло, которое позволяет просверлить на боковой поверхности яичной скорлупы крохотное малозаметное отверстие. (*Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.*)

остров дрожал, и я боялся, как бы скала, под которой стояла моя хижина, не обрушилась на меня всей своей массой. Немало часов я провел, укладывая вдоль стен и на крыше крупные камни, и когда шторм наконец утих, хижина почти целиком оказалась погребена под ними. Со стороны она теперь выглядела как жилище эпохи палеолита, и ничто, кроме землетрясения, не смогло бы сдвинуть ее с места».

Ураган сменился относительным затишьем с легким юго-западным ветром, принесшим дождь, и лишь незначительной донной волной. Портер воспользовался слабым приливом, чтобы осмотреть нижние уступы, к которым не решался подобраться раньше, и забрел довольно далеко от пляжа той крошечной бухты, где произошла высадка, пока изменение течения воды не предупредило его, что пора возвращаться.

«Я был разочарован, потому что надеялся добраться до устья пещеры, которую разглядел из бухты. Там наверняка нашлись бы гнезда, и мне хотелось понаблюдать за повадками обитателей пещеры. Однако рисковать было ни к чему, я мог промокнуть и провести не самую приятную ночь под открытым небом, поэтому сделал пару снимков и повернул назад. Уступ был узким, так

что я поневоле шел медленно. И уже собирался обогнуть угол скалы, как вдруг испытал странное ощущение, будто бы на меня кто-то смотрит.

Должно быть, вам знакомо это чувство? Мне вспомнился один парень из “Путешественников”, который рассказывал, как на него охотился лев. Он говорил, что стал бы легкой добычей зверя, если бы вдруг не почувствовал взгляд, сверливший его спину. Вот и со мной случилось то же самое. Я почувствовал чей-то взгляд, и по спине пробежал холодок.

Я повернулся со всей резкостью, на какую был способен. На уступе никого не оказалось, абсолютно никого, и на скале над ним тоже. Никто не смог бы вскарабкаться по такому отвесному склону. И тут я заметил возле устья пещеры расходящиеся круги на воде, как будто кто-то только что туда нырнул. Я подождал минуту, а потом, так ничего больше и не увидев, тронулся в путь и благополучно добрался до бухты.

Тропа уходила от пляжа круто вверх, а за ней до самой хижины тянулся плоский уступ. Я остановился у подножия скалы, в последний раз оглянулся и начал подъем. И тут у меня снова возникло это ощущение! Я бросился назад, но без какого-либо успеха. Хоть мне и показалось,

что кто-то исчез в глубине бухты, волнение на море было слишком сильным, чтобы разглядеть круги на воде.

Поднимаясь по тропе, я ломал голову над этой загадкой. Некоторые ныряющие птицы обладают необъяснимой привычкой прятаться под водой, когда кто-то поворачивается к ним, однако я никогда не испытывал ничего похожего, когда они смотрели мне в спину. А кроме того, птица, способная поднять такое волнение на воде, как в тот раз возле пещеры, должна быть чудовищем неслыханных размеров.

Я решил, что это мог быть тюлень, но мне тут же пришло в голову, что я не видел ни одного тюленя со дня прибытия на остров, хотя он и казался идеальным местом для этих существ. Еще удивительней то, что они редко попадались мне на глаза и на побережье Льюиса, и по пути сюда. Но возможно, на летний сезон они уплыли на север, оставив здесь только старого самца-отшельника, который с годами стал осторожным и не захотел рисковать. В целом эта мысль показалась мне вполне правдоподобной.

Весь оставшийся день я обрабатывал накопившиеся фотопластинки и рано лег спать, чтобы проснуться с рассветом. Этот день выдался самым

чудесным за все мое пребывание здесь. Небо было безоблачным, а море почти спокойным, так что я решился искупаться.

То, что я называю пляжем, на самом деле представляло собой пологую каменистую отмель, местами покрытую галькой и многочисленными трещинами. Она круто обрывалась, так что я, сделав три-четыре шага, неожиданно оказался на глубоком месте. Проплыв ярдов сто, я перевернулся на спину и расслабился. Если не считать легкой качки, море было совершенно спокойным.

Потом я увидел на воде небольшую воронку, вроде тех завихрений, какие возникают, когда крупная рыба проплывает близко к поверхности, а через мгновение у меня возникло прежнее неприятное ощущение, будто бы за мной наблюдают сзади.

Я перевернулся на живот, но опять опоздал. На воде остались только расходящиеся круги и ничего больше. Медлить я не стал. Пловец из меня неважный, но, думаю, я преодолел ту сотню ярдов до берега за рекордное время. Не уверен, но мне представляется, что существо сопровождало меня, плывя параллельным курсом, пока я не выпрямился и не заскочил на отмель, подняв фонтан брызг.

Я принялся торопливо одеваться, запутался в брюках и, пытаясь сохранить равновесие, наступил на острый камень и порезался. Забрызгав весь камень кровью, я наконец остановил кровотечение. Затем я присел на один из валунов, чтобы закончить с одеванием, попутно проклиная свою неловкость, из-за которой придется несколько дней не уходить далеко от хижины, как вдруг из-за дальнего конца острова выплыла рыбацкая лодка. До нее было далеко, но экипаж, заметив, что я машу рукой, повернул к берегу и сбросил парус, чтобы обойти рифы, закрывающие вход в бухту.

В лодке сидели четверо мужчин, и мне показалось, что они не горели желанием сойти на берег. Двое гребцов налегали на весла, а тот, что стоял на носу, успел прокричать целую череду вопросов, из которых я ничего не понял, потому что рыбак говорил по-гэльски. Я обратил внимание, что на лавке рядом с рулевым лежало ружье — несколько необычное оснащение для рыбачьего судна.

Я снова помахал рукой, приглашая их в гости, и заковылял к кромке воды. Наконец лодка приблизилась, высадила того, кто стоял на носу, и сразу дала задний ход. Высаженный мужчина

с большой торопливостью двинулся по мелководью к берегу и, как только добрался до меня, разразился целым словесным потоком.

Кажется, он убеждал меня незамедлительно подняться на борт, но я лишь покачал головой в ответ и показал на свою хижину. Он заметил кровь на камне и рану на моей ноге и забеспокоился куда сильней, чем того, на мой взгляд, требовало положение. А когда я дал ему понять, что хочу, чтобы он поднялся в хижину и попробовал моего виски, он вызвался пронести меня на руках всю нижнюю часть тропы. Насколько я смог понять, он считал оставленный на камне кровавый след крайне опасным.

Прежде чем войти в хижину, он тщательно обследовал дверь и оценил ее надежность одобрительным кивком. Пока я разливал виски, он отыскал взглядом мое ружье и немного приободрился, но затем, осмотрев патроны, уныло покачал головой, показав энергичными жестами, что даже дробь восьмого номера — а крупней у меня не было — слишком легкая. Что касается мелкокалиберной винтовки, то на нее он лишь презрительно фыркнул. Разумеется, пуля двадцать второго калибра — не самый лучший боеприпас, хотя я полагал, что для моих целей

этого вполне достаточно.

Виски сделал его более красноречивым, его знаки стали чрезвычайно выразительными, и я отчетливо понял, что он хочет, чтобы я незамедлительно ушел вместе с ним, но уяснить причину этого желания мне так и не удалось. В ответ я показал ему предполагаемую дату своего отъезда — приблизительно через девять недель, — и он в отчаянии развел руками.

Наконец, видя мою непреклонность, он попрощался со мной, но перед уходом вынул из кармана свинцовое грузило, разрубил на мелкие кусочки и начинил ими патрон вместо вызвавшей у него такое презрение мелкой дроби.

Из дверей хижины я видел, как лодка скользнула к берегу, взяла рыбака на борт и тотчас отчалила. Несколькими минутами позже она поймала косой ветер, который вскоре унес ее за пределы видимости, оставив меня в крайне подавленном расположении духа. Тщетно напоминал я себе, что эти простые рыбаки верят во всевозможные жуткие легенды, будто бы на каждую из скал, тысячами разбросанных вдоль побережья, наведываются водяные духи или сирены, что тюлени — это потомки людей, утонувших в море, и раз в год, в ночь на Иванов день,

они сбрасывают шкуры и пляшут на берегу в человеческом обличье от полуночи до рассвета.

Очень даже вероятно, что Эйерн страшит рыбаков из-за неких привидений, беспочвенных плодов кельтской фантазии. Что может быть естественней посреди полного опасностей моря, из которого поднимается алая, словно кровь, заря, а от скал, окутанных туманом, отражаются эхом самые причудливые звуки?

И все же, даже посмеиваясь над рыбаком, хотя и не вполне искренне, я понимал, что за его очевидной тревогой кроется нечто более осязаемое, чем келпи[2] и колдовские чары. В свинцовом грузиле было что-то весьма убедительное. Никто не станет разрубать хорошее грузило из-за воображаемого морского народа.

Так, может быть, это существо и стало причиной его беспокойства? Что, если я был на волосок от гибели? И самое главное — кто это такой, ради всего святого?

У меня было достаточно времени, чтобы обдумать этот вопрос, поскольку в тот день я не уходил далеко от хижины. Сидя на пороге, я перевязал раненую ногу, пообедал и снова уселся,

---

[2] Примечания: 2

Келпи — в шотландской мифологии водяной дух, обычно принимающий облик лошади.

глядя на бухту. Временами мне казалось, будто там кто-то стремительно движется, прямо под поверхностью воды, и я размышлял о том, что люди, более чем полвека регулярно занимаясь ловлей рыбы и углублением фарватеров, по-прежнему мало что знают об обитателях моря.

Несомненно, в океане существует множество видов, которых мы до сих пор не описали и не добыли ни одного образца. Гигантский морской змей может оказаться не одним из тех мифов, что рассказывают подвыпившие моряки, а кракен — не совсем плодом воображения.

Так и тянулись мои размышления, пока к тому месту, где я сидел, не подкрался туман, редкий, но все же скрывающий от взгляда и бухту, и тропинку, и все остальное, кроме земли у меня под ногами. Я вошел в хижину, достал «Мифы и легенды Западного Хайленда» Кэмпбелла[3], которые прихватил с собой для легкого чтения, и вскоре погрузился в истории о колдунах и ведьмах, способных вызвать бурю и отправиться в морское плавание на яичной скорлупе.

---

[3] Примечания: 3

Судя по дате написания рассказа, речь идет не о хорошо известном современным читателям Джозефе Кэмпбелле, авторе «Тысячеликого героя» и «Мифов, в которых нам жить», а о каком-то другом исследователе мифов, но найти о нем какую-либо информацию не удалось.

Я сидел возле двери, крошечное окошко хижины было пригодно только лишь для вентиляции. Туман стеной стоял передо мной, а из мрака время от времени доносился неумолчный гомон птиц, который служил вполне подходящим аккомпанементом моему чтению. Свет угасал, и я уже собирался закрыть книгу и встать, чтобы заварить чай, как вдруг, всего в двух ярдах от меня, что-то беззвучно поднялось из тумана — размытый, колеблющийся силуэт высотой почти в человеческий рост.

Омерзительная вонь ударила мне в ноздри. Я закричал в совершенном испуге, и при звуке моего голоса существо пропало из вида. Я слышал грохот камней, но не более того: туман был так же пуст, как и до появления гостя.

“Но ведь здесь никого не может быть! — Я поймал себя на том, что выкрикиваю эти слова в пустоту. — Никого, способного это сделать!”

И это было — по крайней мере, до того момента — абсолютной правдой. Если верить книгам по естественной истории, ни одного существа, соответствующего видимым размерам моего призрачного гостя и способного подняться от моря по крутой тропе, в здешних водах не встречалось. Тюлень мог бы совершить такое восхождение,

но даже принимая в расчет увеличительные свойства тумана, это должен быть великий отец всех тюленей, размером с морского слона, чей ареал обитания находится за полмира от острова Эйерн.

Итак, убедив себя этим коротким рассуждением, что привидевшееся мне не может существовать на самом деле, я запрыгнул в хижину, запер дверь с мгновенным приступом сожаления о том, что затвор такой хлипкий, и решил укрепить его самыми тяжелыми из упаковочных ящиков. Попросту говоря, на какое-то время меня охватил унизительнейший страх.

Только из-за того, что я увидел в тумане нечто необъяснимое? Нет, скорее это был результат, кульминация всего, что случилось раньше, и в особенности — странной тревоги рыбака за мою безопасность. Это существо должно быть смертельно опасным, иначе крупный рыжебородый мужчина не поднял бы такой переполох. Я вставил в патронник ружья снаряженный им патрон, тем же способом приготовил из свинцового пресс-папье начинку для еще нескольких, и уверенности у меня сразу прибавилось. Теперь я был готов защитить себя.

Вечер тянулся и тянулся. Ничего не происходи-

ло. Наконец я погасил лампу и, не раздеваясь, лег спать. Как ни странно, я почти сразу задремал. Должно быть, прошло несколько часов, прежде чем меня разбудил шум — стук падающего камня, одного из тех, что я сложил у стены. Через мгновение упал еще один. Очевидно, существо пыталось забраться на крышу. Я зажег лампу и, когда она осветила окно, заметил — или мне только показалось, — как что-то темное промелькнуло в тумане.

Шума больше не было слышно, но я уже не мог заснуть. Когда наконец забрезжил блеклый рассвет, я не утерпел, приоткрыл дверь и выглянул наружу, держа ружье наготове. Никого! Только по окрестным камням разбросаны клочки носового платка, который я оставил за дверью после того, как заново перевязал ногу.

Я спустился по тропинке чуть дальше и нашел другие клочки. Существо поднялось к хижине и вернулось к морю этим путем. Впредь следовало быть хитрей. По крайней мере, теперь я мог узнать о его приближении, чтобы подготовиться к встрече. Я сложил стенку из мелких камней поперек тропы, чтобы даже кролик не мог проскочить мимо, не обрушив ее с грохотом. А поскольку кроликов на Эйерне нет, оставалось мало шансов

на то, что тревога окажется ложной.

Покончив с этим делом, я приготовил факел из соломы и промасленной упаковочной бумаги.

Я попытался занять себя, разбирая свои записи, но без особого успеха. Зажатое между колен ружье то и дело возвращало мои мысли к тому, что могло притаиться в тумане совсем рядом. Не думаю, что я когда-либо переживал более тревожный и томительный день, так что я даже обрадовался, когда начало темнеть, поскольку был уверен, что мой вчерашний гость вернется.

Оставив окно открытым, но занавесив лампу так, чтобы снаружи был виден только отсвет, я заступил в караул, настороженно прислушиваясь к каждому шороху или звуку. В девять я скромно поужинал. В десять перестал притворяться, будто увлечен чтением. К двенадцати начал мрачнеть, убеждая себя, что этой ночью существо не объявится. И всего лишь через две-три минуты услышал, как моя сигнальная стенка обрушилась.

Я тщательно отрепетировал все, что собирался делать, и теперь повторил без единого сбоя. Зажег факел, швырнул его в окно, а затем выскочил наружу и разрядил один ствол.

Раздался грохот катящихся камней, вслед за

ним — нечто напоминающее кашель и рев одновременно, туман закрутился вихрем, и что-то темное, трудно различимое проковыляло к ложбине и дальше в сторону плато. Я выстрелил из второго ствола, и рев прозвучал снова.

Поднялся оглушительный гомон птиц, вспугнутых нарушителем спокойствия, но я уже больше ничего не мог предпринять, а потому вернулся в хижину, перезаряжая на ходу ружье.

Постепенно птичий переполох затих, наступила тишина, нарушаемая лишь обычными скупыми звуками. На какое-то время враг был обращен в бегство.

И все же я так и не уснул. Насколько мне было известно, тянувшийся мимо хижины овраг был единственным удобным спуском к морю, и существо в любой момент могло вернуться, навестив по дороге и меня. Однако я больше не боялся, а скорее сам рвался всадить еще один заряд картечи в этого зверя. Но еще больше меня мучило любопытство, ведь мимолетный взгляд на существо ничуть не прояснил загадку. Я видел лишь бесформенную массу, которая могла оказаться чем угодно, размытое пятно, напоминающее облако дыма.

Я ломал голову над этим вопросом до самого

рассвета, а затем, решив, что ничего важного, вероятно, уже не произойдет, задремал и проспал два-три часа. Когда я проснулся, туман в верхней части острова уже рассеялся, но все еще висел густой пеленой над морем. Вознамерившись выследить добычу и, если удастся, покончить с загадкой, я наскоро позавтракал и заковылял к выходу.

Идти по следу оказалось нетрудно. Лужа крови на том месте, где я соорудил стенку, как и множество капель по всему оврагу, говорили о том, что я серьезно ранил ночного гостя. На плато над тропой след был таким же ясным. Существо пропахало борозду прямо по гнездам, давя по пути яйца и птенцов.

Похоже, оно какое-то время бесцельно бродило по плато, а затем направилось к краю скалы и прошло вдоль него значительное расстояние, вероятно, разыскивая дорогу вниз. Я продвигался очень осторожно, в любой момент ожидая встречи со зверем. Несколько раз я останавливался возле скопления валунов и бросал в них камни. Однако оттуда никто не появлялся, а след вел все дальше, пока я не добрался до места, находящегося прямо над той самой пещерой, о которой уже рассказывал. Здесь существо свернуло в овраг с

такими крутыми склонами, что я засомневался, стоит ли отправляться следом за ним с моей раненой ногой.

Постояв немного в нерешительности, я отважился спуститься к большому выступу скалы в тридцати футах ниже. Спуск занял немало времени, но в конце концов я устроился в безопасной расщелине, откуда мог рассмотреть оставшуюся часть оврага.

Как я и предполагал, он вел не прямо вниз, а обрывался на широком уступе приблизительно в пятидесяти футах над поверхностью моря. Туман все еще висел над скалами, и я лишь изредка мог разглядеть темную воду далеко внизу. Водяной пар кружился под легкими порывами ветра, то полностью скрывая уступ, то истончаясь в газовую вуаль, сквозь которую смутно проступали валуны и пятна лишайника.

На уступе что-то шевельнулось, что-то большое, длинное, настолько сливающееся своей окраской с камнем, на котором лежало, что только движение выдавало в нем живое существо. Но в этот момент туман опять сгустился, и больше я ничего не разглядел.

Оставалось только ждать. Я пристроил ружье между коленями и наблюдал за кружением за-

витков тумана по меньшей мере полчаса, прежде чем они снова рассеялись. Серый сгорбленный силуэт снова стал различим, и я разрядил в него сразу оба ствола.

С высоты мне показалось, что часть уступа приподнялась и скатилась в море. Я отчетливо видел, как нечто похожее на перепончатую лапу метнулось в сторону в тщетной попытке задержать падение. Затем послышался мощный всплеск, и в тот же момент что-то рванулось к месту падения, рассекая воду, словно нос идущего на полном ходу эсминца. Море вспенилось, две темные фигуры сошлись в яростной схватке, разбрасывая вокруг окрашенные кровью брызги, а затем туман снова сгустился, оставив меня так же далеко от решения загадки, как и прежде.

Шум схватки был слышен еще несколько минут, а затем наступила тишина, и когда туман наконец снесло в сторону порывами ветра, внизу уже не было видно ничего, кроме постепенно размываемых красных пятен на воде. Я наблюдал за морем еще довольно долго, но так ничего и не дождался.

Тем же вечером вернулись рыбаки, прихватившие с собой для перевода священника — приятного молодого человека, говорившего по-английски

с отчетливым хайлендским акцентом. Он сошел на берег в сопровождении того самого рыжебородого, который гостил у меня раньше, а лодка, как и в первый раз, тут же отчалила, но такая предосторожность, как ружье в руках у сидевшего на корме рыбака, уже не казалась глупой.

Священник “открыл огонь”, как только оказался на расстоянии оклика от меня, рассказывая, кто он такой и зачем сюда прибыл:

— Вот этот человек, Ангус Макферсон, пришел ко мне в глубокой тревоге, поскольку не сумел объяснить вам, какой опасности вы подвергаетесь, оставаясь здесь, — начал он. — Так что мне волей-неволей пришлось плыть сюда с ним. Кто-то досаждал вам? Что здесь вообще произошло?

Он остановился перед первым пятном крови, а Ангус в сильном волнении разразился целым потоков слов на гэльском.

— Это кровь той смертельно опасной твари, — ответил я. — Не могу дать ей иного названия, потому что сам только мельком видел ее.

— И Ангус тоже не может сказать, кто это такие, — сказал священник. — Похоже на то, что их здесь несколько. Одна из наших лодок недавно пропала, и говорят, что на нее напали эти существа. На подобранных обломках судна были

видны следы жутких зубов. Остров считают местом обитания этих чудищ. Вам лучше уплыть с нами. Другой возможности может не представиться еще долго.

И я уплыл. Уединение — это очень хорошо, и птицы вызывают огромный интерес, но их можно изучать и не в таких суровых условиях. Если я постоянно буду настороже, то вряд ли смогу заниматься чем-то еще. Так что мы перенесли мой багаж в лодку и отчалили — не без опасливых взглядов на темное устье пещеры, которая, по моим предположениям, хранила тайну острова».

На этом заканчивается практически важная часть рассказа Портера. Дальнейшее не пролило света на загадку, хотя в нескольких таинственных исчезновениях рыбацких судов обвинили чудовищ Эйерна.

Мнения морских зоологов разделились. Одни предполагают появление нового вида тюленей, более крупных и свирепых, чем знакомые нам милые животные, и, в отличие от них, плотоядных и кровожадных. Другие восхищены перспективой открытия нового вида аллигаторов, средой обитания которых оказалось море. Третьи смело ратуют за нечто совершенно новое и необычное — земноводную акулу-тигра, результат бог весть

какой глубоководной эволюции.

А пока готовится экспедиция, призванная раскрыть тайну, мистер Портер бродит по залам Национального музея и другим местам, где выставлены образцы смертоносного холодного оружия, раздумывая над тем, какое из них выбрать. Он не намерен возвращаться на Эйерн, не предприняв необходимых мер предосторожности.

Перевод Сергея Удалина
Под редакцией Григория Панченко

Теодор Рузвельт. Вендиго

Да, это тот самый Рузвельт, двадцать шестой президент Соединенных Штатов и вообще человек выдающийся во многих отношениях — в частности, замечательный следопыт и охотник, а также очень грамотный натуралист. Естественнонаучные увлечения стали его «первой любовью», опередившей интерес к политике. Многие исследования Рузвельта, посвященные природе, до сих пор остаются эталонными, и опубликованная в 1893 году книга *The Wilderness Hunter* («Охотник в дикой природе») — тоже среди них.

Название «Вендиго» у Рузвельта отсутствует, но его традиционно носит глава (или вставная новелла) из этой книги, регулярно публикуемая в отдельных изданиях. К какому жанру ее относить, единого мнения нет. С одной стороны, перед нами, несомненно, беллетризованная устная новелла, которую Рузвельт, прежде чем включать в свое сочине-

ние, подверг литературной обработке. С другой — многие исследователи, занимающиеся проблемой «снежного человека», считают ее документальной.

Думается, можно принять обе точки зрения. Интересен комментарий знаменитого натуралиста и писателя Эрнеста Сетон-Томпсона, опубликованный в 1932 году. По словам Сетон-Томпсона, Рузвельт рассказывал ему об этом эпизоде тридцать пять лет назад, то есть в 1897 году, через четыре года после публикации книги «Охотник в дикой природе», причем будущий президент совершенно ясно дал понять, что уверен в правдивости рассказа и не считает его «гоблинской историей». После чего они вместе попытались найти ему естественнонаучное объяснение — и не смогли. И Рузвельт, и Сетон-Томпсон избегали принимать версию о реальности «снежных странников, призраков и злых сущностей», в числе которых был и Вендиго — зимний дух голода и голодной смерти, многократно оживленный в творчестве последующих писателей, вплоть до Стивена Кинга. Но

в их научном арсенале еще не было представлений о возможности существования «дикого человекозверя».

Фронтирсмены[4], как правило, не особенно суеверны. Они для этого чересчур практичны и ведут слишком трудную жизнь, в которой остается мало места для полетов воображения, касающихся духовной жизни или сверхъестественных явлений. Живя на фронтире, я слышал лишь несколько историй о привидениях, да и эти были совершенно банальны.

Лишь однажды мне довелось услышать «гоблинскую историю», которая меня по-настоящему впечатлила. Ее рассказал старый охотник-горец по имени Бауман: седой обветренный человек, который родился на фронтире и прожил там всю жизнь. Он явно сам верил тому, что говорил, потому что по ходу своего повествования с трудом сдерживал дрожь; но он, как следует из фамилии, был немецкого происхождения и в детстве, несо-

[4] Примечания: 4

Т. е. обитатели фронтира — границы (в широком смысле) между «цивилизованным миром» и землями, не освоенными по крайней мере белым человеком. Сам фронтир, чьи географические территории со временем смещались, просуществовал на территории США более двух веков, войдя как неотъемлемая часть в американскую историю и культуру. Во время Рузвельта его эпоха уже подходила к концу, но еще не завершилась.

мненно, наслушался всевозможных преданий о привидениях и гоблинах, так что в его разуме подспудно таилось множество страшных суеверий. Кроме того, он был так же хорошо знаком с легендами, которые рассказывали индейские шаманы долгими ночами в зимних стойбищах: истории про снежных странников и призраков, про лишенных четкой формы злых сущностей, что бродят в дебрях леса, жаждая подстеречь одинокого путника и его собак, если те под покровом ночи окажутся невдалеке от мест, где все эти лесные чудища таятся…

Когда произошло событие, о котором рассказывал Бауман, он был еще совсем молодым человеком. Вместе со своим напарником они ставили капканы в горной местности, отделяющей русло реки Салмон от истоков Виздом-ривер[5]. Их охота оказалась не очень удачной, поэтому они с напарником решили подняться по особенно дикому и уединенному ущелью, через которое протекал небольшой ручей, где, как говорили, водилось много бобров. Перевал, к которому им надлежало приблизиться, имел дурную ре-

[5] Примечания: 5

Т. е. на «дикой» территории между штатами Айдахо и Монтана. Даже сейчас это края с почти первозданной природой, а при Рузвельте они носили неофициальное название «Местность без возврата».

путацию, потому что за год до этого там был убит, по-видимому, хищным зверем, одинокий охотник: его обглоданные останки впоследствии были найдены старателями, которые днем раньше набрели на его опустевший лагерь.

Однако память об этом событии никоим образом не остановила двух молодых легкомысленных охотников, которые были столь же предприимчивыми и стойкими, как и любые другие представители их вида. Они доехали на паре своих тощих горных пони до подножия перевала, где оставили их пастись на открытом бобровом лугу, потому что простиравшийся далее каменистый склон, густо поросший лесом, был непроходим для лошадей. Затем молодые люди двинулись пешком через огромную мрачную чащу. Им потребовалось примерно четыре часа, чтобы выйти на небольшую открытую поляну, где они и остановились, чтобы разбить лагерь, поскольку признаков пушной дичи вокруг было предостаточно.

Оставался еще час или два до наступления сумерек. Быстро соорудив навес из подлеска, они оставили там свои уже распакованные заплечные мешки и двинулись вверх по течению. Заросли здесь были очень густыми и трудно-

проходимыми, загроможденными буреломом. Лишь кое-где этот мрачный лес перемежался небольшими полянами, поросшими горным травостоем.

К лагерю они вернулись уже в сумерках. Поляна, на которой его разбили, была не слишком широка, высокие стволы тесно растущих вокруг сосен и елей огораживали ее, точно сплошной частокол. С одной стороны протекал небольшой ручей, за которым поднимались крутые горные склоны, покрытые густым хвойным лесом.

Они удивились, обнаружив, что во время их короткого отсутствия кто-то — по всей видимости, медведь — навестил лагерь и порылся в их вещах, разбросав содержимое мешков и явно целенаправленно разрушив навес. Следы зверя были довольно четкими, но поначалу охотники не обращали на них особого внимания, занятые более насущными делами: они быстро восстановили навес, оборудовали спальные места, разложили припасы и разожгли огонь.

Пока Бауман готовил ужин, опустилась темнота. Тем временем его спутник решил повнимательней осмотреть следы. Вскоре он взял из костра головню, чтобы лучше разглядеть следовую цепочку там, где «злоумышленник»,

орудовавший в их лагере, удалился прочь по звериной тропе. Когда головня погасла, он вернулся и взял еще одну, после чего осмотрел следы повторно и очень внимательно. Вернувшись наконец к костру, постоял молча несколько минут, вглядываясь в темноту, и вдруг заметил: «Бауман, этот медведь шел на двух ногах».

Бауман рассмеялся над его словами, но напарник настаивал на своей правоте. Они зажгли факел, снова изучили следы уже вдвоем — и пришлось согласиться: отпечатки были оставлены двумя лапами или, возможно, человеческими ступнями. Однако уже сделалось слишком темно, чтобы в чем-нибудь убедиться наверняка. Обсудив, могут ли следы действительно принадлежать человеку, и придя к выводу, что это невозможно, трапперы завернулись в одеяла и легли спать под навесом.

В полночь Бауман проснулся от какого-то шума и сел, откинув одеяло. В его ноздри ударил резкий запах дикого зверя, и он различил в темноте очертания огромного тела, загораживающего вход под навес. Мгновенно схватив винтовку, Бауман навскидку выстрелил в эту неясную, но угрожающую тень — однако, должно быть, промахнулся: сразу после выстрела он услышал треск ветвей,

когда посетившее их лагерь существо, кем бы оно ни было, стремительно бросилось в непроницаемую тьму леса и ночи.

После этого двое молодых людей почти не спали, до рассвета дежуря возле вновь зажженного огня, но больше ничего не слышали. Утром они начали осматривать те ловушки, которые установили накануне вечером, и расставлять новые. Без слов понимая друг друга, весь день они держались вместе и к сумеркам, все так же не разлучаясь, вернулись в лагерь.

Еще на подходе охотники, к своему удивлению, заметили, что навес снова снесен. Вчерашний гость посетил лагерь в их отсутствие; одержимый безрассудной злобой, он не только разрушил временное жилище вторгшихся в его угодья людей, но также разбросал по всей поляне охотничье снаряжение и постельные принадлежности.

Земля была испещрена следами: на сей раз незваный гость, покидая территорию лагеря, прошел по мягкому грунту вдоль ручья, где его стопы отпечатались столь же четко, как на снегу. После тщательного осмотра следовой цепочки не осталось никаких сомнений: чем или кем бы ни было это существо, оно шло выпрямившись — и на двух ногах.

Уже всерьез обеспокоенные, молодые люди собрали огромную кучу сухих бревен и всю ночь поддерживали ревущее пламя мощного костра, попеременно сменяя друг друга на страже. Около полуночи неведомая тварь вновь спустилась со склона холма, прошла через лес на противоположной стороне поляны, пересекла ручей — и пробыла на том склоне примерно час. Они слышали треск ветвей, когда пришелец продвигался сквозь чащу, и несколько раз он издавал резкий, скрипучий протяжный стон, звучавший по-настоящему зловеще. Тем не менее он не рискнул приблизиться к огню.

Утром оба траппера, обсудив странные события последних тридцати шести часов, договорились, что лучше всего им сегодня же собрать свои заплечные мешки и покинуть ущелье. Им тем легче было решиться на это, потому что, несмотря на множество признаков пушной добычи вокруг, покамест их силки и капканы почти пустовали. Однако сперва все-таки нужно было пройти по линии уже расставленных ловушек: хотя бы для того, чтобы собрать их.

Этим Бауман со спутником и занялись. Все утро они держались вместе, снимая одну ловушку за другой: ни в одной не оказалось добычи.

С того самого момента, как молодые люди вышли из лагеря, у них возникло неприятное ощущение, что за ними следят. Проходя сквозь густой ельник, они иногда слышали треск веток позади себя, а потом, когда на пути им попался участок леса, поросший молодыми соснами, из-за деревьев временами доносился легкий шорох.

В полдень они уже возвращались; до лагеря оставалось не более двух миль. При ярком солнечном свете их ночные страхи казались совершенно нелепыми: ну чего бояться им, двум вооруженным мужчинам, каждый из которых за долгие годы блужданий по лесным дебрям даже в одиночку-то привык успешно противостоять любым опасностям, исходящим от людей, зверей или природной стихии?

Не снятыми оставались еще три ловушки для бобров, ранее поставленные вокруг небольшой заводи в широкой лощине неподалеку. Бауман вызвался сходить за ними, а его товарищ направился в лагерь, чтобы ускорить сборы.

Придя на место, Бауман обнаружил, что во все три ловушки попалось по бобру — причем один из них сумел выдернуть колышек и затащить капкан в бобровый домик. Траппер потратил несколько часов на то, чтобы извлечь оттуда

этого бобра, а потом освежевать всех трех, и когда он наконец двинулся к месту ночлега, то с некоторым беспокойством отметил, как низко успело опуститься солнце.

Путь к лагерю лежал под широко раскинувшимися ветвями огромных деревьев. Бауман спешил изо всех сил: тишина и запустение леса словно бы давили на него. Его ноги бесшумно ступали по толстому слою сосновой хвои, а косые лучи вечернего солнца, пробиваясь между колоннами древесных стволов, не развеивали полумрак, в котором с трудом можно было рассмотреть то, что находилось на сколько-нибудь удаленном расстоянии. Ничто не могло нарушить призрачную тишину, которая в часы безветрия всегда окутывает мрачные своды первобытных лесов.

Наконец траппер подошел к окраине небольшой поляны, где располагался их лагерь. Он еще издали окликнул своего товарища, но не получил ответа.

Огонь погас, хотя тонкая струйка синего дыма, клубясь, все еще поднималась над кострищем. Вокруг лежало их снаряжение, как полностью упакованное, так и разбросанное.

Сначала Бауман никого не увидел; он крикнул снова, но по-прежнему не получил ответа

на свой зов. Выйдя на поляну, он позвал своего друга третий раз — и только тут увидел его тело, распростертое на земле рядом с толстым стволом упавшей ели. Подбежав к нему, испуганный зверолов обнаружил, что тело еще теплое, но шея сломана, а на горле видны четыре большие отметины от клыков.

Следы таинственной зверочеловеческой твари, глубоко отпечатавшиеся в грунте, рассказали Бауману, что тут произошло.

Несчастный парень, закончив упаковывать вещи, сел на еловый ствол лицом к костру, а спиной к густому лесу, и ждал своего товарища. В ту же минуту его чудовищный противник, который, должно быть, все это время скрывался в зарослях неподалеку, ожидая возможности застать одного из них неподготовленным к нападению, беззвучно подошел сзади, ступая длинными бесшумными шагами и, по-видимому, как прежде, все время держась на двух ногах. Очевидно, он сумел остаться незамеченным вплоть до того мгновения, как поравнялся с человеком. Тогда он сломал трапперу шею, с силой оттянув его голову назад своими передними конечностями, и в тот же миг впился зубами ему в горло.

Он не глодал тело, но, по-видимому, резвился

вокруг него в необузданном свирепом веселье, время от времени перекатываясь по трупу; а затем убежал прочь, вернулся в глубины лесных дебрей, куда не достигает никакой шум.

Бауман, крайне растерянный и полагающий, что существо, с которым ему пришлось иметь дело, было не зверем, а «чем-то наполовину» — получеловеком, полудьяволом, каким-то огромным чудовищным гоблином, — бросил все, кроме своей винтовки, и торопливо устремился вниз по ущелью. Он не останавливался, пока не достиг бобрового луга, где все еще паслись стреноженные пони. Сев верхом, он гнал коня вперед всю ночь, пока не убедился, что его никто не преследует…

Перевод Григория Панченко

Эдвард Верролл Лукас. Покинутая

Эдвард Верролл Лукас (1868–1938), друг Барри, Милна и Конан Дойла — с последним его объединяли не только литературные интересы, но также страсть к крикету, — был автором успешным, известным и очень плодовитым. По словам одного из своих коллег, он «написал больше слов, чем произнес вслух», — и вовсе не потому, что слыл молчуном.

Лукас считался прежде всего юмористом, о чем свидетельствует многолетняя карьера в знаменитом журнале «Панч». Однако знатоки его творчества отмечали, что в основе того — бурно работающая фантазия: писатель, начиная обдумывать какую-либо идею, почти мгновенно представлял, как она будет выглядеть в необычном ракурсе. Чаще всего действительно в комическом, но бывало и наоборот. Поэтому такая фантастика о возможности связи с тем, кто уже ушел за последний рубеж, для Лукаса не менее характерна, чем озорные фельетоны.

А вот когда он сам ушел за этот рубеж, современники связью с ним высокомерно пренебрегли, поспешив перевести в категорию забытых литераторов. Причиной тому была присущая эпохе уверенность в том, что для вечности предназначены лишь романы, а «малый жанр», несравненным мастером которого являлся покойный писатель, представляет собой нечто сиюминутное, обреченное на скорое забвение. Но у нас нет причин соглашаться с этим несколько снобистским мнением: рассказы Лукаса по сей день куда живее многих и многих романов, в его время считавшихся «обретшими вечность».

I

Он очень тяжело заболел — едва мог подняться с постели; она, та, что любила его, должна была выйти за него замуж и все время, пока бодрствовала, думала лишь о том, что может сделать для него; убедила его поставить телефон у постели, чтобы он мог говорить и с ней, и с другими. Каждый вечер и несколько раз в течение дня он

звонил ей, и они долго общались. Так вышло, что ничто было не в силах спасти ему жизнь, но это современное приспособление скрасило его последние недели.

Его смерть хоть и разрушила ее надежды, не положила конец ее преданности. Она просто встроила память о нем, его разносторонней личности в то место, где он жил, и любила его. Он стал для нее образцом во всем едва ли не больше, чем при жизни. Что любил он, полюбила она; что он находил отталкивающим, она забросила. Даже мертвый, он оказывал на нее огромное влияние, и под этим влиянием она становилась уравновешенной и кроткой, пусть сердце ее и было разбито. Она легко смирялась с обстоятельствами, ведь разве может что-то иметь значение, когда все важное уже случилось?

Лишь одно могло взволновать ее: то, что любопытство, удивление, ужас, в несколько меньшей степени знание, доброта, сострадание и все остальное, созданное для добра и счастья всего мира, должно пропасть втуне, и не будет позволено несчастной, оставленной навеки душе почувствовать прикосновение руки того, с кем она разлучена. Она не могла ни понять, ни простить этого. Она никогда не была религиозна в

обычном понимании этого слова, хотя свято верила в господство истинной любви к своему идеалу; но теперь разорвались даже те непрочные связи, которые связывали ее и главенствующую религию. Веру своих родителей она отбросила легко, как слишком тяжелые одежды, и погрузилась в скорбь, которая была одновременно и ее радостью, не думая более ни о теперешнем, ни о грядущем.

Так продолжалось около года, и все это время его дом стоял пустым, только сторож заходил туда — потому что она (достаточно богатая) не могла вынести мысли, что кто-то еще станет там жить, — а его комната оставалась точно такой, какой была, когда он умер в ней.

II

Однажды она обедала в гостях. Рядом с ней сидел молодой американский инженер, и со временем их беседа обратилась к изобретениям и любопытной склонности к науке, демонстрируемой американским народом. Инженер говорил, что все дело в предложении, порождающем спрос; все американцы хотят иметь побольше времени и средств механизации труда — и по-

лучают именно это. Там, где много слуг и поиск слуги не составляет проблемы, как в Англии или на континенте, не так важно, чтобы труд был максимально механизирован. И так во всех сферах. Затем они заговорили об особенных изобретениях, и инженер рассказал об одном примечательном, как раз попавшемся ему на глаза перед отъездом из Нью-Йорка.

— Вы мне, наверное, не поверите, — сказал он, — потому что звучит и правда невероятно, но были времена, когда невероятной выглядела идея телеграфа, а телефона и подавно. Кто бы мог подумать, что фотокамера может существовать не в мечтах? Я расскажу вам об этой штуке. Это машина, в которую нужно засунуть кусок телефонного провода, не важно, какой длины, а потом вы поворачиваете ручку и извлекаете из провода любое сообщение, которое когда-то проходило по нему.

Она затаила дыхание.

— Это… и правда существует? — выдавила она из себя.

— Правда, — подтвердил инженер. — Но когда я уезжал, у изобретателя была проблема. Все сообщения исправно извлекались, только задом наперед. Естественным образом сначала воспро-

изводятся более поздние, затем — более ранние. Можно, конечно, записать слова, прочесть их в нужной последовательности, и дознаватель получит желаемое — изобретение предназначено для полиции Нью-Йорка, — но тот мой приятель убежден, что может создать механическую систему, которая будет сразу расставлять сообщения в нужном порядке, чтобы можно было услышать разговор таким, каким он был в реальности. Только представьте радость детектива, которому придется слушать все голоса и обычные разговоры, чтобы уловить, как один голос произносит одно предложение и дает ему долгожданную улику!.. Вам плохо?

— Нет-нет, — ответила она, хотя была бледна, как привидение, — все в порядке. Здесь немного жарко. Расскажите мне еще о вашем изобретательном друге. Он богат?

— Нет, и в этом проблема. Будь у него больше денег или богатые покровители, которые бы поверили в него, он бы смог творить чудеса.

— Я хотела бы ему помочь, — сказала она. — Его работа меня интересует. Вы не могли бы телеграфировать ему и попросить приехать вместе с его изобретением? Я с радостью профинансирую его. Мне хочется сделать рискованное вложение

вроде этого.

— Телеграфировать?

— Да, телеграфировать. Бывают вещи, которые делают под влиянием момента или не делают вовсе. Официант принесет вам бланк.

III

В тот день она приехала в пустой дом с работником телефонной компании, и они извлекли фут драгоценного провода. Несколькими минутами спустя она трясущимися руками вставляла его в машину. Потом старательно заперла дверь, задернула ее тяжелой шторой и отнесла машину в дальний угол комнаты. Затем, со вздохом облегчения и одновременно пребывая в напряжении и терзаемая дурными предчувствиями, она уселась, прижала трубку к уху и начала крутить ручку.

Его голос зазвучал сразу:

— Вы слушаете?

Он звучал так ясно, так узнаваемо и так по-настоящему, что ее рука замерла на ручке, а в висках застучало. Но она продолжила.

— Вы слушаете? — повторил знакомый голос.

— Да; кто это? — ответила какая-то женщина.

— Эрнест, — сказал он. — Элен?

Ее рука снова остановилась. Элен… Эту вздорную женщину он знал всю жизнь и был с ней в хороших отношениях. Теперь она вспомнила, что когда у его постели установили телефон, она была в отъезде, а значит, сначала пойдут разговоры с другими людьми. С этим ничего нельзя было поделать. Она думала, что окажется первой, но обстоятельства сложились иначе. До того как настанет ее черед, придется выслушать множество его бесед. Она продолжила, и повторился полный смеха и шуток разговор с этой глупенькой Элен, разговор из прошлого, теперь превратившегося в трагедию.

Она вынуждена была выслушать, как он говорит с другими приятелями и иногда еще с лавочником, но наконец настало ее время.

— Это ты? — услышала она свой голос. Она узнала его скорее интуитивно, чем на слух. — Это ты? Хотя что это я, конечно ты. Как хорошо слышно!

— Да, это я, — и в трубке зазвучал его тихий смех.

— Как ты, дорогой?

— Вроде бы лучше.

— Соскучился?

— Ужасно!

Потом последовали нежности, откровения, надежды и страхи, планы на ближайшее будущее и на всю жизнь. Она слушала, а по щекам ее текли слезы, но она крутила и крутила ручку. Иногда он был полон надежды, а иногда — отчаяния.

Она помнила каждое слово. Однажды она обедала в ресторане, а потом пошла в театр. Это было развлечение, от которого она не смогла отказаться. Пьеса оказалась забавной, и у нее поднялось настроение. Она позвонила ему в антракте, он был весьма подавлен. Она поспешила домой и долго говорила с ним. Как же все это вспоминалось сейчас!

— Ты слышишь меня, любимый?

— Да, но до чего же я устал, каким старым себя чувствую!

— Просто плохой день. Сегодня все жалуются на усталость.

— Ты так говоришь, потому что ты добрая. Чтобы успокоить меня. Не нужно. Иногда мне становится совершенно ясно, что я никогда не поправлюсь, и сегодня я понял это окончательно.

— Дорогой мой, нет.

Затем наступила тишина — полная, гнетущая.

Она тогда звонила снова и снова, но он не отвечал. «Потерял сознание», — подумала она и

бросила трубку. В горячке она поймала кеб и помчалась к нему. Сиделка успокоила ее, объяснив, что он начал плакать и не хотел, чтобы она это слышала, а потом уснул.

Но она той ночью не сомкнула глаз. А что, если он прав, если и правда знает? В глубине души она боялась такого, хотя изо всех сил гнала эту мысль.

Она слушала и плакала, но продолжала крутить ручку. Она сидела там до тех пор, пока не прозвучали его последние слова, последнее, что он сказал по телефону в своей жизни.

Речь шла о развлечении. В самом конце он собрался с силами и был уверен, что поправится. Она должна была в одиннадцать часов следующего дня прийти в его комнату вместе с портнихой и выкройками, чтобы они вместе выбрали ей новое платье. Он настаивал на том, чтобы поучаствовать в выборе платья, которое она наденет, когда он впервые выйдет погулять.

— В одиннадцать, — сказал он. — Не забудь. Хотя ты же ничего не забываешь. Еще раз спокойной ночи, милая моя.

— Спокойной ночи.

Больше она не видела его живым. Он умер перед рассветом.

Она отложила машину и выглянула в окно. Солнце уже встало. Небо пылало, обещая прекрасный день. Совершенно измотанная, она легла спать; для чего ей было просыпаться? Что принесет пробуждение той, кто ничего не забывает?

IV

Каждый вечер она встречала, склонившись над машиной. Она хорошо выучила, что надо пропустить. Запись была прослушана столько раз, что она просто следила по часам, пока закончатся все остальные разговоры и снова зазвучит ее голос. Сократить это время не представлялось возможным: можно было или каждый раз слушать все разговоры, или прервать воспроизведение. Как могла она прервать его?

Она запирала дверь, занавешивала окно тяжелой шторой, садилась в дальний угол и начинала крутить ручку. Она знала, как быстро прокручивать других; себя же крутила медленно. Затем часы подавали сигнал и она начинала слушать.

— Это ты? Это ты? Хотя что это я, конечно ты. Как хорошо слышно!

— Да, это я, — и тихий смех.

— Как ты, дорогой?

— Вроде бы лучше.
— Соскучился?
— Ужасно!

Перевод Марии Великановой

II. Ожидание страшного

Джек Лондон. Записки бывшего женоненавистника

Джека Лондона не надо представлять читателям в XXI веке, как не надо было и в веке минувшем. Впрочем, этот рассказ был написан в 1897 году, то есть незадолго до того, как Лондон стал «самим собой»: известным писателем, повествующим о хрониках *белого безмолвия*. А пока что он даже не достиг полного совершеннолетия (которое отсчитывается с двадцать первого дня рождения) и увлекался самыми разными темами, проявляя при этом почти мальчишеское озорство. «Перспективный молодой бакалавр» в возрасте от двадцати восьми до тридцати лет, достаточно обеспеченный, чтобы жить с некоторым комфортом, и достаточно разбирающийся в женщинах, чтобы заработать прозвище «женоненавистник», — все это категорически не о нем. Его личность отражает единственное рассуждение в рассказе — о литературной

поденщине: «труде поистине каторжном, зато позволяющем оставаться самому себе хозяином, так что меня не беспокоит столь важное для многих мнение босса, директора или сослуживцев»…

Расплетите все, что вы знаете и думаете, на отдельные нити — и сотките из них новую ткань! Она будет странной, но она будет…

Я открыл глаза, тщетно пытаясь сохранить воспоминания об отлетающем прочь сне. Что-то в нем было: очень важное, чрезвычайно реалистичное и одновременно фантастическое, исполненное глубокого смысла, насыщенное яркими чувствами… Но, увы, в памяти осталась только одна нелепая сцена, значение которой постичь никак не удавалось.

Я снова попробовал заглянуть в начало сна, как всматриваются сквозь клубящийся туман, — однако это оказалось бесполезным. А вот финал его опять предстал перед моим внутренним взором, даже четче, чем несколько секунд назад.

Маленькая девушка, тонким голосом поющая песню — тоже малых музыкальных достоинств. Я знал, что это фрагмент водевиля, с успехом исполнявшегося в столичных театрах. Очень странные

слова, запоминающиеся почти против воли.

«Вскоре, вскоре, вскоре, вскоре, — пела она, — *женщины исчезнут в облаках за морем».*

Маленькая певица повторяла эти бессмысленные строки раз за разом, с новыми интонациями, словно бы любуясь и заставляя меня любоваться вокальным рисунком, изменяющимися оттенками мелодии. При этом поглядывала на меня — плутовато и соблазняюще одновременно. Странные предчувствия прокрались в мою душу, но миг спустя их затмила вспышка гнева.

— Прочь! — воскликнул я. — Убирайся в свои облака, улетай за море, делай что хочешь, только оставь меня в покое!

Девушка поняла, что я отвергаю ее, и печально опустила взгляд. Лицо ее окутала тень страдания, руки взметнулись в умоляющем жесте — и тут же она исчезла из моего сна. Несколько мгновений там, где только что стояла водевильная певичка, клубился туман; затем из него выступила… О боже! Царица моей мечты, моя несбыточная греза, единственная женщина в истории человечества, которая когда-либо интересовала меня! Великая, могущественная, повелительница королей, покровительница философии и искусства — она стояла прямо передо мной, в точности такая, как

я всегда ее представлял… во плоти, это было не видение… совсем рядом… И я мог к ней прикоснуться!

Я не успел этого сделать. Она улыбнулась мне своей знаменитой улыбкой, одновременно небрежной и энергичной, затем во взгляде моей повелительницы появилась скорбь, и она с глубокой горечью проговорила чуть слышно: «После нас — потоп». И тоже исчезла, прежде чем мне удалось осознать какую-то неправильность в этой ее фразе.

Я лежал в постели, уже полностью проснувшись, и пытался собраться с мыслями. Не погрешив против истины, скажу, что в нашем Психологическом обществе я считаюсь одним из наиболее активных членов, веду каталог сновидений, на моем счету несколько скромных, но высоко оцененных коллегами исследований в этой области — словом, мне всегда удавалось распутать клубок причинной обусловленности тех или иных образов. Но на сей раз даже такой опытный специалист, как я, был сбит с толку. Правда, несколько лет назад мне довелось присутствовать на выступлении очень похожей маленькой певички, исполнявшей партию из

водевиля про отважную квакершу[6]. Кроме того, в студенческие годы я действительно предавался мечтаниям о встрече с неким собирательным, романтизированным образом выдающейся женщины, чья яркая индивидуальность оставила глубокий след в истории. Однако с той поры миновало уже немало времени — и, уверен, ни о той, ни о другой я вчера не думал перед сном. Спать лег в положенное время, своим обычным привычкам тоже не изменял, на ночь не ел ничего тяжелого, не пил крепких или возбуждающих напитков… Словом, загадка оставалась.

Однако вскоре мне предстояло столкнуться с другими загадками — и это выяснилось сразу же, едва я, признав дальнейшие рассуждения бесплодными, отбросил одеяло и встал. Собственно говоря, нечто странное в окружающей действительности мерещилось и прежде, однако эту странность, интуитивно бесспорную, никак не удавалось сформулировать на уровне рассудка. Яркие лучи солнечного света пронизывали комнату; через полураскрытое окно из палисадника

---

[6] Примечания: 6

По-видимому, сюжет этого водевиля основывался на новелле американского писателя Эдварда Пейсона Роу (1838–1888) «Отважная маленькая квакерша»: девочка-подросток из квакерской семьи бесстрашно спасает своих родных от нападения бандитов.

проникал аромат цветов; в ушах звучал шум пробуждающегося города…

— Вот оно! — не удержавшись, воскликнул я вслух. — Куда подевались воробьи?

И действительно: воробьи молчали. Прежде каждое утро проходило под аккомпанемент их задорной перебранки во дворе, бешеных сражений прямо на карнизе моего окна, непрерывного чириканья и шума крыльев. Все же весна не без оснований считается зарей жизни, природа в эту пору бурна и нетерпелива. Все последние недели я просыпался от звуков их военных игрищ или, вернее сказать, состязаний, когда серенькие кавалеры красовались друг перед другом и перед своими еще более невзрачными дамами сердца, претендуя на их внимание. Порой я тратил добрых четверть часа своего драгоценного времени на то, чтобы украдкой наблюдать за воробьями из-за занавески, изучая их поведение в самый важный для них период жизни. И вот — воробьев под окном больше нет. Это, безусловно, тоже объяснялось какой-то комбинацией требований естественного и полового отбора, вывешенной на доске объявлений природы. Но все же странно…

Так и не сумев избавиться от ощущения какой-то неправильности, я умылся, оделся — и

тут вдруг обнаружил очередное нарушение естественного порядка вещей. Вчера вечером моей квартирной хозяйке были переданы четкие инструкции: разбудить меня ровно в шесть утра. Между тем сейчас было уже полвосьмого! Немыслимо! Я опоздал на свой утренний поезд!

Это обстоятельство все же не было по-настоящему драматичным, однако вряд ли кто-то обвинит меня, узнав, что к свистку, венчающему мой конец голосовой трубки[7], я склонился с подлинным раздражением — и сердито подул в него, требуя немедленной доставки в комнату утренней чашки чая.

Ответа не было.

Я прислушался. В доме было тихо, как в склепе. Судя по всему, на нижнем этаже оказалось просто некому услышать мой сигнал.

Страшные мысли закружились в моей голове. Дом подвергся нападению грабителей — или, может быть, кровожадных разбойников, головорезов, тугов-душителей, наемных убийц?

---

[7] Примечания: 7

Голосовая трубка — акустическое устройство, распространенное в благоустроенных домах до эпохи телефона. Представляла собой две воронки, соединенные проходящей внутри здания металлической трубой, и позволяла без потерь передавать звук на расстояние в несколько десятков метров. К раструбу, выходящему в комнату жильца, обычно прилагался съемный свисток.

Внизу все мертвы? Поразмыслив, я счел, что это все-таки маловероятно. Но молчание на первом этаже действительно было явлением совершенно беспрецедентным — стало быть, требовавшим расследования.

Теперь скажу несколько слов о себе. По упоминанию студенческих годов как чего-то давно миновавшего вы, возможно, сделали неверный вывод о моем возрасте. На самом деле я все еще молодой человек, как принято говорить, «от двадцати восьми до тридцати лет» от роду. Степень моего обладания земными благами позволяет жить с некоторым комфортом, но и не более того. А еще, должен признать, я одинок в этом мире, за исключением не просто далеких, но очень далеких родственников. Чтобы удовлетворить свои скромные, но все же требующие ощутимых расходов потребности, я посвящаю свободные часы литературной поденщине — труду поистине каторжному, зато позволяющему оставаться самому себе хозяином, так что меня не беспокоит столь важное для многих мнение босса, директора или сослуживцев. В своей нынешней квартире я проживаю уже более двух лет — и она меня полностью устраивает. Дом, где я снимаю второй этаж, расположен в пригороде, что очень удобно;

хозяйка — добропорядочная вдова с двумя дочерями, свыкшимися со своим статусом «старых дев» (который не напрямую связан с возрастом); кроме вносимой мной платы, у обитательниц дома есть небольшая постоянная рента. Я — единственный квартирант, фактически уже почти член семьи, хотя обычно обедаю не за общим столом, а в клубе или в городском ресторане. Те из моих знакомых, которые относятся к женскому полу, обычно называют меня «перспективным молодым бакалавром», а мои знакомые мужского пола (богемная компания веселых холостяков) прозвали меня «женоненавистником». Вполне понимаю причины, по которым я заработал оба этих наименования, но отказываюсь признать справедливость второго из них. Если вы при чтении этих строк все-таки сочли меня женоненавистником — то вы глубоко ошибаетесь. Я не женоненавистник: я всего-навсего не женолюб. Совершенно не вижу, отчего, выражаясь языком математики, отсутствие подтверждения должно считаться подтверждением отрицания. Я ни разу в жизни не был влюблен, но зато я и не страдал от несчастной любви и вообще никогда не испытывал никаких чувств, которые заставили бы меня ступить на тот путь, которым следует боль-

шинство людей. По всей видимости, я рожден для иного.

Короче говоря, я не люблю женщин и не ненавижу их. Но это мое описание нейтралитета по отношению к «женскому вопросу», будучи предельно точным, к сожалению, никак не могло помочь с решением задачи, стоящей передо мной сейчас: выяснить, что случилось на первом этаже.

«Вскоре, вскоре, вскоре, вскоре женщины исчезнут в облаках за морем».

Черт возьми! Почему же все-таки слова и мотив этой песни столь назойливо звучат в ушах?!

Мысленно проклиная их автора, я осторожно спустился по лестнице. Никаких признаков жизни — но, с другой стороны, и никаких признаков нападения: кухня пребывала совершенно в таком же виде, как прошлым вечером. Было очевидно, что обитательницы дома все еще остаются в своих постелях.

Охваченный мрачными предчувствиями, я сперва постучал, весьма настойчиво, в каждую из дверей их спален — и, не получив ответа, поочередно заглянул во все три комнаты. Нигде никого. В кроватях явно спали этой ночью, и они были не застелены; но я с удивлением заметил в каждой

из комнат одежду и обувь, причем, судя по всему, именно в том же положении, в каком обитательницы комнат оставили их минувшим вечером, готовясь отойти ко сну. Гардероб у вдовы и ее дочерей был не так уж обширен, все их платья я хорошо знал — и теперь, осмотрев вдобавок платяные шкафы и комоды (в столь необычных обстоятельствах, по-видимому, у меня имелось на это право), понял, что все пребывает на своих местах. Я невольно улыбнулся, вообразив, как они летят над морем, облаченные только в ночные рубашки, — но вскоре был по-настоящему ошеломлен, когда, продолжив обыск, обнаружил эти рубашки под одеялами в каждой из кроватей. Бесстыдницы! Они что, отправились в этот полет совсем *без ничего*?!

Я мысленно представил, как это должно выглядеть: две перезрелые девицы и их почтенная мать, обнаженные и при этом словно бы бесплотные, несутся в облаках, подобно эльфам, и истаивают в неведомой дали…

В следующие минуты я обдумал и отверг добрый миллион гипотез. Нет, все-таки решительно невозможно было представить, что хозяйка, уважаемая и уже немолодая женщина, способна выйти из дома в обнаженном виде — даже если

речь шла о том, чтобы просто отправиться на прогулку, а не совершить эльфийский полет. Еще менее реальной казалась мысль, что она проделала это в сопровождении дочерей, одетых — то есть *не одетых* — точно так же. Это взвешенное рассуждение вернуло меня на те же рубежи, где я находился, впервые обнаружив, что дом, по-видимому, опустел. Надо полагать, и вправду случилось что-то серьезное! Раз так, то самый разумный путь — выйти из дома, запереть входную дверь своим ключом и сообщить о происшествии в ближайший полицейский участок.

Но едва лишь выйдя на крыльцо, я увидел утреннюю газету, видимо, только что оставленную мальчишкой-разносчиком. И сразу же обратил внимание на кричащий заголовок передовой статьи: «Боже, что это?!»

Остальные заголовки были ему под стать:

Мировая катастрофа!!!

Научный мир потрясен!!!

Земля лишилась женщин!!!

Все народы содрогнулись от ужаса!!!

Все религии, наука и философия отныне не имеют смысла!!!

Всеобщий вопль горя!!!

Внеочередное срочное заседание Конгресса!!!

Статей подобного рода было намного больше, но я решил пока ограничиться теми, что опубликованы на первой полосе: если уж они не позволят разобраться в том, что произошло, то на остальные надежды еще меньше.

Больше всего это походило на колоссальную мистификацию. Если верить газете, вчера ночью, ровно в 24.00 — с учетом часовых поясов в каждом отдельном случае, — на планете исчезли все женщины! На *всей* планете — *все* женщины. Совершенно неожиданно, ничто не предвещало катастрофу: просто миг назад они были, и вот уже нет. Особенно ужасающе исчезновение выглядело во время большого бала, завершавшего вчерашний государственный праздник в Берлине: сотни пар, собравшихся под сводом огромного зала, кружились в легкомысленном вальсе — и вот, когда часы пробили двенадцать, одновременно с их последним ударом прозвучал словно бы хлопок огромного паруса… и сотни мужчин замерли, будто пригвожденные к полу, сжимая в руках опустевшие платья своих партнерш по танцу.

Менее эффектно, но столь же неуклонно волна исчезновений прокатилась по всему земному шару: пропали даже девочки-младенцы, лежавшие

в колыбельках. Катастрофа постигла не только представителей рода человеческого — животный мир тоже уменьшился наполовину. Все самцы продолжили свое существование, все самки исчезли бесследно.

(«Ага, — заметил я, пытаясь сохранять хладнокровие, — это объясняет молчание воробьев».)

Я торопливо просмотрел еще несколько статей. Весь цивилизованный мир ошеломленно обсуждал чудовищные события. Ученые разводили руками, философы молчали. От религиозных деятелей, столь же ошарашенных, как и их паства, толку было не больше. Главы отдельных сект нерешительно бубнили о сбывшемся пророчестве, но даже они предпочитали делать это шепотом.

Неизменность законов природы и юридическое право, высокие материи философских обобщений, отважное атеистическое отрицание всего сверхъестественного, осторожно проводящий грань между постижимым и непостижимым агностицизм — все эти системы, порознь и вместе, были сметены, низвергнуты, пали под ударом очевидности. Удар этот был нанесен во сне и в большинстве случаев обнаружен лишь много часов спустя, но от этого он не сделался менее

сокрушительным.

Прочитав все это, я остановился, не зная, могу ли доверять своим глазам. Может быть, я все еще сплю? Или редактор утренней газеты сошел с ума? Или, возможно, с ума сошли работники типографии? Либо все мы сделались жертвами гигантского розыгрыша всеамериканского масштаба? Желая спасти остатки своего рассудка, я уже начал склоняться к последней версии — как вдруг снова вспомнил молчание воробьев за окном и загадки опустевшего дома. По-видимому, все же нельзя и дальше прятать голову в песок: что-то действительно произошло, совершенно необычное.

Наконец осознав это, я решительно устремился по улице прочь от дома. И почти сразу, за ближайшим углом, увидел группу мужчин, возбужденно обсуждавших… да, по-видимому, те самые новости из утренней газеты, что же еще.

Это были местные жители, со всеми я неоднократно раскланивался на улице, поэтому без колебаний присоединился к толпе — хотя сейчас эти люди выглядели как-то необычно. Создавалось впечатление, что сегодня поутру они одевались не только торопливо, но и очень небрежно. Да и в целом большинство изменений

в их внешности заслуживало многократного использования частицы «не»: ботинки были не чищены, пиджаки не выглажены, галстуки сидели на шеях косо или вовсе отсутствовали… Короче говоря, над этим сборищем мужчин витал дух какой-то глобальной неухоженности.

Больше всего меня изумил старина Доултон, всегда такой аккуратный: он, судя по всему, сегодня даже не умывался.

— О боже! Это ужасно! Что мне делать? Что нам всем сейчас делать? — причитал другой пожилой джентльмен: имени его я не помнил, но знал, что он живет через дорогу, прямо напротив меня. — Кухарка ушла, а я еще не завтракал… Почему? Куда она делась?! Боже! Черт! Кто-нибудь! Так нельзя обращаться с человеком моего возраста!

Слова его были невнятны, будто он говорил сквозь горячую кашу, наполнявшую рот. Судя по всему, старик забыл вставить зубы.

— Господа! — торжественно произнес я, обращаясь сразу ко всем. — Это правда? В мире больше не осталось женщин?

— Это правда… — скорбно ответил хор мужских голосов.

— Ура! Ура! — воскликнул я. И, не замечая признаков всеобщего ликования, в недоумении

оглядел притихшее сборище. — Вы что, не рады? Давайте-ка вместе со мной, ну же, раз, два, три — и вместе: гип-гип — ура!

В этот миг мой восторженный возглас был безжалостно прерван вероломным пинком под копчик. Я резко обернулся, вознамерившись провести хук правой (мой коронный удар!) в наиболее уязвимую часть организма того из соседей, который дерзнул поднять на меня ногу, как вдруг — бац! — трость старины Доултона обрушилась на теменную часть моего черепа или, как говорят менее культурные представители человечества, «врезала по кумполу». Причем очень больно.

О дальнейшем у меня остались крайне смутные воспоминания. Волна оплеух, зуботычин, тычков, пинков и оскорблений накатилась, перевернула, понесла меня куда-то — а когда она наконец схлынула, я обнаружил себя лежащим пластом в канаве на обочине.

«Невероятно, но факт, — констатировал я, с трудом поднимаясь. — Вместо того чтобы радоваться освобождению, они очень болезненно переносят свою потерю. На что это похоже больше всего? На порывистую реакцию неофита, еще не освоившегося с новым положением дел? На толкотню, которую устраивают покупатели в отделе сни-

женных цен? Ох, да не все ли равно — если я сам теперь больше всего похож на отбивную, которую, к счастью, забыли поджарить…»

Что мне оставалось делать? Правильно: вернуться домой, сменить потрепанную одежду и вообще привести себя в порядок.

Прежде чем решиться на следующую вылазку, я провел немало времени в размышлениях о порочности человеческой натуры. Люди, столь злобно и неспровоцированно напавшие на меня, были моими постоянными спутниками во время поездок в город и возвращения оттуда. День за днем, час за часом я вынужден был слушать их дорожные жалобы на женщин. И вот она, мужская непоследовательность, которую мне пришлось прочувствовать душой, а также, ох, телом…

Однако с фактами приходится считаться. Поэтому, вновь отправляясь из пригорода в центр, я предпочел не выдавать своей радости, скрыв ее под маской самой черной меланхолии.

Привычка сильнее разума, поэтому каждый раз, когда омнибус останавливался, чтобы взять очередных пассажиров, я, сидящий у прохода, невольно привставал, готовясь пропустить даму. Но каждый раз с облегченным вздохом опускался на прежнее место: никаких дам действительно

не было.

Клянусь, эта поездка оказалась первой, когда я смог наслаждаться поистине каждой минутой: не задумываясь о подобающих манерах, не снимая поминутно шляпу, не улыбаясь — а главное, никому не уступая сиденье, как того требовали безликие и бездушные правила учтивости. Прежде обязательно находилось хрупкое очаровательное существо, которое пристраивалось напротив меня, после чего тут же беспомощно повисало на ременных ручках, за которые надлежит держаться стоящим пассажирам, и всей своей позой, а также укоризненно-умоляющим взглядом демонстрировало, до чего же ему трудно и насколько каменным сердцем должен обладать мужчина, который немедленно не уступит этому существу сидячее место.

Разумеется, эти усилия каждый раз оказывались вознаграждены…

Улицы были полны людей, все — мужчины, и все бурно обсуждали что-то: конечно, то же, что и мои соседи из пригорода. Особенно густые толпы собирались перед тумбами, где были расклеены свежие объявления: многие, затаив дыхание, ждали… наверно, сами не в силах понять, чего именно.

Лично меня больше всего поразило то, что среди этих объявлений оказалось неожиданно много предложений работы для мужчин и мальчиков. Рабочая сила сделалась не просто гораздо более востребованной: к ней теперь явно относились с уважением. Кстати, сами рабочие столь же явно начинали осознавать это: им не потребовалось много времени, чтобы оценить изменившуюся ситуацию. Теперь на лицах простых тружеников появилась маска гордого, даже надменного достоинства: с каменным безразличием они отказывались от предложений, ради которых совсем недавно готовы были лебезить и унижаться. «Какой прогресс!» — радостно констатировал я.

На биржах труда было не протолкнуться, но сейчас туда стянулись в основном не безработные, а работодатели. Скорость, с которой повышалась заработная плата, была воистину потрясающей, особенно в тех областях рабочего рынка, которые прежде традиционно принадлежали женщинам. К середине дня сделалось уже почти невозможно нанять мужчину, согласного и умеющего готовить, стирать, застилать кровати и мыть посуду: разве что за поистине невероятную плату. В результате многие, получив щедрый аванс, решили пообедать в ресторанах: даже те, кто доселе не

мог себе этого позволить.

Поднявшаяся там давка была столь ужасна, а уровень обслуживания до такой степени упал, что в следующие дни я предпочел кухарничать дома. К счастью, это продлилось недолго: если бизнес оказывается до такой степени прибыльным, он расширяется — так что вскоре все вернулось к обычному положению дел.

Неделя пролетела незаметно. В газетах кипели дискуссии — но совершенно вне зависимости от того, что там говорилось, индустриальная система ощутила немыслимый подъем. Даже не подъем, а подлинный взрыв. Никто и предположить не мог такого. А ведь все так просто: людей стало вдвое меньше, значит, капитал тоже вырос в два раза.

Тут, правда, был один подвох, о котором большинство не задумывалось. Когда производство развернулось в полную силу, вдруг оказалось, что потребление выросло на пятьдесят процентов. Так что торговля резко набрала обороты, а поскольку спрос превышал предложение, то заработная плата повысилась. Но вслед за ней вскоре выросли и цены. Поэтому работяги, обрадованные новыми возможностями, сперва действительно сумели обзавестись предметами

роскоши, ранее им недоступными, однако, когда цены и оплата труда пришли в равновесие, быстро выяснилось, что простой человек практически ничего не выиграл по сравнению со временем, предшествующим катастрофе. Этот исход был очевиден для любого, мало-мальски разбирающегося в «мрачной науке»[8] — хотя, надо сказать, ни я, ни подавляющее большинство других людей не сумели его предвидеть.

Как-то раз, через две недели после… того замечательного события, которое я только что необдуманно назвал катастрофой, мне вздумалось заглянуть к другу, молодому художнику Чарли Эгглестону. По пути я зашел в парикмахерский салон, где обычно брился, и был изумлен числом набившихся туда клиентов, их запущенным видом, а также явно бедственным положением, в котором почему-то оказалась парикмахерская. Это было поистине ужасно! Я вдруг увидел себя в большом зеркале — и содрогнулся, осознав, что ничем не отличаюсь от остальных: в рубашке не

[8] Примечания: 8

Такое определение знаменитый викторианский историк и философ Томас Карлейль дал политической экономии. По его концепции, мир в дальнейшем ожидало только усиление неравенства, рост обнищания, возврат принудительного труда — и экономическая наука должна была донести до людей эти горькие истины, в отличие от «радостной науки», к которой Карлейль относил поэзию.

первой свежести с откровенно грязным воротником и манжетами… носовой платок еще грязнее… брюки смяты в гармошку, жилет при каких-то обстоятельствах лишился двух пуговиц, на лице — щетина четырехдневной давности… Боже мой, во что я превратился?!

Именно тут в зал вошел владелец парикмахерской. Я помнил его как трезвого, трудолюбивого, вежливого человека, постоянно озабоченного благосостоянием своей семьи; но сейчас он был пьян не как парикмахер, а воистину как сапожник, агрессивно настроен — и в категорическом тоне потребовал от всех «выметаться прочь из его заведения». Я попытался протестовать — но безрезультатно: хозяин заявил, что вообще прекращает работу и закрывает салон. Оказывается, он так или иначе не мог продолжать дело, потому что все его помощники или спились, или разбрелись неведомо куда.

— Кроме того, — продолжил этот человек, — какой сейчас прок от работы? Что я теперь могу сделать со своими деньгами после того, как заработал их?

Он убедился, что все клиенты покинули помещение, после чего, даже не потрудившись закрыть дверь, неверными шагами удалился

по улице прочь, явно намереваясь продолжить запой.

Мой друг Эгглестон всегда заботился о своей внешности, он был большой аккуратист, в прошлом дамский угодник — это, конечно, теперь потеряло смысл, но тягу к изяществу Чарли наверняка сохранил, поэтому вряд ли стоило его навещать, не приведя себя в порядок. Подумав, я также решил отложить визиты к своему юристу и издателю — по тем же причинам. Однако мой путь так или иначе пролегал мимо издательства. Внезапно оказалось, что оно закрыто, а на дверях висит объявление, извещающее почтенную публику, что издательский дом «Уолкер и сыновья» прекращает свою деятельность. Оглядевшись, я с неприятным чувством убедился, что на многих заведениях вокруг красуются таблички подобного рода. На противоположной стороне улицы двое мужчин как раз закрывали входные двери недавно респектабельного магазина и навешивали замки на оконные ставни; владельцы соседней лавки были заняты такой же работой.

Тут я неожиданно увидел своего юриста, к которому раздумал заходить. Он торопливо шагал вниз по улице; заметив меня, остановился, но лишь для того, чтобы сообщить: он сворачивает

свою практику и вообще уезжает из города, а мои ценные бумаги и все остальное передал на хранение в банк, так что теперь я сам смогу найти их там в депозитном сейфе. Свой поступок он объяснил так: «Я уже накопил достаточно, чтобы худо-бедно хватило на остаток жизни, а больше теперь и думать не о чем».

В задумчивости я продолжил путь. Теперь стало ясно, что привести себя в порядок перед встречей с Эгглестоном не получится, так что я направился прямиком к нему, удивляясь лишь необычно большому количеству пьяных, которые, казалось, заполонили все улицы.

С Чарли мы буквально столкнулись в дверях: он как раз готовился к выходу. При этом мой друг был одет столь небрежно, что я сразу почувствовал: за собственный внешний вид могу не беспокоиться.

— Привет, старина! — воскликнул Эгглестон. — Сто лет тебя не видел! Собирался пройтись, но, раз уж ты здесь, отложу это: будь гостем!

— «Пройтись»? Ты подразумеваешь под этим то же, что и прежде?

Я замер, все-таки не в силах поверить собственным глазам. Мой друг Чарли, аккуратист и дамский угодник, законодатель мод, намерева-

ется выйти в свет, изменив всем своим прежним привычкам?

— Понимаю, старина, — кивнул он. — Но какая теперь разница? Кто сейчас меня увидит?.. Заходи, что стоишь столбом: посидим, пообщаемся. Больше ведь делать все равно нечего!

Его квартира пребывала в еще большем небрежении, чем прическа и костюм: то, что я увидел внутри, можно было описать только словом «кавардак». Также было очевидно, что он полностью забросил живопись.

— Какая теперь разница, старина? — пожал плечами Чарли, выслушав мой упрек по этому поводу. — Ну да, я не могу заниматься прежним делом: сперва меня покинула моя натурщица, а вслед за ней удалилась и муза… Между прочим, это всех муз касается: как у тебя, дружище, движется работа над той поэмой, которую ты читал мне при нашей прошлой встрече? Помнится, тогда у тебя первые четыре станса были готовы — ну-ка, продекламируй мне пятый!

— Ну… У меня… — Я облизал разом пересохшие губы. Листок с этими четырьмя стансами так и лежал на моем письменном столе, и к ним с тех пор не прибавилось ни слова. В самом деле, не могло же оно само прибавиться, без моего

участия! А моя мысль к поэзии почему-то не возвращалась с тех самых пор, как… — Видишь ли, Чарли, должен признать…

Тут мы оба рассмеялись. И правда, глупо скрывать грех, раз уж ему оказались подвержены, по-видимому, вообще все! Мы тут же договорились прямо сейчас вместе навестить наших общих друзей, поинтересоваться их творческими успехами и послушать, как они будут увиливать. Вечер, проведенный за чередой таких визитов, обещал быть поистине прекрасным!

Поймать экипаж оказалось невозможным, так что мы тронулись пешком. Я вновь обратил внимание на контраст, который нынешние улицы представляли с собственным же видом до… события. Все встречные были угрюмы и озабочены, магазины по большей части закрыты, театры пустовали. Становилось похоже, что события развиваются неправильным образом. Многие из попадавшихся нам на пути мужчин, судя по выражениям их лиц, страдали от несварения желудка: по-видимому, кулинарное искусство исчезло раньше прочих. А вот неумеренное потребление спиртного, наоборот, повсеместно распространилось среди всех классов, особенно рабочего.

Не было ни смеха, ни каких-либо признаков дружелюбного поведения — похоже, проблемы голодного брюха попросту отменили все это как ненужные излишества. Повсюду царила настороженная, агрессивная готовность немедленно вступить в борьбу за те блага жизни, которые еще оставались доступны.

Рабочие, пьяные или трезвые, держались необычно. Они выглядели столь же неудовлетворенными жизнью, как и все остальные, но теперь они вели себя вызывающе и высокомерно — особенно по отношению к представителям классов, ранее считавших себя высшими. Теперь такой «представитель», столкнувшись с пролетарием (буквально жаждущим этого), немедленно подвергался оскорблениям, если не чему похуже…

Видимо, бытовая вежливость вышла из моды, а бал правил безудержный эгоизм. Легко было отличить тех, кто полностью принял этот закон, отвергнув все остальные: их лица излучали жесткую, напористую уверенность. Все более высокие и благородные чувства бесповоротно отправились в изгнание.

Кроме рабочих, улицы были полны теми, кого мы прежде именовали «деревенщиной»: обитатели сельской местности толпами устремились в

город. Один старый фермер спросил у нас дорогу — и мы разговорились с ним. Старик до сих пор горько оплакивал потерю своей Мэри, которая трудилась с ним бок о бок добрых тридцать лет. Вскоре после *происшествия* его наемные работники решили, что им вовсе незачем батрачить на полях; вслед за ними в город подались и сыновья фермера. И когда наконец сама возможность сельского труда исчезла, старик решил, что исчезли все причины, по которым он ранее не мог последовать за сыновьями. Он взял все свои сбережения и теперь рассчитывал «устроить себе напоследок долгие каникулы», проведя остаток жизни в праздности и каком-то подобии развлечений.

Я заметил, что на его одежде недостает пуговиц. Впрочем, этим же прискорбно отличались одеяния всех, кто встречался нам по пути.

Час спустя мы наконец оказались в гостях у Тромбли, по мнению всех его друзей (в число которых входили и мы), подлинного знатока и эксперта — не в живописи, а в кулинарии. Прежде он держал повара, мастера французской кухни, и платил ему несусветные деньги, но сейчас, увы, работника нельзя было соблазнить даже этим. К счастью, Тромбли в кулинарных вопросах был

не только теоретиком, поэтому виртуозно справлялся с готовкой сам. Подавая яства на стол, он всячески извинялся за то, что, дескать, не может угостить нас столь же щедро, как в прошлые времена, и, естественно, выслушивал в ответ наши дифирамбы.

Особенно удались ему кремовые пирожные: вкушая их, мы, как говорится, буквально «пали ниц». Далее, естественно, завязался разговор о том лучшем, что каждому из нас довелось пробовать в прежние годы, и Трамбли слушал это, сияя от удовольствия.

— Внимание, человече! — вдруг воскликнул он. — Внимание к тому, что делаешь сейчас!

Чарли, как раз потянувшийся за порцией меда, ошеломленно замер. Видя, что я тоже удивлен, Трамбли снизошел до объяснений:

— Вы хоть знаете, друзья мои, что никому из вас, скорее всего, больше не доведется попробовать меда? Эта пинта — она обошлась мне в целых двадцать долларов! — была последней на рынке… Вам вообще известно, что звезда медоносных пчел закатилась?

— Пчелиная звезда закатилась?! — в один голос воскликнули мы.

— Да, увы, именно так. После того, как в каждом

улье исчезла пчелиная королева, там начались беспорядок и анархия. Рабочие пчелы сначала перестали вылетать за добычей, потом сами съели весь мед, и, почувствовав, что более их ничего не объединяет, рассеялись, как говорится, от Дана до Вирсавии[9]. Вот так они, оказываются, ведут себя, оставшись без руководства… Сейчас в окрестностях опустевших пасек стало невозможно жить: разобщенные пчелы, одичав, свирепо нападают на все, что движется. Но перезимовать им не удастся…

Мы с Чарли не оставили мысль навестить всех знакомых, поэтому, выйдя от Тромбли, направили свои стопы к Прескотту, нашему старому другу еще по колледжу. На звонок в дверь он не ответил, но из дома доносилось пение — и мы, следуя на звук, заглянули в окно кухни. Увиденное потрясло нас: Прескотт, ранее отличавшийся умеренным и трезвым образом жизни, сидел на кухне в грязном халате, окруженный множеством пустых бутылок, и до отвращения пьяным

[9] Примечания: 9

Кн. Судей, 20: 1 «И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Вирсавии» — т. е. на самом деле речь идет о сплочении, а не разделении. Трудно сказать, кто придал цитате обратный смысл: Тромбли или сам Джек Лондон. В любом случае рабочие пчелы — тоже самки, так что они должны были исчезнуть вместе с королевами.

голосом напевал религиозные гимны. Он увидел нас, но, похоже, не узнал — и, с пробужденной алкоголем горячностью выхватив из стоящей рядом с ним кастрюли огромный «смит-вессон», открыл огонь в нашем направлении. Нам осталось только припасть к земле и удалиться — ползком, но стремительно.

С трудом восстановив душевное равновесие, мы решили заглянуть в гости к Джорджу Кертису, умному и сдержанному юноше: можно было не опасаться, что он встретит нас револьверной пальбой. Жил он довольно далеко, так что имело смысл срезать путь, пройдя по улицам, куда лично я прежде, пока ходил городской транспорт, не заглядывал. На одной из них, оказавшейся неожиданно узкой и темной, мы услышали, как голос, охрипший, но хорошо поставленный, читает монолог Гамлета: «Быть или не быть — вот в чем вопрос! Достойно ль…». Тут речь датского принца вдруг прервалась, а произносивший ее человек быстрыми шагами направился к нам. В темноте щелкнул курок и мы услышали совсем другие слова: «Руки вверх!»

Мы торопливо подчинились.

— Слава богу! — с облегчением воскликнул Чарли, когда актер-грабитель, приблизившись

вплотную, начал ощупывать наши карманы. — Это вы, Хоскинз?

Хоскинз был актером не просто известным, но и весьма успешным. Он входил в круг той артистической богемы, где у нас было немало знакомых.

Узнавание оказалось обоюдным — и знаменитый актер тут же поведал нам историю своего падения. Он всегда жил широко, тратя свои огромные заработки до последнего цента, так что в день, когда мир постигла катастрофа, Хоскинз вошел без сбережений. И тут внезапно выяснилось, что всем успехом в своих комически-экстравагантных ролях он был обязан тому обожанию, которое умел внушить женской аудитории. Так что его актерская карьера оборвалась практически немедленно. Бедняга остался без работы, голодал — и вот сегодня вечером решил прервать цепь своих злосчастий, обратившись к тому единственно доступному ремеслу, которое могло его прокормить.

— А вы не пробовали найти работу? — спросил я.

— Я что, похож на человека, который может запятнать свои руки черным трудом?! — горделиво ответил он, словно бы исполняя роль «благородный янки в затруднительных обстоятельствах».

— Но, во имя Господа! Подумайте о позоре, который вы навлекли на…

— Нет никакого позора, — мотнул головой Хоскинз. — Мой отец давно умер, а моя мать, сестры, жена — все они теперь не узнают, что стало со мной. Я не опозорен ни в чьих глазах: во всяком случае, в глазах тех, чье мнение для меня хоть что-то значит. И посмотрим, какие песни вы сами затянете через несколько месяцев, когда в полной мере испытаете то же, что и я!

— Но работа…

— Да, хорошо, что вы мне это напомнили: работа есть работа. Я, как видите, все-таки нашел ее — и теперь постараюсь достичь в ней не меньшего успеха, чем когда мне доводилось блистать на сцене. Так что руки вверх, будьте любезны! Право слово, мне повезло: практиковаться лучше на знакомых… Вы согласны?

Мы не нашли, что ему возразить, и Хоскинз энергично обшарил нас, перекладывая в свои карманы все мало-мальски ценное.

Затрудняюсь утверждать, что мы в результате много потеряли, потому что тем же вечером и на тех же темных улицах по пути к дому Кертиса нас еще несколько раз останавливали, на сей раз вовсе незнакомые люди, но одержимые той же

целью. Так что, не избавь нас от денег Хоскинз, это неминуемо произошло бы после.

Судя по всему, многие сейчас решили, что уличный грабеж является вполне почтенным промыслом. Я подумал, что если ситуация будет и дальше развиваться в том же духе, то вскоре мы перестанем отличаться от обитателей архипелага Силли, которые добывают все нужное для жизни путем обмена[10], пусть иногда принудительного.

Кертис, по-видимому, был дома, но дверь, несмотря на наш настойчивый стук, не открывал. Оставалось предположить, что он пьян до бесчувствия. Помня, какую встречу оказал нам Прескотт, мы обошли дом с большой осторожностью, ежеминутно опасаясь угодить в капкан или задеть тросик настороженного самострела. Мы ничего не увидели через нижние окна, но нашли лестницу, поднялись по ней на второй этаж — и там, все еще незамеченные, обнаружили нашего

---

[10] Примечания: 10

Силли — архипелаг из 55 крохотных островов неподалеку от побережья Корнуолла (Англия). Во время Джека Лондона нравы обитателей Силли не слишком отличались от тех, что были распространены в остальной Британии, но о них издавна ходила шутка, опирающаяся на описание древнеримского историка Гая Юлия Солина: «Тамошние островитяне сохраняют старый обычай: они не используют монеты, получая все необходимое для жизни путем обмена друг с другом, а не за деньги».

друга, стоящего посреди освещенной комнаты.

Мы замерли, пораженные. Кертис был щегольски одет — безупречный вечерний костюм, лакированные штиблеты, кожаные перчатки, — словно готовился к свадьбе или званому визиту. Он стоял перед большим столом, на котором в странном порядке располагалось спиртное — портвейн, шампанское, виски «Бурбон», несколько бутылок абсента, — а также разного рода средства, связанные с употреблением наркотиков: шприц для подкожных инъекций, трубка для курения опиума и прочее в том же духе…

Джордж ужасно изменился с тех пор, как мы видели его в последний раз. Его лицо, всегда худощавое, сейчас выглядело неестественно изможденным и смертельно бледным, расширенные зрачки странно блестели, а под глазами легли темные круги. В глубокой задумчивости он смотрел на то, что располагалось перед ним, и словно бы не знал, с чего начать.

Мы, переглянувшись, начали было тихо спускаться назад, но тут же устыдились и, плечом к плечу устремившись по лестнице вверх, шумно ворвались в комнату, ругаясь при этом, словно солдаты. Джордж Кертис, нимало не смущенный, повернулся к нам, приветствовал сердечно и

радостно, но тут же его взгляд, вновь обретший задумчивость, устремился в прежнем направлении.

— Друзья, вы прибыли как раз вовремя, чтобы быть свидетелями на моей свадьбе! Нет, не думайте, что я решил завести гарем, — поспешил заметить он, увидев, что мы уставились на стол, — вы ведь знаете: я — сторонник моногамного брака. Но имеет же человек право поразмышлять относительно своего выбора?

Кертис еще раз оценивающе смерил взглядом то, что располагалось перед ним. Поколебавшись, взял бутылку «бурбона», высоко поднял ее и торжественно запел:

— Вот добрый старый виски — так пей же до дна!

Вот добрый старый виски — так пей же до дна!

Вот добрый старый виски,

Хлебни — все станут близки,

В Нью-Йорке, в Сан-Франциско —

Так пей же до дна!

— Какой ужас… — прошептал я.

— Тебе не нравится мой выбор? Что ж, лад-

но! — согласился Кертис. — Тогда перейдем к следующей кандидатуре. Что здесь у нас? О! Это абсент, подлинный *extrait d'absinthe* благословенной Франции! Ну-ка, что тут пишут про состав: цветущие верхушки полыни, сладко-пряные корневища дягиля и аира, листья критской душицы, отборные плоды аниса и великое множество ароматных трав, на которых настаивался чистый, как слеза, алкоголь. Какая очаровательная невеста! Какого изящества исполнен изумрудный свет, вспыхивающий в ее прозрачных глубинах! О, сколь велико будет блаженство того, кто введет эту деву в свой дом и сделает ее хозяйкой!..

— Джордж, остановись! Немедленно! — потребовал я. — Будь разумным человеком!

Но он только рассмеялся в ответ:

— Ты абсолютно прав, мой друг! Я согласен с тобой, я согласен с вами обоими, друзья: только что мне чуть не довелось сделать уступку дурному вкусу. Конечно, меня ждет куда более очаровательная невеста. Возможно, это она? Гашиш, самая скромная и наиболее соблазнительная из всех дев: листья и цветы индийской конопли, искусно смешанные в должной пропорции с чистейшим маслом. Как просто, но при этом как очаровательно! И все-таки даже она — лишь

незрелое дитя по сравнению вот с этим средством. О, прекрасная женщина во всем великолепии своего расцвета! Один поцелуй — и она заполняет вены жидким огнем, который поглотит и вберет в себя все ваше естество, вскипятит его, взвеет гребнем шипучей пены, погонит по каждой жилке пульсирующую волну невыносимого наслаждения. Один поцелуй — и она возьмет вас за руку, проводит на недоступные вершины, прочь от этого мира и его печалей… Один поцелуй — и вы беседуете с бессмертными, потягиваете золотой нектар из божественных кубков… О, сколь изумительна эта невеста — Морфий, любимая дщерь Морфея, младшего из братьев-снов… Дева-мечта, дарительница невыразимого счастья… О-о-о!

Кертис умолк, словно задохнувшись. После паузы он продолжил неожиданно спокойным задумчивым голосом:

— Все же, пожалуй, эта дева, при всем своем изяществе, слишком энергична для меня. Моя возлюбленная должна быть менее страстной, должна дарить покой… Значит, один ее поцелуй — чтобы ввергнуть меня в медленную Лету, реку времени, которая смывает все треволнения, погружая в сладостные дремотные мечты. Еще один — и все мои чувства коварно украдены, будто их

и не было. И последний, поцелуй бескорыстной любви — он окончательно уносит из мира забот в страну бесконечного праздника. Вот где я тебя нахожу, моя дражайшая, несравненная: в соке маковых головок. О сияющий дух милосердия, ангел-хранитель, ниспосланный нам свыше! Сладчайшее, сладчайшее, нежнейшее объятие твоих рук! Сладчайшее, сладчайшее единение с тобой — куда до него всем божественным соблазнам! За двумя возлюбленными разом устремился я — обеих настиг, обеих же и потерял. Но стоит ли жалеть об этом, раз уж я возлежу на твоей нежной груди? Теперь не имеет значения ни разница в возрасте, ни текущее сквозь нас время, ни сама вечность. Ты девственна, любовь моя, но у тебя есть три дочери, рожденные непорочно. И вот, когда я держу тебя в объятиях, меня осыпают ласками и они тоже: Морфея, Кодеина и Наркоциана. У меня нет сил и желания, чтобы понять, ласки которой из них изысканней; блаженная слабость окутывает меня, несет вдоль темных берегов реки Времени, покрывает ворохом листвы Забвения. Ну же, дражайшая дева Востока,

возьми меня с собой в горный град Аккисар[11], и там, в твоем доме, мы навеки забудемся вместе. Единственное лобзание твоих уст — и земные тяготы спадают с моей души. Твое благословение — и я готов раствориться в небытии. Твое милосердие — и вот меня уже нет. О боги — меня уже нет… нигде нет… нет меня более…

Его голос затих, словно бы медленно удаляясь. Мы молчали. Что мы могли сказать, что могли сделать? Заметив наше ошеломление, Кертис словно бы встряхнулся — и вдруг снова стал самим собой.

— Дорогие друзья, извините, что испытывал ваше терпение, — сказал он, — но моя беда, как вы знаете, велика. То, что могло сейчас показаться бредом сумасшедшего, на самом деле — стон души, обливающейся слезами над пепелищем надежд, останками радости, развалинами идеалов. Вы только что слышали: я обрел и потерял двух возлюбленных — так зачем скрывать, что и третью тоже? Все они *requeiscat in pace*[12]. Первая

---

[11] Примечания: 11

Аккисар, точнее, Акхисар — город в Турции, издавна славившийся как один из центров восточной торговли. Возможно, упомянут потому, что наркотики воспринимались тогда как «восточные зелья».

[12] Примечания: 12

Покоятся с миром: заупокойная формула (*лат.*).

из них — мой музыкальный успех, мое признание, которого я с таким трудом добился и которое оказалось столь кратким. Вторая — сама моя музыка, которой я посвятил всю свою жизнь и талант, вовсе не только из стремления к славе. И третья — моя Алиса…

Он поймал наш взгляд и продолжил:

— Вы не знали? Вы помните мою карьеру как музыканта, мой путь к совершенству и признанию; но вряд ли вы могли заметить тот потаенный недостаток, который мешал мне по-настоящему завоевывать людские сердца. Мне не хватало того, что называют огнем эмоций, позволяющим раскрывать самую потаенную глубину чувств, отправлять трепещущую душу в полет, не скованный объятиями сотворенной плоти; достигать высших эмпиреев счастья. Моя техника была превосходна — не хуже, чем у самых великих музыкантов, — но власть над душами слушателей дает не она. Талант завел меня в тупик — а вывел из него мой гений… добрый гений, моя муза, путеводная звезда — Алиса! Я познал любовь к ней — и ожил, музыка в моей душе зазвучала иначе, открывая путь к другим душам. Вот так пришло ко мне вдохновение: с прикосновением ангельской руки… руки ангела во плоти. Мир бросил

богатство и славу к моим ногам — но что мне был гром аплодисментов: Алиса стала для меня всем! О Алиса! И в первую нашу брачную ночь… Вы не знали? Это была ночь катастрофы — и утро для меня никогда не наступило, я до сих пор брожу во мраке! Алиса озарила мою жизнь, как метеор: угасло его свечение — и для меня исчезла из мира музыка. Вдумайтесь же, в каком мире мы оказались сейчас — и поймите: это преддверие ада. Нет никакой разницы, слепая судьба низвела нас в ад или то была сознательная воля, прихоть некого монстра космического масштаба, каприз его. Весь наш мир остался во тьме, потеряв свою женщину, как я потерял Алису. Женщина ушла — и с ней ушло стремление человечества к самосовершенствованию. Все стандарты человеческой этики, тяга к идеалу, благородство — этому больше нет места под небесами. Наденьте же траур, сыны Земли! Предайтесь самому черному отчаянию! Прошлое мертво, а никакого будущего больше нет. Отныне наш путь устремлен лишь вниз, вниз, вниз — к варварству, к зверству, к распаду. Утоляйте же свою похоть, насыщайте все свои страсти в приступах дикой разнузданности; забудьте, что вы мужчины, ибо вы уже не люди. Лишь это забвение станет вашей панацеей,

позволяющей хоть на время не думать о поре наступивших бедствий. Грешите! Грешите! Грешите! Грешите так, чтобы сам ад содрогнулся в ужасе! Помните: вы были людьми лишь до тех пор, пока оставались сыновьями женщин! Мрак опустился, и ночь будет вечной, потому что вечная женщина ушла из бытия. Вся громада вашей цивилизации, ваше знание, десять тысячелетий вашей культуры обречены на тлен; первобытный хаос — вот что ждет и лично вас, друзья мои, и меня, и всех. Заглядывая в ближайшее будущее, я вижу, как дикарь сражается с дикарем, скот борется со скотом, причем все эти дикари и скоты — мы, мужчины. Я смотрю с высоких стен возведенного человечеством замка, перегибаюсь через его резной парапет — и вижу там, внизу, море крови. Недолгой же была наша слава… Спустите с цепей псов войны! Рвите врагу горло и терзайте его плоть! Убивайте! Калечьте! Разрушайте! Да воцарятся мятеж, анархия и хаос! Конечно, посреди ужасов их всеконечного господства исчезнут последние остатки человеческого благородства — так и что с того: в нем нет смысла после исчезновения женщин… Да вскипит с невиданной силой междоусобная борьба — а потом все будет кончено. Земля вновь увидит рассветы и зака-

ты; солнце, луна, звезды и дальние туманности продолжат свой вечный путь; вселенная даже не заметит произошедших изменений… Но вся земная жизнь — люди, птицы, звери и насекомые, все, что есть на нашей планете разумное и неразумное, вся органическая материя прекратит существование свое!

Мы замерли, скованные ужасом. Но Кертис, по-видимому, перестал нас замечать: чиркнув спичкой, он разжег крохотную спиртовку, потянулся за трубкой для курения опиума… Вскоре комнату заполнил отвратительный наркотический дым. Ощутив себя незваными гостями, мы поспешили убраться прочь. И, едва оказавшись на улице, расстались: нам с Чарли вдруг сделалось невыносимо общество друг друга.

Должен признаться, впервые я по-настоящему ощутил страх перед настоящим, а главное — перед будущим. Городской транспорт, как уже говорилось, канул в небытие — и я устало потащился домой пешком, по темным тихим улицам… нет, не таким уж тихим: со всех сторон доносились вопли и тщетные призывы на помощь. Ночь была полна убийств и грабежей, они словно бы дышали мне в спину.

Я с облегчением вздохнул, закрыв наконец за

собой дверь своего дома. Но о том, чтобы лечь спать, даже думать не приходилось: жуткая картина, обрисованная Кертисом, продолжала стоять перед моим внутренним взором.

Ближе к утру в дом вломились грабители. Я отнесся к этому с полным безразличием и предложил им брать все, что найдут. Понемногу у меня начала спадать пелена с глаз: похоже, Кертис действительно прав и судьба мужского мира складывается печальным образом. А значит, моей собственной судьбы это тоже неизбежно касается.

…Солнце медленно опускалось к горизонту; воздух был насыщен ароматами свежести; во всей природе, казалось, воцарился мир. Но до того ли было нам, двум измученным, изголодавшимся людям, которые едва плелись вдоль пустынной дороги?..

Мой напарник и я. Нам не было дела даже до имен друг друга.

Какой-то звук вдали! Не сговариваясь, мы отработанным движением метнулись в кусты на обочине, затаились там. Да, это дальний цокот копыт!

Мы крепко сжали в руках дубинки и с неукротимой решительностью, порожденной отчаянием,

стали ждать, когда одинокий ездок окажется к нам вплотную.

Вот он появился из-за поворота — и оказался не всадником, едущим верхом, а пожилым путником, ведущим в поводу тяжело навьюченную лошадь. Космы седых волос обрамляли некогда, наверно, полное, но теперь исхудавшее лицо, посреди которого торчал большой нос, несомненно, семитского типа.

Он приблизился — и мы выскочили из укрытия. Ни в ком из нас не оставалось даже капли милосердия, а тем более почтения к сединам.

Мы одновременно бросились на старого еврея. Он сунул было руку за пазуху, может быть, намереваясь выхватить револьвер, но я резко ударил его дубинкой по голове, свалив в дорожную пыль.

Потом мы распрягли лошадь. Седельные сумы были тяжелы, и наши сердца радостно забились, когда мы увидели там множество пакетов. Не тратя времени на то, чтобы их распаковывать, мы вспороли пакеты ножами — и…

О горькое разочарование! Ограненные рубины, жемчуг, алмазы — отборные, крупные драгоценные камни, золото… много золота… В гневе и ярости мы пинали бесполезные сокровища,

втаптывали их в землю.

Старик, придя в себя, поднялся, шатаясь, на ноги и при виде столь расточительного отношения к его богатству обрушил на нас дикие проклятия, призывая Отца Небесного, что хранит чад Израиля, покарать язычников и повторно ввести праведного в обладание собственностью. Сначала я с полубезумной иронией ответил в тон ему, громко цитируя на память те строки из «Венецианского купца», где Шейлок сожалеет о потере своих дукатов и своей дочери. Но перекричать старого пройдоху оказалось невозможно, так что я в конце концов ударил его по губам и приказал заткнуться.

Голод терзал нас. Единственное, что имело значение, — это как его утолить.

Мы спросили, есть ли у него хоть что-нибудь по-настоящему ценное, то есть съедобное. Старик поклялся всеми иудейскими пророками, что нет, — и продолжил в отчаянии рвать на себе волосы. Даже не думая препятствовать ему в этом благом деле, мы за считаные минуты развели костер, зарезали лошадь и вскоре уже жадно насыщались полусырым мясом. Всего нам было не съесть, поэтому мы великодушно предложили старому еврею присоединиться к трапезе. Но он,

убитый горем, отказался и занялся поиском своих разбросанных по земле сокровищ, надеясь хоть что-то спасти.

Старик долго и безуспешно рылся в пыли, потом вдруг радостно вскрикнул и поспешил к костру, чтобы получше рассмотреть горстку все-таки собранных им драгоценных камней. Когда он наклонился к пламени, я сперва увидел его глаза, вспыхнувшие ярким огнем жадности, но причину ее понял, лишь когда рассмотрел руку, повернутую ладонью вверх. На ладони этой лежала пара десятков драгоценных камней обычного вида — но среди них блистал огромный бриллиант чистейшей воды, великолепно ограненный, невыразимо прекрасный…

Прекрасный?! Отвратительный!

Я ударил старика по руке, и камни полетели во все стороны. Последствия оказались неожиданными и кровавыми. С нечеловеческим криком, в котором смешались гнев и горе, он бросился на меня. Я схватил старого еврея прежде, чем он смог воспользоваться своим револьвером (мы так и не додумались его разоружить!), но старик боролся со мной, проявляя столь неожиданную силу, что мне было его не одолеть. К счастью, мой напарник, поняв это, сразу бросился на помощь.

Минуту мы, все трое, сцепившись, катались по земле, потом прозвучал выстрел — и напарник получил пулю в голову. Но тут силы старика иссякли: еще минута отчаянной борьбы — и все было кончено.

Даже после того, как старый еврей прекратил сопротивление, я снова и снова колотил его тело, искренне восхищенный тем, что могу проявлять не подобающий цивилизованному человеку гуманизм, а противоположные качества. Наконец злорадство сменилось отвращением. Я отошел от трупа, прилег возле огня и мысленно вернулся к событиям нескольких прошлых недель.

О, что это были за недели! Предсказание Кертиса сбылось в полной мере. Собственно, могло ли быть иначе? (Эх, мне бы раньше понять это, но увы!) Теперь слишком поздно для… для всего: женщин, главных стимулов развития, больше нет. Мир сперва не был склонен это понять, но теперь он умирал, бился в последних судорогах — и горькая правда сделалась слишком очевидна.

Сначала человечество попыталось утопить все свои проблемы в выпивке; ну, это я уже описывал. Но спиртное ничему не помогало, и дела шли все хуже и хуже. Рабочие, не в силах смириться, что после краткого процветания так быстро воца-

рилась всеобщая скудность, восстали. Им больше не приходилось думать о том, чтобы кормить свои семьи, так что мужчины стали предъявлять свои требования во все более оскорбительной и буйной форме — а требовали они, разумеется, чтобы им как можно больше платили за как можно меньшее количество рабочих часов. Их работодатели-капиталисты, наконец осознав, что у них тоже не осталось никаких семей, ради которых стоило бы трудиться, проявили полное безразличие к требованиям рабочих и ответили на забастовки локаутами. Ни жизнь, ни собственность больше не считались священными, и на смену господству законов пришло царство грабежа и резни.

Словно чтобы усилить ужас происходящего, изо всех трущоб и подворотен выползли худшие представители преступных классов — и вцепились в горло обществу, которое прежде так часто и так долго осаживало их железной рукой. Даже самые страшные преступники, до последнего момента удерживавшиеся в местах заключения, сумели вырваться на волю или были освобождены тюремной охраной, потерявшей ко всему интерес. Полиция оказалась полностью парализована и вскоре прекратила свое суще-

ствование. Пытавшаяся было занять ее место регулярная армия (национальная гвардия давно уже расформировалась) повторила судьбу своих предшественников. Люди, стремительно деградируя до уровня первобытных дикарей, пили и сражались — и никто не уступал свирепостью своему соседу, случайному встречному или бывшему другу. Вскоре все города, недавно бывшие великими центрами торговли и не только ее, потеряли всякую власть над событиями. Сельская местность больше не посылала туда продукты.

Когда голод стал несомненной реальностью, из столиц и прочих населенных пунктов началось дикое паническое бегство. Аграрная округа, едва успев ощутить себя хозяйкой положения, была наводнена огромными безумными ордами голодающих — и ограблена, разорена подчистую. Все производство прекратилось, теперь бал правила полная анархия.

В этих условиях любая структура управления сделалась слишком сложной, и род *Homo* вернулся к племенной системе, где, в отличие от первобытных эпох, не было, конечно, места никакому подобию семейных связей. Мужчин теперь заботило лишь то, какое количество смелых соратников включает их дикое племя. При равном

числе верх брала бóльшая физическая сила или бóльшая жестокость — в ней одной теперь мог проявляться интеллект.

Эти людские стаи расхищали и уничтожали мир вокруг себя. Искусство, наука, культура, религия впали в полное ничтожество. Короче говоря, власти ада на земле отныне не было предела.

Меня, как и многих других, гребень этого человеческого цунами вознес в неведомые выси и швырнул далеко за пределы городской черты. Там я с тех пор влачил жалкое существование, исполненное ежедневного риска. Страдания, которые я переносил сам и приносил другим, были ужасны. Я чувствовал, что стремительно опускаюсь в скотское состояние, но вокруг не было ничего, способного это падение остановить или хотя бы замедлить.

Итак, когда я в ночи осыпал ударами труп старого еврея, я не демонстрировал что-то худшее, чем то, что постоянно проделывал вот уже много дней. Вряд ли имелись существенные отличия между мной и голодным львом в африканской дикой саванне. После того, как из мира ушли женщины, полное озверение сделалось неизбежным…

Смерть в самых ужасных своих формах ста-

ла моим постоянным спутником. И сколь же странные видения порой навевала она! Страдая и погибая, мужчины видели угасающим взором миражи — но им мерещились не пиршества, а женщины. Помню одну свирепую тварь, ничем не лучше меня, с которой я бился за право владеть половиной котелка зерновой каши и которую я был вынужден убить. Нанеся этому существу смертельный удар, я торопливо склонился над котелком, потому что вокруг могли рыскать другие твари, готовые отнять эту жалкую добычу, — и тут сраженный мной человек (все-таки человек!) из последних сил поднялся на ноги, громко выкрикивая женское имя: должно быть, имя своей жены. Уже обливаясь смертным потом, нечленораздельно хрипя, он был убежден, что видит ее перед собой. Попытался обнять мерещащийся ему призрак — но тот, должно быть, отстранился. Мужчина, шатаясь, сделал несколько шагов: видение придало ему, умирающему, последние силы. Он устремился к нему, проламываясь через колючие заросли сухого кустарника, еще раз развел руки для объятия — и рухнул уже мертвым…

В последнее время и мне доводилось видеть похожую галлюцинацию, причем внезапно и беспричинно. Это случалось со мной при разных

обстоятельствах, но всегда совершенно неожиданно. Вдруг мой взгляд, мое сознание, мою измученную душу пронизывало невыразимое спокойствие и нежность: я ощущал где-то рядом присутствие женщины.

В битве при Норфолке, где десять тысяч отчаянных голодающих мужчин захватили последний склад, защищаемый тогда еще не окончательно рассеявшимися правительственными силами, это чуть не привело меня к гибели. Победа уже фактически была за нами, когда осажденные, ощутив безвыходность своего положения, вдруг, чтобы отвлечь нас от завершающей атаки, начали выбрасывать наружу продовольствие. В дикой стычке я сумел захватить большой окорок, с которым тут же помчался к ближайшим зарослям. Здесь меня настиг грабитель, пытавшийся оспорить мое право на добычу. Мы вступили в безжалостную схватку — но я победил и готовился нанести врагу смертельный удар, когда предо мной вдруг возникло это прекрасное видение. Ослепленный, изумленный, я остановил уже занесенную руку…

Когда я, серьезно пострадавший, пришел в сознание, то обнаружил, что мой противник куда-то делся. Вместе с ним исчез и окорок.

Это был первый случай галлюцинации. С тех пор они сделались регулярными.

О Лаура! Где же ты теперь? О Лаура, Лаура, мое потерянное счастье, моя звезда — зачем же ты являешься мне, если каждый раз уходишь снова?

Как странно, что ты решила посещать меня, — меня, который прежде был «перспективным молодым бакалавром», «женоненавистником»! Ведь прежде, чем исчезнуть из этого мира, ты значила для меня не больше, чем любой из моих приятелей или собутыльников. Полагаю, мы нравились друг другу — но ведь это была чисто платоническая привязанность… Во всяком случае, тогда я думал так. И лишь теперь, слишком поздно, я понимаю, что был влюблен в прекрасную Лауру всем сердцем — и когда она ушла, в душе осталась лишь пустота, наполненная болью!

Возьми меня к себе, забери меня! Освободи меня от этих уз плоти: без тебя они все равно обречены на распад, ведь лишь с тобой можно найти мир и радость! Убей меня!

Что это? Мужские голоса; осторожные шаги. Группа голодных хищников, которые не пощадят ни мою добычу, ни меня. Я должен спасаться от них.

Схватив ляжку убитой лошади (самое большое сокровище, которым мне когда-либо доводилось владеть!), я бросился в кусты и, сокрытый ночной тьмой, побежал прочь. За спиной раздались вопли безумной радости: это двуногие хищники обнаружили остатки добычи…

Боже мой, какое лютое одиночество! Я снова в городе, откуда недавно бежал, — но столичная жизнь, прежде бившая ключом, замерла: предо мной расстилалась каменистая пустыня! Дело было не просто в отсутствии людей: город и сам словно бы превратился в тень себя прежнего. Многие здания стали жертвами пожаров: от них не осталось ничего, кроме каменных труб, которые высились над обугленными руинами, словно материализованное воплощение божьих перстов — и божьего гнева. Улицы были загромождены грузовыми фургонами, крытыми экипажами, телегами, брошенной впопыхах утварью и багажом: пугающие признаки всеобщего панического бегства. И повсюду — разлагающиеся трупы… Смрад их отравлял воздух так, что идти вперед сделалось почти невозможным.

Тем не менее я все больше углублялся в город, хотя мои физические и душевные силы были уже на исходе. Я настолько ослабел, что должен был

поминутно останавливаться для передышки. Рассудок мой тоже пострадал настолько, что все окружающее казалось реальным только наполовину. Время от времени я бормотал себе под нос или, наоборот, разговаривал в полный голос — и это был голос безумца; но иногда мне удавалось обрести контроль над своими мыслями и действиями.

Как и почему я вообще оказался в городе, не могу сказать. Блуждания нескольких прошлых дней оставили о себе смутные, запутанные и наполненные отвратительным кошмаром воспоминания…

Наконец я добрался до своего дома — и с изумлением обнаружил, что он не тронут огнем и вообще выглядит почти как прежде. А перед домом…

Это была большая собака — первое живое существо, встретившееся мне в городе. Мой желудок судорожно затрепетал; инстинкт первобытного охотника подсказывал — вот он, твой ужин!

Задача выглядела более легкой, чем может показаться, поскольку было очевидно: пес только что вышел из схватки с кем-то еще, тоже желавшим им поужинать. Причем вышел, возможно, победителем, но не невредимым: при виде меня

он вздыбил шерсть, оскалил зубы, однако это не мешало мне видеть — задние лапы пса волочатся по мостовой, значит, его позвоночник поврежден.

Я выхватил из поясного чехла свой нож и бросился в атаку. То есть на самом деле хотел броситься: ноги едва держали меня, в глазах все кружилось. Едва удерживаясь от голодного обморока, я пошатнулся, схватился за столб… и собака, искалеченная, тоже едва способная передвигаться, ускользнула от меня. Я попытался метнуться ей наперерез — но тщетно: не сумев остановить раненое животное, растянулся во весь рост.

Со стоном и слезами разочарования на глазах я наблюдал, как мой ужин исчезает за углом. Потом, с трудом поднявшись, я вошел в дом и с еще большим трудом вскарабкался по лестнице к моей комнате. Рухнул в кресло возле окна — и провалился в сон: беспробудный сон, освещенный лишь блаженным приходом Лауры…

Тишина…

Что это?!

Никакой тишины: я, только что державший в объятиях Лауру, моего сияющего ангела, был грубо выброшен обратно в реальность, полную яростного шума за окном.

Воробьи!

Но это же невозможно!

Я дико огляделся по сторонам. Ночь сменилась утром — и на карнизе моего окна, как обычно, кипело миниатюрное, но яростное сражение: пернатые рыцари бились за право обладания своими щебечущими дамами. После короткого замешательства я понял: случившаяся катастрофа — лишь сон, на самом деле все вокруг такое, как прежде!

Я не колебался долее секунды: решение пришло само собой. Вскоре, прихватив на бегу шляпу, трость и перчатки, я уже несся вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.

В прихожей мне едва удалось не столкнуться с домовладелицей. До крайности изумленная таким нарушением устоявшихся правил (прежде она никогда не видела меня бегущим!), пожилая дама и сама их нарушила, впервые в жизни спросив, все ли со мной в порядке и куда я так тороплюсь.

— Тороплюсь?! — в восторге воскликнул я. — Не просто тороплюсь — лечу, как на крыльях! Спешу сделать предложение Лауре, моей возлюбленной!

В приступе все еще нерастраченного восторга

я заключил удивленную старушку в объятия, от души поцеловал ее — и выскочил на улицу.

Перевод Григория Панченко

Герберт Уэллс. Бродячая смерть

Уэллс — тоже не из тех, кто нуждается в представлении. А вот рассказ, включенный в этот сборник, нуждается. Это самостоятельная глава из романа-предсказания «Облик грядущего», увидевшего свет в 1933 году и никогда не переводившегося на русский язык. Формально он представляет собой стенографические заметки профессора Филиппа Рэйвена, которому во снах вдруг привиделось, что он наблюдает будущее, точнее, читает энциклопедию будущего, а еще точнее — «просматривает» ее, потому что перед ним не книга, а… (Тут профессор затруднился дать точную формулировку: уж не с экрана ли он эту энциклопедию читал?) Каждая глава — конспект очередного сна. Перед нами — сон десятый, охватывающий события 1950–1957 годов.

Повествование простирается до конца 2105 года. Для Филиппа Рэйвена (то есть, конечно, для Герберта Уэллса) все, что имело место далее начала 1930-х, было

возможным будущим, но для нас те события давно уже переместились в область альтернативной истории. Как это бывает со всеми, кто пытается дать научный прогноз грядущего времени, Уэллс предложил причудливую смесь предсказаний неожиданно точных и абсолютно неверных. Так, он абсолютно верно угадал время и место начала Второй мировой войны, безошибочно назвал ее инициатора, гитлеровскую Германию (а ведь к моменту начала работы над книгой Гитлер едва пришел к власти — и, казалось бы, ничто еще не предвещало грядущего могущества нацизма!), даже угадал, что в ходе ее будет применено оружие массового поражения (правда, еще привычное ему, газовое) — но… Но контуры, итоги и сроки той войны оказались совершенно не такими, как в нашей реальности. Достаточно сказать, что она, по Уэллсу, затянулась на десять лет — и «бактериологический этап», непонятно кем инициированный, начался как раз после того, как завершились активные боевые действия на фронтах газовой войны.

...Скудость сведений и нехватка подробных описаний, из-за которых получилась столь бесцветной история последних войн, еще сильнее сказались на свидетельствах об эпидемии, сделавшей невозможным возобновление военных действий. Дневники, письма и пространные изложения вышли из моды; у людей были дела поважнее, да и излишком энергии для мыслительных усилий они не располагали. Выглядело все это так, словно микроорганизмы вырвали страницу из книги министерства иностранных дел и сочли смуту, поразившую человечество, удобным моментом, чтобы восстановить давно погибшую империю микробов.

Нападение началось в лучшем стиле — внезапно, без объявления войны. В авангарде выступили различные инфлюэнцы, изнурительные лихорадки, весьма заразные и не поддающиеся контролю в условиях военного времени. Население воюющих государств было истощено вследствие скудного и нерегулярного питания. Это, а также коллапс санитарных служб позволили инфекциям разгуляться вовсю; они убили несколько миллионов и понизили и без того уже низкую жизнеспособность многочисленных популяций. Общее понижение жизнеспособности

стало гораздо более существенным фактором, чем смертность как таковая. Холера и бубонная чума пришли следом, а затем, пять с лишним лет спустя, когда казалось, что худшее уже позади, в решающую атаку пошла пятнистая лихорадка.

Это странное заболевание, до тех пор известное лишь у содержащихся в неволе бабуинов, по-видимому, каким-то образом адаптировалось к родственному человеческому организму; возможно, имелся некий посредник, в котором бациллы скапливались, готовясь атаковать человечество. Возможно также, что предыдущие эпидемии повлияли на защитные компоненты человеческой крови. Эти вопросы все еще покрыты мраком неизвестности, потому что тогда у медиков и биологов не было свободного времени для записи своих наблюдений; даже если они успевали делать эти наблюдения, публикация научных статей повсюду прекратилась.

Первые случаи заболевания были зафиксированы в окрестностях Лондонского зоологического сада, затем оно начало с невероятной быстротой распространяться дальше. Болезнь обесцвечивала лицо и кожу, вызывала сильный жар, сыпь и сильнейшее умственное возбуждение, вызывающее непреодолимое желание двигаться. Затем

силы больного внезапно истощались, человек падал и умирал. Заражение происходило не только через воду, но также передавалось мельчайшими чешуйками, которые страдалец счесывал. Вода, ветер и обезумевшие скитальцы разносили заразу повсюду. Около половины рода человеческого оказалось восприимчиво к ней, и, насколько нам известно, большинство из восприимчивых заболело, причем все, кто заболел, умерли.

Таким образом, бедствия мира достигли кульминации к маю 1955 года; последовали восемнадцать месяцев ужаса, пока наконец в ноябре 1956 года природа не оказала уцелевшему человечеству услугу, послав жестокую, зато обеззараживающую зиму. Эффективного лекарства против этого недуга, равно как и действенного симптоматического лечения, так и не нашли. Лихорадка пронеслась по миру и исчезла так же загадочно, как и появилась. Инфекционисты до сих пор не справились с этой головоломкой. Даже выжившие бабуины более не заболевают, поэтому исследователи не могут ни вырастить культуру микроба, ни провести эксперименты. У них нет никаких материалов. Мор пришел, разрушил все, что смог, и, наконец, как будто покончил с собой посредством неизвестного

антитела, выработанного им самим. Возможен также вариант (так полагает Макензен), что подлинным виновником несчастья была вовсе не пятнистая лихорадка, а ослабленная сопротивляемость этой инфекции по всему миру. Этот факт прошел незамеченным, по его мнению, из-за военных действий в сороковые годы. Эпидемия стала не причиной, а плодом, созревшим на уже подготовленной почве.

История общества схожа с памятью личности в том, что она старается избегать упоминаний о тяжелых событиях. Нет ничего более нелепого, чем утверждение, что счастлива та страна, у которой нет истории. Напротив, только от периодов самого полного спокойствия и процветания остается более-менее достаточное количество материалов для исторической реконструкции. Мы знаем о приятном времяпровождении аристократии Египта во все века процветания; мы знаем о величии и победах Ассирии; картины придворной жизни Аджанты и Центральной Азии дошли до нас; но времена военных бедствий не оставляют ничего, кроме груды пепла, а годы морового поветрия лишь прерывают повествование летописцев. Хороший рассказ о чуме в Лондоне (1665)

был написан Дефо (1659–1731)[13], однако невнимательному читателю следует напомнить, что этот рассказ составлен и сочинен спустя много лет после события изобретательным писателем, который даже не был очевидцем. Известная картина Рафаэля, посвященная чуме в Риме, — тоже лишь воспоминание. Величайшие эпидемии по большей части уходили, забрав свою дань смертей, и не позволяли снять с себя портрет. Уделом истории остаются последствия, экономические и социальные. В этих вопросах Клио вновь становится плодовитой. Для нее важно то, что движется вперед, а что умерло, то умерло.

Эпоха благосостояния — век девятнадцатый и начало двадцатого — отображена в бесчисленных текстах о людях, которые лишь понаслышке знали о жестоких испытаниях человечества. У нас есть романы, письма, дневники, мемуары, картины, фотографии и прочее, исчисляемые миллионами. Но от 1955–1956 годов, без сомнения, самых ужасных за всю историю рода чело-

[13] Примечания: 13

Даниэль Дефо (1660–1731), автор «Робинзона Крузо», в книге «Жизнь и пиратские приключения славного капитана Сингльтона» описывает в вымышленных подробностях путешествие героя через всю Южную Африку XVIII века, внутренние районы которой были практически неизвестны европейцам, а в романе «Дневник чумного года» дает не отличающееся достоверностью описание Великой Лондонской чумы 1665 г., когда самому автору было 5 лет.

веческого, не сохранилось почти никаких писем, зарисовок, ни книги, ни газеты, чтобы пролить свет на те годы. А ведь они отстоят от нас всего на каких-то сто тридцать лет. Записи, сделанные в то время, были уничтожены из-за опасности заражения. Затем новому поколению предстояло дождаться рождения своих Дефо и Крейнов[14], чтобы получить воображаемую картину.

Описания, данные Кэйблом, Нат Дассом, Бодеско и Мартини, представляются нам вполне достоверными, и к ним мы отсылаем читателя. Они свидетельствуют, что не только деревни, но и города, большие и маленькие, превратились в пустыни, усеянные мертвыми телами мужчин и женщин; люди лежали непогребенными, их изгрызли стаи голодных псов и одинокие кошки; в Индии — тигры, в Африке — львы появились на опустевших улицах, а в Бразилии население целых районов стало пищей для диких свиней, расплодившихся во множестве. Повсюду кишели крысы и с необычной для них дерзостью угрожали даже тем, кто был невосприимчив к болезни.

---

[14] Примечания: 14

Крейн Стивен (1871–1900) — американский писатель-реалист, друг Герберта Уэллса. В 1895 г. опубликовал книгу «Алый знак доблести», посвященную событиям гражданской войны в США, хотя сам не имел никакого военного опыта.

Одну ужасную подробность эпидемии не преминули упомянуть все свидетельства: это неодолимая тяга заболевших к блужданию. Ничто не могло заставить их оставаться в постели или на больничной койке; никто не мог воспрепятствовать их стремлению войти в города или в дома, где еще не было заболевших. Тысячи этих обреченных скитальцев были застрелены перепуганными согражданами, к которым они приближались. Эта жуткая вынужденная жестокость ужасает нас сегодня так же сильно, как другой мрачный акт самозащиты: в году 1912, при крушении огромного парохода “Титаник”, столкнувшегося с айсбергом, пассажиры, успевшие спуститься в шлюпки, били по пальцам утопающих мужчин и женщин, которые, цепляясь за борта, могли опрокинуть их. Под воздействием тяжелейших обстоятельств, в условиях отчаянного стресса люди на время перестают подчиняться рефлексам социального животного. Та часть населения, у которой проявился иммунитет, — а пятнистая лихорадка оставляла людям лишь одну альтернативу: иммунитет или смерть, — не сдерживала отчаяния и ненависти к нечистым страдальцам, окружавшим их. Только немногие — медики, военные, священники

или полицейские — пытались, по-видимому, противостоять катастрофе и поддерживать хоть какой-то порядок. Зато было много мародеров. В целом, насколько можно судить по свидетельствам, женщины вели себя лучше мужчин, но те, которые присоединились к мародерам, были ужасны.

Так или иначе, кошмар явился и миновал.

В январе 1957 года люди бродили по пустынным городам, входили в заброшенные дома, возвращались к покинутым очагам, пробирались по переулкам, заваленным изгрызенными скелетами в модной одежде, и никак не могли осознать, что гнев Природы утих и они будут жить дальше.

Пятнистая лихорадка положила конец газовой войне. Население земного шара уменьшилось наполовину.

Перевод Алины Немировой
Под редакцией Григория Панченко

Роберт Говард. Прикосновение смерти

Знаменитый создатель «Конана-варвара» хорошо известен современным читателям. Он был очень сильным и смелым человеком, поэтому нет ничего удивительного, что его герои в основном — именно *герои*, многими своими чертами напоминающие Конана.

Однако ошибочным будет утверждение, будто Говард не знал страха. Наоборот: именно потому он и умел с ним бороться, что знал его по-настоящему хорошо. Не удивительно, что в творчестве Говарда «власть страха» занимает важное место. И среди его героев порой встречаются люди слабые, далеко не кононовского склада, оказывающиеся в ситуациях, когда подкрадывающийся из тьмы ужас сильнее их.

Когда над миром тьма — спаси, Господь

От мертвеца, от алчных губ Иуды,

Чей поцелуй настигнуть может всюду:
Спаси, о Боже, разум наш и плоть…

Старый Адам Фаррел лежал мертвым в доме, где он прожил в одиночестве не менее двадцати лет. Этот скупой молчаливый затворник всю свою жизнь не имел друзей, и только два человека теперь провожали его в последний путь.

Доктор Стейн встал и вгляделся через окно в сумерки.

— Вы полагаете, что можете провести в этом доме ночь? — спросил он своего собеседника.

Собеседник, которого звали Фалред, ответил:

— Да, разумеется. Раз уж это мой собственный выбор, то, думаю, справлюсь.

— Довольно бессмысленный и глупый обычай — сидеть с мертвым, — отметил доктор, готовясь выйти из дома, — но, я полагаю, придется его соблюсти, раз уж почтение к старомодным обычаям уравнено с правилами приличия. Может быть, мне удастся найти кого-нибудь, кто придет сюда и проведет здесь ночь с вами.

Фалред пожал плечами:

— Сомневаюсь. Фаррела терпеть не могли, многие не были с ним толком знакомы. Я тоже был плохо с ним знаком, но не имею ничего против

того, чтобы провести ночь с мертвецом.

Доктор Стейн в тот момент снимал резиновые перчатки, и Фалред наблюдал за его действиями с интересом, едва ли не увлеченно. Против воли он ощутил легкую дрожь, вспомнив, как прикасаются к телу такие перчатки — скользкие, прохладные, липкие, точно прикосновение смерти.

— Этой ночью вы можете оказаться в одиночестве, если мне не удастся никого найти, — сказал доктор, открывая дверь. — Вы ведь не суеверны, не так ли?

Фалред рассмеялся:

— Да вряд ли. Честно говоря, судя по тому, что мне приходилось слышать о нраве Фаррела, я с большей охотой буду глядеть на его труп, чем явился бы к нему в гости при жизни.

Дверь закрылась, и Фалред начал свое бдение. Он занял единственный в комнате стул, бросил быстрый взгляд на бесформенное, покрытое простыней нечто, лежавшее на кровати в другом углу комнаты, и принялся читать журнал при тусклом свете керосиновой лампы, стоящей на грубом столе.

Снаружи вскоре воцарилась тьма, и тогда Фалред отложил в сторону свое чтение, давая

глазам отдохнуть. Он снова посмотрел на бесформенный предмет, при жизни бывший Адамом Фаррелом, гадая, что за причуда человеческой природы сделала мертвецов не слишком отвратительными на вид, но при этом все же объектом страха для людей. «Бездумное невежество — видеть в мертвых только напоминание о собственной грядущей смерти», — лениво решил он и погрузился в праздные мысли. Зачем, собственно, жил этот угрюмый и злобный старик? Ни родных, ни даже приятелей у него не было, за пределами дома, где протекла вся его жизнь, Фаррела тоже редко кто замечал… Все больше и больше ходило слухов о накопленном старым скрягой богатстве, но Фалред так мало интересовался этим, что ему даже не приходилось преодолевать искушение обыскать дом и найти, возможно, спрятанное в нем сокровище.

Пожав плечами, он вернулся к чтению. Задача, предстоящая ему, — провести с мертвецом ночь — оказалась скучнее, чем он предполагал. Через какое-то время он осознал, что каждый раз, поднимая взгляд от страницы, невольно скользил взглядом по смертному ложу с его жутким обитателем — и столь же невольно вздрагивал: как будто он на мгновение забыл о присутствии

мертвеца и вдруг ему напомнили об этом факте. Дрожь была легкой и почти бессознательной, но Фалред вдруг разозлился на себя. Он наконец понял, насколько полная, мертвящая тишина окутывает дом — тишина, вероятно, порождаемая самой ночью, так как ни звука не доносилось через окно. Адам Фаррел сам выбрал место, где поселиться, — и оно оказалось настолько удаленным от всех соседей, что сейчас в пределах слышимости не было никакого человеческого жилья, со стороны которого всегда долетает хоть какой-то шум.

Человек встряхнулся, словно бы избавляя свой ум от мрачных мыслей, и продолжил читать дальше. Внезапный порыв ветра проник в окно, свет лампы замерцал и вдруг погас. Фалред, тихонько ругаясь, стал ощупью искать во тьме спичечный коробок. Второпях чиркнул спичкой, сперва лишь обжег пальцы о ламповое стекло, но потом фитиль наконец занялся.

Взглянув на кровать, Фалред испытал чудовищное потрясение. Угловатое серое лицо Адама Фаррела слепо взирало на него, мертвые глаза, широко открытые и пустые, темнели провалами. Хотя Фалред инстинктивно вздрогнул, он сразу же подыскал разумное объяснение тому, что

произошло: конечно же, это всего лишь порыв ветра поднял и отбросил в сторону простыню, лежавшую поверх тела.

Но все-таки в этом было нечто ужасное, навевающее жуткие мысли, — словно бы сама мертвая рука отбросила простыню в полном мраке и вот сейчас труп восстанет…

Фалред не мог пожаловаться на бедность воображения. Однако в ответ на эти мысли он лишь пожал плечами и двинулся через комнату, чтобы вернуть простыню на место. Казалось, будто мертвые глаза глядели на него со злобой, которая намного превзошла ту, что была присуща Фаррелу при жизни. «Работа пылкой фантазии», — сказал себе Фалред и накрыл простыней серое лицо, мысленно сжавшись, когда его рука случайно коснулась холодной плоти, гладкой и влажной, точно прикосновение смерти. Он содрогнулся, испытав то естественное отвращение к мертвым, что присуще живому человеку, и вернулся к своему чтению.

Наконец, ощутив сонливость, Фалред прилег на диван, который по какой-то странной прихоти бывшего владельца был частью скромной обстановки комнаты, и приготовился спать. Свет он решил не гасить, сказав себе, что это будет

соответствовать обычаю оставлять огни рядом с мертвыми, и при этом не желая признаваться себе даже в мыслях, что просто не хочет находиться рядом с трупом в полной темноте. Он задремывал, время от времени просыпался и глядел на кровать. В доме царила тишина, и за окнами было очень темно.

Приближалась полночь с ее почти сверхъестественным влиянием на человеческий разум. Фалред опять бросил взгляд на кровать, где лежало тело, и обнаружил, что вид этого страшного нечто, накрытого простыней, вызывает в нем отторжение. В мыслях возникло и все возрастало фантастическое представление, будто безжизненное тело под простыней стало чем-то странным, чудовищным, отвратительной, но не лишенной сознания тварью, которая глядит на него глазами, просвечивающими через ткань. Эту мысль — разумеется, просто фантазию — он объяснил себе легендами о вампирах, бродячих призраках и прочих жутких существах, с которыми живые ассоциировали мертвецов бесчисленные века с тех самых пор, когда первобытный человек впервые признал в смерти нечто ужасающее и чуждое жизни. Человек боялся смерти, думал Фалред, и этот страх отчасти стал связываться с

мертвыми, так что их тоже начали бояться. Сам вид мертвых порождал страшные мысли, будил опасения, хранящиеся в наследственной памяти, прячущиеся в тайных уголках мозга.

Во всяком случае, это молчаливое, скрывающееся под простыней нечто действовало Фалреду на нервы. Он подумал было, не открыть ли лицо покойного, считая, что более близкий контакт с мертвым избавит его от страха и прочих безумных измышлений. В конце концов, нет ничего ужасного в человеческих чертах, пусть даже столь неподвижных!

Но даже мысль о мертвых глазах, которые будут смотреть на него при свете лампы, оказалась невыносимой; в конце концов он погасил лампу и лег. Страх подкрадывался к нему тихо, словно хищник на мягких лапах: до последнего мгновения не поймешь, насколько тот опасен.

Тем не менее, когда свет потух и темнота проглотила очертания трупа, все вокруг, казалось, обрело свои истинные свойства и размеры, и Фалред почти мгновенно уснул, сохраняя на лице слабую усмешку, вызванную собственной глупостью.

Вдруг он проснулся. Долго ли он спал, ему было неясно. Он сел, ощущая, как отчаянно участился

его пульс и как холодный пот покрывает его лоб. Сразу же вспомнил, где находится, вспомнил и другого «обитателя» комнаты. Но что же разбудило его? Сон — да, теперь он припомнил все его подробности! — отвратительный сон, в котором мертвец встал с постели и начал медленно красться через комнату, сверкая огненными глазами, а на его серых губах застыла ужасная улыбка. Сам Фалред, помнится, лежал неподвижно, не в силах пошевелиться; затем, когда труп вытянул искривленную отвратительную руку, проснулся — и…

Он прилагал усилия, чтобы преодолеть мрак, но в комнате царила темнота, и ни единого лучика света не проникало из окна. Трясущейся рукой он коснулся лампы, затем отпрянул от нее, словно от затаившейся змеи. Было очень мучительно сидеть здесь во мраке вместе с дьявольским мертвецом, однако Фалред не осмеливался зажечь лампу, опасаясь, что его разум погаснет, как свеча, из-за того, что он увидит. Ужас, суровый и неразумный, полностью овладел его душой; он больше не сомневался в тех инстинктивных страхах, что возникли в нем. Все когда-либо слышанные им легенды вернулись к Фалреду, и он уверовал в них. Смерть была отвратительным,

разрушающим мозг ужасом, с потрясающей злобой побуждавшим действовать безжизненные трупы. Адам Фаррел при жизни был попросту скупым, но относительно безвредным человеком; теперь же это ужас, чудовище, дьявол, прячущийся в тени страха, готовый наброситься на человечество с когтями, глубоко пропитанными смертью и безумием.

Фалред сидел неподвижно, чувствуя, как холодеет, леденеет его кровь, и вел свою молчаливую битву. Неясные проблески разума слегка ослабили его испуг, но слабый, почти неслышный звук вновь заставил леденеть его кровь. Он не догадался, что это лишь шепот ночного ветра, проникающего через окно. Его безумная фантазия воспринимала это только как звук смерти и ужаса. Он вскочил с дивана, но затем замер на месте. Возникла мысль бежать, но он был слишком ошеломлен, чтобы ей повиноваться. Даже чувство направления исчезло. Страх настолько сковал его разум, что Фалред вообще потерял способность действовать сознательно. Тьма волнами распространилась вокруг него, чернота и пустота вошли в мозг, сковав движения, словно прочные цепи, которыми удерживают безумцев.

Ужас все рос, порождая уверенность, будто

мертвец подкрадывается сзади. Фалред теперь даже помыслить не мог о том, чтобы зажечь лампу. Страх заполнил все его существо; не осталось места ни для чего другого.

Он медленно отступал в темноте, бессознательно нащупывая путь. С огромным усилием, на краткий миг и лишь частично, он стряхнул пелену ужаса и, весь в холодном поту, попытался как можно лучше сориентироваться. Ничего не было видно, но Фалред знал, что кровать стоит поперек комнаты, перед ним. Именно там, на этом скорбном ложе, согласно всем законам природы, и должен лежать мертвец; если же тот находился, как ощущал Фалред, не впереди, а позади него, то все эти старые легенды оказались правдой: смерть оживляет мертвые тела, и мертвые странствуют тенями, чтобы исполнить свою ужасную и злую волю в отношении сынов человеческих. Тогда — великий Боже! — что такое человек, если не плачущий младенец, потерявшийся ночью и осаждаемый ужасными явлениями из черных пропастей и внушающих страх неизвестных пустот пространства и времени?

Эти мысли не были плодом глубоких рассуждений; они сами собой возникли в опутанном кошмаром мозгу. Фалред продолжал медленно,

ощупью двигаться назад, изо всех сил храня надежду, что удаляется от мертвеца, а не приближается к нему.

И тут его руки, которыми он нащупывал дорогу во тьме, схватились за что-то гладкое, холодное и липкое одновременно, покрытое — в этом было трудно усомниться — вязким смертным потом. Дикий крик заметался между стен хижины, а вслед за этим прозвучал грохот падающего тела.

На следующее утро те, кто явился в дом смерти, обнаружили в нем два трупа. Тело Адама Фаррела, покрытое простыней, лежало недвижно на кровати, а в другом конце комнаты простерлось тело Фалреда — возле полки, где доктор Стейн по рассеянности оставил перчатки. Резиновые перчатки, скользкие и липкие при прикосновении к ним руки, шарящей в темноте, — руки того, кто спасался от собственного страха. Резиновые перчатки, на ощупь похожие на прикосновение смерти…

Перевод Марины Маковецкой

Винсент О’Салливан. Властелин веков ушедших

Винсент О’Салливан (1868–1940) — один из многих американских писателей и художников, связавших свою жизнь с Европой. Он был человек изысканный и хорошо образованный, дружил со звездами европейской творческой интеллигенции (вплоть до Оскара Уайльда и художника Обри Бердсли, великого мастера «запретной» тематики), разделял их интересы и увлечения. Как писатель считался одним из лидеров во входящем в моду жанре «ужасов и сверхъестественного». Как иллюстратор, в том числе своих собственных произведений, он тоже приобрел известность. Ему довелось жить в богатстве, потом познать бедность, многолетним упорным трудом вернуть себе пристойное благосостояние, а затем… вдруг внезапно и беспричинно исчезнуть из вида всех, кто его знал. «Появился», если так можно сказать, он лишь

через четыре года — но уже как мертвец, найденный в крохотной, по-нищенски обставленной комнатке на окраине Парижа.

Можно и вправду подумать, уж не постигла ли О'Салливана судьба его персонажей, на которых вдруг без предупреждения обрушивались зловещие бедствия…

Несколько лет назад я довольно близко сошелся с молодым человеком по имени Август Барбер. Он работал в Лондоне, на фабрике, производящей картонные коробки. Кем был его отец, я не знаю, а мать его, овдовев, поселилась, кажется, в Годалминге, но я не поручусь, что помню правильно. Довольно странно, что я позабыл, где она живет, потому что мой приятель частенько говорил о ней. Иногда казалось, что он ее очень любит, иногда — что почти ненавидит, но так или иначе ни один наш разговор не обходился без ее упоминания. Возможно, я как раз потому и позабыл, что он говорил о ней слишком часто и я перестал обращать на его слова внимание.

Август был коренастым молодым человеком со светлыми волосами и бледным прыщавым

лицом. В нем не было ничего особенного ни в материальном смысле, ни в духовном. Он испытывал слабость к ярким галстукам, носкам и украшениям и был довольно дурно воспитан, что проявлялось и в его речи, и в нем самом как личности. Он получил какое-то образование в коммерческой школе. Редко читал что-то, кроме газет. Единственной книгой, за чтением которой я его застал, был роман Стивенсона, который он охарактеризовал как «слишком бурный».

Где же в этом обычном молодом человеке скрывались таинственные глубины, сделавшие возможными те необыкновенные действия и события, о которых я собираюсь поведать?

Существует множество теорий, из которых сложно выбрать одну. Врачи и психологи, к которым я обращался, имели разные мнения, но сходились в одном: что я не могу предоставить достаточно информации о его предках. Я и правда практически ничего не знаю на этот счет.

И дело, конечно, было не в его необщительности. Как я уже упоминал, он много говорил о матери. Но он как-то не возбуждал ни у кого особого интереса вникать в его дела. Когда он приходил, с ним с радостью общались, он был довольно приятным парнем, но стоило ему уйти,

и о нем забывали до следующей встречи. Если он не зайдет в гости, вам в голову не придет навестить его. А что с ним происходило, когда мы его не видели, как он жил — это нас никогда не интересовало.

Ситуацию очень хорошо иллюстрирует один факт: через несколько лет после того, как мы познакомились, он тяжело заболел, но это настолько никого не впечатлило, что я даже не припомню, чем именно он болел, — и, кажется, никто не помнит. А болезнь и вправду была очень серьезной; когда я повстречал в Чипсайде одного из его коллег, тот сказал, что Барберу осталось жить несколько часов. Однако он поправился, по слухам, пробыв долгое время в летаргическом сне, из которого, казалось, не должен был выйти.

Когда он появился снова, я — и не только я, другие тоже — заметил вдруг, что его характер изменился. Он всегда был беззаботным человеком, смеялся по любому поводу; бывало, вы встречались, и он начинал хохотать даже раньше, чем появлялся к этому повод. Вреда от этого, конечно, не было никакого, и он заслужил репутацию человека с хорошим чувством юмора.

Но теперь у него появились странные перепады настроения, весьма неприятные, если им случа-

лось продлиться долго. Иногда в компании его охватывали приступы угрюмости; временами он даже был склонен к насилию. У него появилась привычка вечерами шататься по всяким странным местам, и не раз он появлялся на работе избитым. Трудно не думать, что он сам провоцировал эти драки. Одно было хорошо: приступы, приводившие к таким последствиям, могли быть сильными, но редко бывали долгими. Я часто думал, что если бы они еще и длились подольше, Барбер стал бы весьма опасным человеком. И это не только мое мнение, со мной соглашалось множество уважаемых людей, знавших его так же хорошо.

Помню один вечер; мы — трое или четверо — выходили из мюзик-холла, и Барбер принялся флиртовать с одной дамой, что не понравилось ее кавалеру — мне говорили, он был членом парламента. Он яростно развернулся к Барберу, подняв руку, — и вдруг стушевался и отступил назад. Он не мог испугаться более сильного противника — это был крепкий, статный мужчина, настоящий великан по сравнению с неприметным Барбером. Но Барбер смотрел на него, и было что-то не только в его лице; если можно так выразиться, его окружал некий флер — как бы

его описать? — что-то вроде абстрактного права, которое имелось лишь у него; неконтролируемой силы, словно бы он мог распоряжаться жизнью и смертью, и это пугало.

Все, кто был поблизости, ощутили это, я видел по их лицам. Всего мгновение, и чары рассеялись — как будто только что перед нами разыграли чудовищный спектакль, а потом убрали сцену вместе с актерами, и на их месте стоял Барбер, самый обыкновенный молодой человек, спокойный и респектабельный, и такой изумленный, что вряд ли заметил удар, который тот джентльмен успел ему нанести прежде, чем мы его оттащили.

Примерно тогда же он стал выказывать до крайности странный интерес к искусству — я имею в виду, для него странный, его никогда не интересовали подобные вещи. Мне говорили, что ничего особо примечательного в этом нет, потому что множество мужчин и женщин, переживших сильное потрясение или тяжелую болезнь, внезапно увлекаются рисованием, поэзией или музыкой. Но обычно это тянется год или два, а в некоторых случаях остается навсегда.

На Барбера накатывало мгновенно и редко дольше чем на полчаса. Посреди пылкой, вы-

сокопарной речи он вдруг умолкал, с минуту пребывал в растерянности и задумчивости, а потом, глядя с подозрением, не заметили ли мы что-нибудь странное, внезапно разражался смехом и пересказывал шутку, вычитанную в юмористической газете.

Насколько я могу судить, его монологи про искусство были бессвязными и бессмысленными. Иногда он говорил о живописи, но когда мы упоминали знаменитых художников, их имена оказывались ему незнакомы, и я не думаю, что он хоть раз в жизни бывал в художественной галерее. Но чаще он говорил о театре. Вернувшись из театра, он иногда принимался бранить артистов и с величайшей завистью рассказывать, как именно им следовало играть, заявляя, что сам он сыграл бы лучше. Конечно, бывало и по-другому — чаще всего бывало, — когда он выражал полнейшее равнодушие и к пьесе, и к артистам, или высказывал впечатления так же коротко, как все мы: «потрясающе» или «отвратительно». Критиковать он начинал, только если пьеса очень его взволновала, и в такие дни никто из нас не хотел с ним спорить, хотя мы почти никогда не были согласны с его мнением.

Иногда он принимался рассказывать о своих

путешествиях. Это была заведомая ложь, мы все хорошо знали, что он никогда не покидал родные пенаты, за исключением недельной поездки в Булонь-сюр-Мер. Однажды он поставил меня в весьма неловкое положение перед джентльменом, к которому я приехал в гости, по недомыслию взяв его с собой. Этот джентльмен долго жил в Риме, занимаясь делами английской трикотажной фабрики, и они с женой любезно показывали нам фотографии, открытки и другие подобные вещи, как вдруг, увидев очередной прекрасный вид, Барбер склонился над фотографией и принялся жадно всматриваться в нее.

— Я был там, — сказал он.

Все посмотрели на него с вежливым любопытством и некоторым удивлением. Не желая акцентировать на этом внимание, я попытался обратить все в шутку.

— Нет, — настаивал он, — я это видел.

— Ну конечно, — говорил я, — в фильмах.

Но он начал быстро говорить; джентльмен и его супруга были заинтересованы и несколько озадачены. Насколько я понял, место, которое он описывал, — кажется, это был Неаполь — весьма напоминало знакомые им места, но отличалось в тысяче мелочей. Как сказала потом миссис У.,

«это похоже на город, увиденный во сне: все вверх тормашками, и выдумка переплетается с реальностью».

После подобных приступов он обычно подолгу лежал больной и много спал. Следовательно, на работе он отсутствовал, и всякий раз, как я думал об этих его болезнях, у меня возникал вопрос, почему его до сих пор не уволили.

Одним туманным январским вечером, часов около восьми, мы с Барбером гуляли по Вест-Энду. Проходя мимо ярко освещенного концертного зала, у дверей которого толпились люди, я прочел на афише, что дают концерт классической музыки и должны выступить некоторые прославленные исполнители. Я и поныне не могу понять, почему вдруг решил туда попасть. Я люблю музыку, включая и ту, над которой нужно думать, но тем вечером я не был настроен слушать ее, и в любом случае Барбер находился в числе последних людей, кого я позвал бы с собой на концерт. Когда я предложил ему взять билеты, он горячо воспротивился.

— Избавьте меня от этого, — сказал он. — Я ведь ничего не сделал вам дурного, за что вы так хотите моей смерти? Я не имею никакого желания кататься на той безумной карусели, какую

представляют собой подобные действа.

Думаю, я настаивал исключительно из духа противоречия, потому что на деле мне было не так уж важно туда попасть, и уж тем более я не получил бы никакой выгоды, затащив туда Барбера против его воли. Наконец, видя, что я настроен решительно, он с величайшей неохотой согласился.

— Надеюсь, мне удастся часок поспать, — сказал он, когда мы занимали места, — лишь бы тромбон молчал.

Я упоминаю здесь эту реплику, чтобы показать: ничто в его поведении не намекало на то, что случилось потом.

Помнится, первым номером в программе стояла Седьмая симфония Бетховена. Она, как известно, довольно длинная, так что в конце третьей части я обернулся посмотреть, уснул ли Барбер. Но он сидел с широко распахнутыми глазами, лихорадочно сжимал и разжимал кулаки и что-то возбужденно бормотал. Всю четвертую часть он продолжал свой бессвязный монолог.

— Умолкните! — яростно прошептал я. — Держите себя в руках, или нас выгонят.

Я и правда был очень зол, да и люди вокруг оборачивались на нас и недовольно хмурились.

Не знаю, услышал ли он меня: не имел возможности спросить. Когда симфония закончилась и отзвучали аплодисменты, на сцене появился певец. Кто это был и что он пел, я сказать не могу, но если он еще жив, то наверняка помнит, что произошло дальше. У меня же все вылетело из головы из-за этих необычайных событий.

Как только оркестр сыграл прелюдию и певец вывел первые ноты, Барбер медленно поднялся с места.

— Этот человек — не артист, — громким, хорошо поставленным голосом заявил он. — Я буду петь сам.

— Сядьте, ради бога! Персонал… полиция…

Что-то подобное я пролепетал, предвидя, какой скандал сейчас разразится, и схватил его за руку. Но он безо всякого труда высвободился, даже не взглянув на меня, двинулся по проходу между креслами к сцене и поднялся на нее по боковым ступеням. К этому времени вся публика поняла, что происходит нечто необычное. Раздались крики: «Сядьте! Уберите его!» Когда Барбер дошел до ступеней, к нему поспешил билетер.

Затем произошло нечто странное.

Когда билетер, сердито крича, приблизился к нему, Барбер повернулся и посмотрел в его сто-

рону. Я видел этот взгляд; он не был давящим, он вообще не был сфокусирован на билетере; это был полный беззаботного равнодушия взгляд, который мог бы бросить через плечо человек, заслышавший лай собаки. Билетер запнулся, побледнел и смутился, как слуга, совершивший страшную ошибку; он почтительно поклонился и — в это сложно поверить, но он в самом деле упал на колени. Это все видели. Барбер поднялся на сцену, музыканты перестали играть, дирижер и певец расступились перед ним. При этом никто не сказал ни слова — тишина стояла оглушительная. Хоть я и был потрясен, но помню, что никто не был разгневан или даже озадачен; все просто затихли и собрались, как обычно происходит на торжественных мероприятиях. Казалось, никто, кроме меня, не понимает, как ненормально, скорее даже чудовищно вульгарный, непримечательный Барбер выглядит на сцене, как необычно то, что он сам решил участвовать в представлении, прервав чудесную музыку, которую пришел послушать и даже заплатил за это деньги.

По правде говоря, я и сам быстро впал в некоторую растерянность. На какое-то время — не могу сказать, как долго это продлилось, — я потерял связь с реальностью. Исчез лондонский кон-

цертный зал вместе со своей солидной, немного унылой публикой, а вместо него возникло нечто белое, залитое солнцем. Под безбрежным синим небом, в воздухе сухом и прозрачном, белый мрамор строений и белые одеяния людей казались изображенными на фоне огромной синей завесы с серебристым отливом. Было то самое время сразу после сумерек, когда воздух необычайно чист и прозрачен, и все собравшиеся, влекомые неким несомненным общественным долгом, почтительно ждали, чтобы узреть блистательного человека, обладающего неконтролируемой властью и исключительным благородством.

Барбер начал петь.

О чем он пел, я не имею понятия. Порой мне казалось, что это греческий, но я недостаточно хорошо знаю этот язык, а те слова, которые я вроде бы узнал, он произносил настолько не так, как меня учили, что я могу ошибаться.

Я был столь растерян и взволнован, что не могу даже сказать, хорошо ли он пел. Мне не пришло в голову оценивать его критически: он пел, а мы были обязаны слушать. Припоминая это сейчас, я могу сказать, что голос у него был тренированный. Аккомпанировали пению звуки арфы; наверное, арфисты оркестра решили немного

подыграть…

Как долго это продолжалось? Не имею представления. Но по моим ощущениям, всеобщее оцепенение продлилось недолго. Чары стали спадать, сила, которой он принудил нас слушать себя, — выдыхаться. Возникло ощущение, что с Барбера спал некий волшебный покров.

Я начал осознавать всю абсурдность ситуации. Подумать только: Барбер, безвестный лондонец, дерзнул прервать великое представление, да еще и заставить публику вместо именитых певцов слушать себя! Наверное, из-за того, что я один тут знал Барбера лично, я очнулся раньше остальных, но и они тоже стали слегка беспокоиться, и было ясно, что скоро они окончательно сбросят с себя наваждение. И еще я очень четко и с некоторым ужасом видел, что Барбер и сам понимает, что его сила уходит. Он сник, весь как-то сжался, в глазах его читались страдание и паника — словом, он выглядел как избитый человек, умоляющий о пощаде. Катастрофа должна была вот-вот разразиться…

С некоторым трудом я поднялся с места и выскользнул через ближайший выход. Тяжело мне было не из-за толпы или чего-то подобного, а из-за необъяснимого ощущения, что, уходя, пока

Барбер на сцене, я совершаю преступление и даже рискую жизнью.

На улице шел дождь.

Я быстро зашагал прочь, потому что хоть и находился все еще под некоторым влиянием того ощущения, которое описал, остатки здравого смысла подсказывали мне, что самое разумное — оказаться как можно дальше от концертного зала. Я слышал позади крики ярости и возмущения. Наверняка Барбера заберут в полицию. Мне не хотелось быть как-то связанным с этим делом.

Но вдруг я услышал, как за мной кто-то бежит. Я уже говорил, что улицы были мокрыми и потому пустыми. Ко мне подскочил Барбер и схватил за руку. Он задыхался от быстрого бега и весь дрожал.

— Глупец! — в ярости вскричал я, вырывая свою руку. — Какой же вы глупец! Как вы выбрались оттуда?

— Не знаю, — выдохнул он. — Меня отпустили… Ну, то есть, как только я понял, что стою там, перед всеми, я соскочил со сцены и бросился бежать. Что заставило меня это сделать? Боже правый, что заставило меня это сделать? Я слышу крик. Наверное, это гонятся за мной.

Я поймал кеб, втиснул Барбера внутрь и забрался сам. Кебмену я назвал выдуманный адрес в Кенсингтоне.

— Да, — зло сказал я, — что заставило вас это сделать?

Он скорчился в углу кеба, трясясь, как человек, только что переживший глубокое потрясение или пребывавший под влиянием наркотиков, действие которых прошло, оставив его в растерянности и беспомощности. Задыхаясь, он произнес:

— Да если б я знал! Господи, мне так страшно! Так страшно! Я, должно быть, сошел с ума. Что заставило меня это сделать? Если об этом узнают в конторе, я потеряю работу!

— Дорогой мой, — язвительно отозвался я, — наверняка узнают, как и многие другие. Нельзя так развлекаться безнаказанно.

Мне на глаза попались часы на углу Гайд-парка. Было почти без четверти десять.

— Ого, — сказал я, — вы, должно быть, пробыли на сцене больше двадцати минут. Только подумайте об этом!

— Не надо так, — жалобно попросил Барбер, — я ничего не мог поделать.

И добавил негромко:

— Это был Другой.

Я заплатил за кеб, и мы сели в автобус, проходивший как раз по той улице, где жил Барбер. Всю дорогу я осыпал его упреками. Мало ему было валять дурака самому, так понадобилось меня в это впутать! Я мог работу из-за него потерять!

Мы с ним дошли до двери его дома. Он выглядел совсем больным. У него так дрожала рука, что он никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Я открыл дверь сам.

— Зайдите, посидите со старым другом, — попросил он.

— Зачем?

— Я так боюсь…

— А мне кажется, — резко ответил я, — что вы или пьяны, или под наркотиками.

Я затащил его внутрь, закрыл дверь и зашагал по улице прочь от его дома. Я был очень зол и обеспокоен, и вместе с тем считал, что Барбер должен получить хороший урок, и пренебрежение к его бедам пойдет ему только на пользу. К тому же я постоянно напоминал себе, что Барбер на самом деле — полнейшее ничто, маленький ничтожный человечек, не важнее клочка бумаги, валяющегося на тротуаре. Ведь я до сих пор — пора признаться в этом! — находился настолько

под впечатлением произошедшего в концертном зале, что не мог не относиться к Барберу с некоей смесью уважения и, как бы абсурдно это ни звучало, страха.

Прошло около года, прежде чем мы встретились снова. Я слышал, что работу он все-таки потерял. Тамошний кассир, рассказавший мне об этом, говорил, что этот молодой человек всегда был способным работником, но в последний год начал вести себя очень странно, иногда бывал склочным и грубым. Он добавил, что Барбер то и дело спорил с руководством — «в те моменты, когда становился сам не свой», — и в конечном итоге это отказались терпеть.

— Но такое бывало только иногда, — объяснял кассир. — Он часто болел, порой приходил на работу совсем слабый, и это стало хорошим поводом от него избавиться. Он был странный, — значительно добавил мой знакомый.

Не имею представления, как жил Барбер, оставшись без работы. Наверное, мать немного ему помогала. Когда мы случайно столкнулись на улице, он выглядел больным и жалким, а его землистое лицо было больше обычного усеяно прыщами. Не знаю, заметил он меня или нет, но собирался пройти мимо; я остановил его и сказал,

что он выглядит очень нездоровым.

— А вы умеете подбодрить, — сказал он и раздраженно продолжил: — Как можно ждать от человека, чтобы он хорошо выглядел, если внутри него живет нечто сильнее его и заставляет делать глупейшие вещи? Я не могу его не выпускать. Я никогда не знаю, когда оно завладеет мной в следующий раз. Сейчас я ищу работу, но даже если мне посчастливится ее найти, рано или поздно я натворю что-нибудь ужасное и снова окажусь на улице. — Он провел рукой по лицу. — Лучше не думать об этом.

Мне стало его жаль — он выглядел таким измученным, — и я пригласил его в ресторан «Лайонс» пообедать со мной. Идя в ту сторону, мы попали в большую толпу, и я вспомнил, что в Мэншен-Хаус[15] как раз должен был с большой помпой приехать кто-то из королевской семьи. Я предложил Барберу взглянуть на процессию, и он согласился даже с большей готовностью, чем я ожидал.

Через некоторое время переговаривающаяся толпа, в которой передавали все слухи о предстоящем визите, и гвардейцы, занимавшие нужные

---

[15] Примечания: 15
Официальная резиденция лорд-мэра в Лондоне.

позиции, некоторым образом повлияли на него. Он начал говорить громко и надменно, а во взглядах, которые он бросал на толпу, появились величие и презрение. Он привлекал внимание и, как мне показалось, вызывал недовольство окружающих людей, и мне стало стыдно, что мы оказались в столь нелепом положении. Но мне все еще было жаль его. Бедолага явно страдал мегаломанией — лишь этим можно было объяснить его уверенность в собственной значимости, тогда как он был мелким служащим, к тому же безработным.

Мы стояли на углу Пиккадилли. Улица прямо перед нами, широкая и пустая, залитая солнцем, выглядела едва ли не втрое шире обычного из-за того, что ее окружали солдаты и конная полиция, а толпа зевак толпилась сзади. Через несколько минут должны были проехать принцы. Толпа затихла.

Дальше все произошло так быстро, что я насилу могу восстановить последовательность событий. Барбер продолжал возбужденно говорить, но все мое внимание было приковано к пустой улице прямо передо мной. Я его не слушал — да и не слышал толком. Но полагаю, именно то, что голос его стих, заставило меня обернуться, и тогда я

увидел, что его больше нет рядом.

Я так и не понял, как ему удалось туда пробраться, но вдруг я увидел, что по широкой пустой улице, окруженной строем полиции и солдат, на виду у всей толпы шествует Барбер.

Я стоял как громом пораженный. Да он совсем обезумел! Я ждал, когда же толпа взревет, когда полиция утащит его прочь…

Но никто не шевельнулся. Было очень тихо, и не успел я понять это, как мои чувства слились с чувствами толпы. Теперь мне казалось, что Барбер на своем месте, что мы все собрались здесь, чтобы увидеть, как именно этот плюгавый человечишка торжественно прошествует перед нами. Именно ради него очистили улицу, выставили охрану, украсили дома.

Я знаю, это все звучит дико, но те события произвели на меня такое глубокое впечатление, что я совершенно уверен в том, что именно испытывал, пока Барбер шагал по мостовой. Он шел неторопливо, ничего не осталось от его обычной неуверенной, шаркающей походки, — нет, этот человек двигался размеренно и спокойно, а когда он медленно повернул голову из стороны в сторону, я увидел, что и лицо его изменилось. Это было лицо злого гения, несправедливого и

безжалостного — жестокого божества. Я — как и, без сомнения, все в толпе — чувствовал, что между нами и этим одиноким человеком лежит пропасть.

Вскоре я потерял Барбера из виду. Почти сразу после этого я услышал галдеж, крики, рев…

А потом проехала королевская процессия.

— Арестовали его тогда или, затоптанного кавалерией, доставили в больницу, я не знаю. Я не видел его больше и не слыхал о нем, пока не получил то письмо в среду, — сказал я мистеру Г. М.

Мистер Г. М., сейчас один из управляющих хорошо известной табачной фабрики, когда-то работал вместе с Барбером и, невзирая на разницу в возрасте и положении, всегда был к нему благожелательно настроен и покровительствовал, когда мог. Именно поэтому, получив от Барбера письмо, где тот умолял меня как можно скорее приехать к нему в Кент (адрес прилагался), я счел уместным посоветоваться с этим джентльменом, прежде чем отвечать. Он весьма любезно предложил встретиться на вокзале Чаринг-Кросс в следующую субботу и съездить в Кент вместе. В поезде мы и обсуждали все связанное с Барбером. Я рассказал ему все, что знал об этом молодом человеке, и мы сравнили впечатления.

— Вне всякого сомнения, — сказал мистер Г. М., — то, что вы рассказали мне, поразительно. Но в случае бедняги Барбера легко объяснимо. Говорите, в последнее время он много болел? Безусловно, это повлияло на его мозг и на его душу. Сложнее объяснить то впечатление, которое он производил на вас и других присутствующих. Но гнев, который вы всегда испытывали, мог на некоторое время затмевать ваше восприятие. Вы беседовали с кем-нибудь еще, кто присутствовал при этих событиях?

Я признал, что не беседовал. Я ни в коем случае не хотел, чтобы кто-то связывал меня с Барбером. Мне нужно было думать о жене и детях. Я не мог рисковать работой.

— Нет, я вполне вас понимаю, — успокоил меня мистер Г. М. — На вашем месте я бы, наверное, действовал так же. В общем, самое странное во всем этом — тот эффект, который Барбер производил на вас и, возможно, на других. С другой стороны, я не вижу в этом ничего совсем уж необъяснимого. Вы говорили, что Барбер действовал против своей воли — против собственного здравого рассудка. Со всеми такое случается. Любой мужчина и любая женщина, оглядываясь на прожитую жизнь, могут вспомнить множество

поступков, которые вовсе не собирались совершать. Мы подчиняемся неким тайным приказам, плывем на корабле, где вместо капитана — серия запечатанных бутылок с инструкциями, каждая из которых должна быть вскрыта в назначенный час. Мы живем, не обращая внимания на мелочи, а ведь именно они годы спустя могут повлиять на нашу жизнь самым значительным образом. И тогда мы можем даже не вспомнить эту мелочь, как бы ни старались. Я, например, до сих пор не понимаю, почему не стал баптистским пастором. Я вроде бы всегда хотел именно этого, но в один прекрасный вечер вдруг обнаружил, что только что закончился мой первый рабочий день в сфере бизнеса. Мы не осознаем многого в своей жизни; даже самые трезвомыслящие из нас значительную часть времени проводят в мечтаниях и грезах. Каждые сутки мы несколько часов спим и видим сны, в которых переживаем приключения, счастливые и не очень, и иногда, проснувшись, не можем забыть их. Мы привыкли спать в той же мере, что и бодрствовать. Кто знает, может, мы спим всегда. Не бывало ли с вами такого, когда вдруг кажется, что вам следует делать нечто совершенно иное, не то, что вы делаете? Такое ощущение бывает, например, после того, как

что-то вас потрясло. Но оно не длится долго, а со временем и память о нем исчезает. А у таких людей, как Барбер, напротив, оно возникает все настойчивей, пока наконец они не начинают воплощать свои сны наяву. Так я объясняю все это.

— Наверное, вы правы.

Дом, где Барбер снимал жилье, располагался высоко на склоне холма. Мы запыхались, пока поднимались; шел дождь. Дом этот представлял собой одинокую пастушескую хижину. Далеко внизу виднелась деревня; над красными крышами поднимался дымок.

Нас встретила женщина и сказала, что Барбер дома, но, возможно, спит. Он теперь много спит.

— Не знаю, чем он живет, — сказала она. — Платит нам сущие гроши. Мы не можем больше позволить ему оставаться.

Он и правда спал, откинувшись в кресле с приоткрытым ртом и укрывшись поношенным пальто. Выглядел он очень плохо, а проснувшись, только и делал, что жаловался на злую судьбу. Работу он найти не мог, люди относились к нему предвзято, смотрели косо. И он все время хотел спать, порой не мог заставить себя бодрствовать.

— А какие сны мне снятся! — беспокойно говорил он. — Глупейшие, противные. Я пытался

пересказать их той женщине или ее мужу, но они не стали слушать. Не удивлюсь, если они считают, что я немного того. Они говорят, я постоянно разговариваю сам с собой, но я же знаю, что это не так… Как бы я хотел выбраться отсюда! Вы можете найти мне работу? — спросил он, повернувшись к мистеру Г. М.

— Ну, я попробую, Гус. Сделаю, что смогу.

— Боже, вы должны увидеть то, что мне снится! — возбужденно воскликнул Барбер. — Я понятия не имею, откуда берутся эти чертовы образы в моей голове, но я их видел где-то раньше. Мне знакомы эти лица. Не все белые, некоторые смуглые, как цыгане, а иные совсем черные. Я их всех где-то видел. И эти длинные террасы, и фонтаны, и выложенные мрамором внутренние дворики, и синее небо, и солнце, и танцовщиц, у которых ногти на руках и ногах выкрашены красным, и мальчика, в волосы которого я запускал пальцы, и раба, которого прирезал прошлой ночью…

У него был совершенно безумный взгляд, страшно было на него смотреть.

— Я задыхаюсь здесь! — хрипло вскричал он. — Давайте выйдем на свежий воздух.

Он в самом деле начал меняться — не стано-

виться другим человеком, конечно, но лицо его стало жестче, на нем появилось выражение нетерпения, властности и жестокости, и от него самого теперь исходила такая мощь, что она, казалось, вот-вот разрушит бедную маленькую комнатку, где мы собрались. Мы с мистером Г. М. совершенно не хотели ему мешать — это нам и в голову не пришло. Скорее мы хотели прекратить грозу как можно скорее. Мы последовали за ним, вышли на площадку перед домом и смиренно слушали то, что он говорил.

Насколько мне вспоминается сейчас, он сетовал на то, что его душевные порывы встречают сопротивление и власть его неполна.

— Иметь задатки правителя — и ни одного раба, чтобы исполнять мою волю. Желать казнить и миловать — и не иметь для этого никаких средств. Быть властелином мира, но лишь в душе. Как же это злит меня! Деревенский мальчишка здесь счастлив, потому что не имеет устремлений больших, нежели его простая монотонная жизнь. Я же, имея в руке землю… если бы имел в руке землю, хотел бы звезду. О, горе мне! Горе!

Он перегнулся через низкую каменную стену и посмотрел на городок, вокруг которого раскинулись пастбища. Из-за дождя городок было видно

смутно.

— А еще эти жалкие оборванцы там, внизу, — медленно произнес он, — которые глумятся надо мной, когда я прохожу мимо, и оскорбляют меня своей безнаказанностью; им нужно всем срубить головы, а я не могу рубить головы! Я ненавижу этот городишко. Как же он омерзителен! Он оскорбляет мой взор.

Барбер обернулся и посмотрел прямо на нас; у нас душа ушла в пятки.

— Сожгите его, — сказал он.

Затем повернулся обратно и уронил голову на руки, покоящиеся на парапете.

Дальше у меня провал в памяти, помню лишь, как много позже мы с мистером Г. М. опомнились, шагая в сырой ночи по пустой дороге на окраине городка. Мы несли множество горючих материалов — льняные тряпки, деготь, спички и прочее, — которые, должно быть, купили.

Мистер Г. М. остановился и взглянул на меня. Мы как будто пришли в себя.

— Что мы здесь делаем и почему у нас это в руках? — негромко спросил он.

— Я не знаю.

— Давайте лучше выбросим это вон за той оградой.

К вокзалу мы шли в молчании. Я все думал о безутешном человеке, оставшемся на холме и вглядывающемся поверх каменной стены в тьму и дождь.

Мы успели на последний поезд в Лондон. В вагоне мистер Г. М. начал дрожать, как от озноба.

— Брр! Этот парень изрядно действует мне на нервы, — сказал он, и больше мы не говорили о произошедшем.

Но когда поезд миновал туннель под горой и медленно выехал на открытое пространство, откуда был виден городок, мы заметили столб пламени, устремляющийся в небеса.

Перевод Марии Великановой

III. О страшном с улыбкой

Герман Мелвилл. Господин Громоотвод

И снова перед нами автор, которого не нужно представлять читателям. Герман Мелвилл навеки вписал свое имя в историю литературы великим романом «Моби Дик». Это была его главная книга — но она ни в коем случае не является единственной. Мелвиллу принадлежит еще ряд романов, эссе, автобиографически-документальных произведений — и рассказов. «Господин Громоотвод» был написан в 1856 году, но любой из нас, безусловно, не раз видел подобных торговцев: их методы за века изменились весьма слабо.

«До чего же величественно звучат эти непредсказуемые раскаты грома!» — подумал я, стоя у каменной приступки моего очага, в доме посреди

Акрокеравнийских гор[16], и слушая, как громовые удары раздаются то ближе, то дальше над моей головой и обрушиваются на горные долины; за каждым ударом следовал ослепительный зигзаг молнии, а потом косые струи ливня, звеня, будто летящие дротики, впивались в низко нависшую гонтовую крышу моего жилища. Правда, я полагаю, что в гористой местности голос грома умножается эхом и оттого более могуч здесь, чем на равнинах. Вдруг слышу — стучат! Кому это вздумалось являться с визитом в грозу? И почему бы ему по-человечески не воспользоваться дверным молотком, вместо того, чтобы колотить кулаком по дощатой двери на манер угрюмого гробовщика? Ладно, впустим его. Ага, вот и гость. Совершенно незнакомый. И какая у него странная трость для прогулок!

---

[16] Примечания: 16

Акрокеравнийские горы, или Керавния — горный массив длиной около 100 км на крайнем юго-западе современной Албании. Среди его вершин выделяются два пика высотой более двух километров. Название греческое, происходит от слова «керавнос», что значит «молния», поскольку на высокогорьях часто собираются грозовые тучи. Добирался ли Мелвилл в своих скитаниях до этих мест, малодоступных и диких даже в наше время? Судя по известным фактам его биографии, нет. Кроме того, все бытовые реалии рассказа к Албании не имеют никакого отношения. Вероятнее всего, автор избрал эти горы местом действия в силу их названия, а также несомненной неосведомленности читающей американской публики о существовании этого «медвежьего угла» Европы.

— Добрый день, сэр. Прошу садиться. Славная гроза, не так ли, сэр?

— Славная? Она ужасна!

— Вы промокли. Подойдите сюда, к очагу, погрейтесь у огня.

— Ни за что на свете!

Незнакомец, дойдя точно до середины моей хижины, так и застыл. Его странность побудила меня присмотреться повнимательнее. Тощая, унылая фигура. Волосы темные, растрепанные, прилипли ко лбу. Запавшие глазницы обведены синими кругами, а глаза блестели, словно отражая молнию, но молнию неопасную, без грома. Он промок насквозь: вокруг него на дубовом полу уже натекла лужа. Свою странную трость он держал вертикально, прижавшись к ней боком.

Это был стержень длиной около четырех футов[17] из полированной меди, прикрепленный к гладкому деревянному древку посредством двух шаров из зеленоватого стекла, охваченных медными кольцами. Металлический стержень оканчивался чем-то вроде трезубца с тремя тонкими остриями, блестевшими, как золото. Пришелец держал эту штуку за древко. Он напом-

---

[17] Примечания: 17
120 см.

нил мне статую древнегреческого бога с молнией в руке.

— Сэр, — сказал я, учтиво поклонившись, — неужели я удостоился визита блистательного божества, Юпитера Громовержца? Если вы — это он либо его заместитель, я должен поблагодарить вас за превосходную грозу, которую вы устроили в наших горах. Послушайте: вот еще отличный раскат! Ах, что может быть лучше для поклонника всего величественного, чем принимать в своей хижине самого Метателя Молний? Гром от этого звучит еще приятнее. Но прошу вас, извольте сесть. Это старое плетеное кресло, конечно, плохая замена вашему вечнозеленому трону на Олимпе, и все же присядьте.

Пока я произносил эти любезности, незнакомец уставился на меня с выражением изумления и отчасти некоторого ужаса; но он не сдвинулся ни на фут.

— Да садитесь же, сэр! Вам нужно обсушиться, прежде чем снова отправляться в путь.

Приглашающим жестом я подвинул кресло к широкой приступке очага, в котором незадолго до того развел небольшой огонь, борясь с сыростью, а не с холодом, потому что на дворе стояли только первые числа сентября.

Однако незнакомец, не обратив никакого внимания на мою заботу, по-прежнему стоя посреди комнаты, окинул меня серьезным взглядом и заговорил:

— Прошу простить меня, сэр, — сказал он. — Но я отклоняю ваше приглашение присесть у очага, а вместо этого настоятельно предлагаю вам присоединиться ко мне и встать посреди комнаты. Святые небеса! — вдруг вскрикнул он и дернулся. — Вот еще один ужасный раскат! Я предупреждаю, сэр, вам лучше отойти от очага.

— Господин Юпитер Громовержец, — сказал я, спокойно покачиваясь на краю приступки, — мне и здесь стоять очень удобно.

— Неужели вы столь чудовищно невежественны и не знаете, что наиболее опасным местом в доме во время такой грозы, как эта, является очаг или камин? — воскликнул он.

— Нет, я этого не знал, — сказал я и невольно отошел на шаг от приступки.

Выражение торжества, появившееся на лице незнакомца, не понравилось мне, и я, тоже невольно, шагнул обратно к очагу и, выпрямившись, принял самую горделивую позу, какую мог вообразить, но не промолвил ни слова.

— Ради всего святого! — В его возгласе странно

смешались тревога и угроза. — Ради всего святого, отойдите от очага! Разве вам неизвестно, что горячий воздух и сажа — это проводники, не говоря уже об этих огромных адиронах?[18] Отойдите от них, я заклинаю, я приказываю вам!

— Господин Юпитер Громовержец, я не привык, чтобы мне приказывали в моем собственном доме.

— Не называйте меня этим языческим именем! Вы кощунствуете в такой ужасный момент!

— В таком случае, сэр, будьте добры объяснить цель вашего прихода. Если вы ищете укрытия от грозы, я охотно приму вас, при условии, что вы будете вести себя прилично; но если вы пришли по делу, изложите его тотчас же. Кто вы?

— Я агент по продаже громоотводов, — сообщил пришелец уже более спокойным тоном, — это моя специальность… Боже милостивый! Как гремит! Вы когда-нибудь подвергались… то бишь ваше жилище подвергалось удару? Нет? Значит, его следует предохранить. — Он многозначительно

---

[18] Примечания: 18

Адирон — подставка для укладки дров в открытых очагах и каминах. Состоит из двух отдельных деталей, изготовленных из железа. Могут иметь как самую примитивную, так и изысканную форму. В тексте употреблено старинное название fire-dogs, дословно «огневые собаки», так как обычно контур подставки напоминал собаку с кривыми расставленными ногами и поднятым хвостом.

постучал своим медным древком по полу. — Ни одно строение по природе своей не может быть неприступной крепостью, когда речь идет о грозах; но стоит вам сказать лишь слово, и я превращу ваш коттедж в подобие скалы Гибралтара несколькими взмахами этого жезла… вы слышите? Все сотрясается, как будто рушатся Гималаи!

— Вы не договорили. Так какова же ваша специальность?

— Я разъезжаю по стране и принимаю заказы на громоотводы. Вот это — эталон, или образец изделия. — Он снова стукнул древком об пол. — У меня наилучшие рекомендации! — Он принялся рыться в карманах. — В Криггене[19] с месяц назад я установил двадцать три громоотвода лишь на пяти зданиях.

— Позвольте уточнить. Разве не в Криггене на прошлой неделе, в субботу около полуночи, молнии ударили в колокольню, большой вяз и в купол дома собраний? На них вы свои изделия устанавливали?

— На дереве и куполе — нет, только на коло-

---

[19] Примечания: 19

Кригген — деревушка в Корнуолле (Англия), общественных зданий с куполами там никогда не было. Упоминание об этом населенном пункте, а затем (ниже в тексте) вдруг о Канаде и Монреале явно выказывает намерение автора окончательно запутать читателя.

кольне.

— Выходит, ваш громоотвод никуда не годится?

— Еще как годится! Он решает вопросы жизни и смерти. Просто мой работник допустил небрежность. Прикрепляя древко к шпилю, он не заметил, что металлический стержень соприкасается с жестяной обшивкой. Вот и вышла неприятность. Вина не моя, а его. Ах! Слышите, опять!

— Уймитесь! Эти звуки достаточно громкие, чтобы расслышать даже без указаний. Вы слыхали о прошлогоднем происшествии в Монреале? Девушку-служанку, сидевшую на кровати с четками в руках, убила молния, потому что четки были металлические. Простираются ли ваши труды на обе Канады?[20]

— Нет. Говорят, что там в ходу только железные стержни. А им бы стоило применять мои, медные. Железные легко плавятся. И еще там делают громоотводы такими тонкими, что они не вмещают весь электрический ток. Потом это

---

[20] Примечания: 20

Имеются в виду две части, на которые в то время была разделена территория Канады: Нижняя (основное население — французы) и Верхняя (населенная в основном протестантами шотландского происхождения); обе находились под управлением британской колониальной администрации.

выставляют на крышу; металл плавится, здание разрушается. Мои медные изделия никогда так себя не ведут. Эти канадцы — дураки. Некоторые из них цепляют громоотводы острием вверх, что чревато смертельным взрывом, а мои незаметно направляют ток в землю. Только мои изделия настоящие. Вот, посмотрите! Всего один доллар за фут.

— Вы так нагло вломились ко мне, что это вынуждает меня отнестись к вам с недоверием.

— Ох! Гром звучит все отчетливее. Гроза приближается к нам, опускается ниже к земле. Ох! Ошеломляющий грохот! Удар один, но близкий, поэтому мы слышим все вибрации. А вот и другая вспышка. Погодите-ка!

Он поспешно отставил свой жезл и наклонился к окну, приложив указательный и средний пальцы левой руки к запястью правой.

— Что вы делаете? — спросил я, но прежде этих слов у него вырвалось новое восклицание:

— Трах-тарарах! Только три такта на расстоянии менее трети мили отсюда, вон там, где-то в лесу. Проходя через него, я видел три дуба, сраженных молниями, их древесина влажно поблескивала в свежих расколах. Дуб притягивает молнии чаще других деревьев, потому что в его

соке растворено много железа. Кстати, половицы у вас, похоже, дубовые…

— Из самого прочного дуба. Вы заявились ко мне в весьма неурочный час. Судя по этому, я догадываюсь, что вы намеренно избираете грозовую погоду для своих странствий. Когда грохочет гром, вы полагаете, что обстоятельства особенно способствуют убеждению возможных покупателей.

— Ох! Это ужасно!

— Для человека, желающего избавить ближних своих от опасности, вы неподобающе опасливы сами. Обычно люди предпочитают путешествовать в хорошую погоду, вы — в ненастье, и все же…

— Истинно так, сэр, путешествую я в грозу, но не без особых предосторожностей, о коих кому же лучше и знать, как не специалисту? Ах! Скорее взгляните на мой эталон. Всего один доллар за фут…

— Смею заметить, что изделие прекрасное. Однако скажите, каковы же ваши особые предосторожности? Только сперва я закрою ставни: дождь так и хлещет по окну, вода сочится сквозь раму. Сейчас задвину засов.

— Вы с ума сошли? Не знаете, что железный

засов — наилучший проводник? Воздержитесь!

— Ладно, я просто прикрою ставни, а потом позову своего слугу, он принесет деревянный засов. Пожалуйста, дерните за шнур колокольчика, вон там.

— Да вы безумец! Проволока от звонка может вызвать взрыв. Никогда не прикасайтесь к ней во время грозы и вообще не звоните в какие бы то ни было колокола.

— Даже в церковные? Будьте добры, поведайте мне, где и как человек может обеспечить себе безопасность в такую непогоду? Есть ли в моем доме вещи, к которым я могу прикоснуться, не поплатившись жизнью?

— Есть, но не там, где вы сейчас стоите. Отойдите от стены. Иногда ток стекает по стене, а поскольку человеческое тело — лучший проводник, чем камень, ток перескакивает на него. Бабах! Грохнуло совсем близко. Наверное, шаровая молния.

— Весьма вероятно. Так скажите же поскорее, где, по вашему мнению, самое безопасное место в этом доме?

— В этой комнате, именно там, где я стою. Подойдите сюда.

— Сперва объясните.

— Ох! Вспышка и порыв ветра… рамы трясутся… а дом-то, дом! Идите же ко мне!

— Объяснитесь, будьте добры.

— Идите ко мне!

— Благодарю за заботу, но я лучше останусь на своем месте, у очага. А от вас, господин Громоотвод, я жду, в перерывах между ударами грома, объяснений: почему вы считаете именно эту комнату и именно то место в ней, где вы стоите, наиболее безопасными?

Буря немного приутихла. Специалист по громоотводам приободрился и ответил:

— Ваш дом одноэтажный, с чердаком и подвалом; комната расположена между ними. Посему она относительно безопасна. Ибо молния порой бьет из облаков в землю, а порой из земли в облака. Постигаете? А середину комнаты я выбираю потому, что в случае, если молния все-таки поразит дом, ее заряд пройдет по печной трубе или по стенам; итак, очевидно, чем дальше вы от них, тем лучше. Теперь-то вы пойдете ко мне?

— Пожалуй, да. Кое-что из сказанного вами не испугало меня, но внушило доверие, как ни странно.

— Что же я такого сказал?

— Вы сказали, что молния порой бьет из земли

в облака.

— Да-да, возвратный разряд, так это называется; когда земля перенасыщена флюидами, излишек разряжается снизу вверх.

— Ага, значит, возвратный разряд, из земли в небеса. Все лучше и лучше. Но подойдите же наконец к очагу и обсушитесь!

— Мне нужно стоять здесь и оставаться мокрым.

— Почему?

— Во время грозы самая надежная защита… ох, опять!.. промокнув насквозь, вы будете в полной безопасности. Мокрая одежда лучше проводит ток, чем тело; поэтому, если молния ударит, она может пройти по ткани, не затронув тело. Буря снова набирает силу. У вас в доме найдется коврик? Коврики не проводят ток. Я встану на коврик, вот здесь, и вы тоже встаньте. Небо почернело… Сумерки настали в полдень. Ох! Коврик, давайте коврик!

Я дал ему коврик; тем временем окутанные тучами горы как будто придвинулись и, казалось, вот-вот обрушатся на крышу дома.

— Итак, — сказал я, вернувшись на свое место, — поскольку молчание нам не поможет, я хотел бы услышать, к каким мерам предосторож-

ности вы прибегаете, путешествуя в грозу.

— Подождем, пока эта пройдет.

— Нет уж, рассказывайте. Вы ведь стоите, согласно вашим же рекомендациям, на самом безопасном месте. Начинайте!

— Вкратце меры следующие. Я не приближаюсь к соснам, высоким домам, одиноко стоящим амбарам, не хожу по высокогорным пастбищам, по берегам ручьев, сторонюсь овечьих стад и скопищ людей. Путешествуя пешком, как сегодня, я двигаюсь медленно; если еду в своей двуколке, не касаюсь ни бортов, ни спинки сиденья; если верхом — спешиваюсь и веду лошадь. Но особенно я избегаю компании мужчин высокого роста.

— Мне кажется, что я сплю! Человек должен избегать человека, да еще в час опасности?

— Избегаю я только рослых мужчин во время грозы. Каким же невеждой нужно быть, чтобы не знать, что высоты в шесть футов[21] достаточно для притяжения электрического разряда из тучи? Разве вам неизвестны случаи, когда одиноких пахарей на полях Кентукки молния настигала прямо посреди неоконченной борозды? Более того, если человек ростом в шесть футов вста-

---

[21] Примечания: 21
180 см.

нет на берегу бурного потока, туча порой может избрать его в качестве контакта между нею и потоком. Ох! Несомненно, это раскололся вон тот черный пик… Да, человек — хороший проводник. Дерево молния только ошкуривает, а человека прошивает насквозь. Однако, сэр, вы уже так долго заставляете меня отвечать на ваши вопросы, а мы все еще не дошли до дела. Закажете ли вы у меня громоотвод? Поглядите-ка на образец. Видите? Он сделан из наилучшей меди. Медь — прекрасный проводник. Домик ваш невысок, но, будучи расположен на горе, он ничуть от малой высоты своей не выигрывает. Вы, горцы, сильно рискуете. В гористых областях продажа громоотводов должна процветать. Взгляните на образец, сэр. Для такого маленького домика хватит одной штуки. Просмотрите мои рекомендации. Только один громоотвод, сэр, и всего за двадцать долларов. Ой-ой! Гранитные хребты Таконик и Хусик[22] столкнулись и разлетелись на осколки. Судя по звуку, молния во что-то попала.

---

[22] Примечания: 22

Очередной прием автора, подчеркивающий фантастичность ситуации. Таконик — гряда на восточной границе штата Нью-Йорк с двумя вершинами более 1000 м высотой, входящая в состав горной системы Аппалачей, которая тянется на 2600 км, с северо-востока на юго-запад по территории Канады и США, а Хусик — это вовсе не горы, а река, один из истоков которой находится в горах Таконик.

Установив громоотвод на высоте пять футов над крышей, вы защитите все в радиусе двадцати футов от древка. Всего двадцать долларов, сэр, по доллару за фут. Ох! Какой ужас! Желаете заказать? Купите? Позволите записать ваше имя? Вы только подумайте; одно мгновение, и вы можете превратиться в кучку угольков, словно лошадь на привязи в конюшне!

— Вы явились ко мне как чрезвычайный посол и полномочный министр Юпитера Громовержца, — засмеялся я. — А вы просто человек, который пришел сюда, намереваясь втиснуться со своим чубуком между твердью и небесами. Научившись извлекать вспышки зеленого света из лейденской банки, вы полагаете, что можете отклонить удары стихии? Ваше изделие покроется окислами или сломается, и где вы окажетесь после этого? Кто уполномочил вас, новоявленного Тецеля[23], торговать вразнос своими индульгенциями от божественных установлений? Волосы

[23] Примечания: 23

Иоганн Тецель (1465–1519) — монах-доминиканец, инквизитор и проповедник. Был назначен главным комиссионером по раздаче индульгенций в Германии. Используя страх людей перед загробным наказанием, Тецель наладил продажу отпущения грехов за деньги. Эту практику резко критиковал Мартин Лютер. Собранные Тецелем средства шли на строительство базилики Святого Петра в Риме, т. е. служили сугубо практической цели, что и вызвало у рассказчика ассоциацию с продавцом громоотводов.

на головах наших сочтены, как и дни жизни нашей. Будь небо в тучах или ясное солнце, я чувствую себя спокойно в руках моего Бога. Прочь, лживый торгаш! Смотри, свиток бури сворачивается, но мой дом невредим, в голубом небе играет радуга, и в ней читаю я весть о том, что божество никогда не возымеет намерения идти войной на землю людей.

— Мерзкий нечестивец! — с пеной у рта вскричал незнакомец; лицо его почернело при виде радуги. — Я всем расскажу о твоих богопротивных речах!

Гримаса злобы исказила его лицо; синие пятна вокруг его глаз стали шире, подобно кольцам, окружающим полуночную луну в штормовую ночь. Он бросился на меня, целясь трезубцем своего изделия в мое сердце.

Я схватился за древко; я вырвал его, бросил на пол, растоптал; потом подтащил мрачного повелителя молний к двери и вышвырнул вон; следом за ним выкинул и его узловатый медный жезл.

И все же, несмотря на такое мое обхождение, несмотря на мои попытки разубедить соседей, господин Громоотвод все еще обитает в нашей округе; он по-прежнему путешествует во время грозы, извлекая немалую выгоду для своей тор-

говли из страхов человеческих.

Перевод Алины Немировой

Элис Паркер Батлер. Изобретение как хобби

Элис Паркер Батлер (1869–1937) был очень плодовитым американским автором, из-под его руки вышло более тридцати романов, несколько «романов в рассказах», а собственно рассказов — свыше двух тысяч! Наиболее прославлен он как создатель Фило Габба, детектива-заочника, получившего свой диплом на «удаленных» курсах (интернета тогда не было, но его заменяла переписка) и раз за разом достигающего успеха, несмотря на вопиющие ошибки, которые этот «Шерлок Холмс по переписке» постоянно допускал.

Работал Батлер и в области «литературы о страшном», но тут, как и во всех остальных случаях, его рассказы окрашены мягким юмором. Если с кем и сравнивать батлеровскую тональность, то, пожалуй, с творчеством О. Генри. Оба они — певцы «уходящей» Америки, стра-

ны молодой и частенько по-деревенски простоватой, даже когда ее обитатели переселяются из ковбойских прерий в механизированные дебри мегаполисов.

С юности до старости Дэниэл был, так сказать, работником большой дороги. Нет, речь идет не о разбое, а о шоссе. Он достиг кое-каких высот, но теперь, когда старость действительно наступила, дорожная служба штата Нью-Йорк выделила ему синекуру: место при шлагбауме на самой окраине Четырнадцатой улицы. Работа несложная, но скучная: большую часть дня улица пустовала, лишь утром и вечером по ней следовали фургоны с лесопилки[24]. Так что основным занятием Дэниэла было сидеть на скамье рядом со шлагбаумом и угрюмо смотреть перед собой.

Правда, в послеобеденное время его одиночество скрашивали визиты соседей. Чаще всего к Дэниэлу заглядывал бармен Стивен Потс, иногда к нему присоединялись, вместе или порознь,

---

[24] Примечания: 24

Время написания (и, видимо, время действия) рассказа — конец первого десятилетия XX в.: Нью-Йорк уже тогда был мегаполисом с активным движением, однако именно в это время его дорожная сеть начала развиваться так, что Четырнадцатая улица, ранее бывшая одной из главных транспортных артерий города, надолго захирела. В последующие десятилетия она отчасти вернула себе прежнее значение.

жестянщик Аронсон, мелкий коммивояжер Смит и сапожник Бутс из мастерской напротив. Главенствовал среди них, разумеется, бармен: самый начитанный (по крайней мере, газеты он точно читал), самый наслышанный (это тоже трудно отрицать: посетители бара, как известно, склонны к разговорам), а поэтому свято убежденный в своем превосходстве над остальными собеседниками и праве поучать их. Потому их беседы в основном сводились к монологам Потса, остальным предписывалось почтительно внимать. Правило это иногда нарушалось лишь при появлении коммивояжера, человека въедливого и склонного к скепсису.

— Эх, об одном только жалею… — задумчиво начал Дэниэл, когда Потс опустился на скамью рядом с ним.

— О чем же? — с готовностью осведомился бармен.

— О том, что я в молодости не сделался изобретателем. И вот сейчас сижу у шлагбаума, а ведь мог бы что-то там выдумывать, патенты за это получать, да и жить в свое удовольствие…

— Ну и ну, друг мой Дэниэл, — Потс с явным неудовольствием покачал головой, — сколько своего драгоценного времени я потратил на то,

чтобы учить тебя жизни — причем, заметь, безвозмездно! — и где же твоя благодарность?

— Отчего же, Стив, я благодарен… — робко попытался возразить Дэниэл.

— Будь ты действительно благодарен, то после каждого из этих моих уроков от радости пел бы и плясал, как соловей! — запальчиво ответил бармен, упуская из виду, что пляшущий соловей должен представлять собой поистине душераздирающее зрелище. — А ты все недоволен… Уж поверь: я мог бы научить тебя и изобретательству! Но с той самой минуты, как впервые увидел тебя, я сказал себе: «Стив, не вздумай делать из этого человека изобретателя! Он такой же, как Счастливчик Питер!» И прошедшие годы только подкрепили меня в прежней уверенности: стоит тебе только раз предаться пороку изобретательства, тебя, Дэниэл, неизбежно постигнет судьба несчастного Счастливчика.

— Никогда не слышал о нем, — произнес заслуженный работник шлагбаума, охотно попадаясь в ловушку.

— Ну так слушай. — Потс поудобнее пристроился на скамье. — Это был в каком-то смысле твой собрат по духу: один из тех людей, что вечно недовольны своей судьбой. У него была отлич-

ная работа, он трудился на лесопилке: бревно, пила, нормированный рабочий день — что еще человеку нужно? И жена у него тоже была замечательная, и дом уютный. Только вот друга, который его мог бы наставлять в жизни, у бедняги Счастливчика не было: тебе в этом смысле более повезло. Поэтому Питер не мог унять изобретательский зуд. Ну уж так ему хотелось открыть хоть что-нибудь, до сих пор не открытое, — просто сладу никакого с ним не было. Но ни разу в жизни Счастливчику не пришло в голову ничего подходящего: какая хитроумная штуковина ни попадалась ему на глаза, она неизбежно оказывалась уже изобретена. Но вот как-то раз ему на глаза попались вставные челюсти. И тут же он понял — то есть решил, что понял, — как их усовершенствовать!

— Везет же людям! — с завистью сказал Дэниэл. — Если бы я в свое время увидел такие челюсти, я б их не просто усовершенствовал, а изобрел заново!

— О чем я и говорю… — Бармен посмотрел на него с иронией, которой его собеседник абсолютно не заметил. — Ты — вылитый Счастливчик! Но проблема, скажу тебе, кроется в том, что вставные челюсти — они… самодостаточны. Их уже

изобрели, уже делают — а как их можно усовершенствовать, поди догадайся! Однако Питер был уверен, что догадался или вскорости непременно догадается. Первым делом он отправился к дантисту, попросил его удалить у себя — то есть не у дантиста, а у Счастливчика Питера! — все зубы, сколько их ни есть. А потом заказал себе отличнейшие вставные челюсти, верхнюю и нижнюю. И тут вдруг обнаружил, что его уверенность куда-то подевалась. После чего все свое свободное время — причем не день или неделю, а целых три года подряд! — он размышлял, что можно с ними сделать. Мы, соседи, по вечерам часто видели, как он мается, бедняга, сидя в кресле перед домом: то держит верхнюю челюсть в левой руке, а нижнюю в правой, то меняет их местами, то перехватит их обе в одну руку, то почешет зубами затылок… Челюсти! Поверь мне: они буквально съедали его заживо. Да и вообще, искусственные зубы кого угодно с ума сведут: ну что ими еще можно делать, кроме как жевать? И тут вдруг Счастливчика осенило: надо сделать их саможующими!

— Само… Чего? — переспросил Дэниэл.

— Саможующими! — с удовольствием повторил Потс. — Я, безусловно, еще раньше его

додумался до этой идеи — но сразу понял, что нет в мире устройства глупее. Не то Питер. «Наиновейшее изобретение: саможующие зубы от мистера Счастливчика! Неслыханно облегчают прием пищи, полностью автоматизируя весь процесс! Довольно питаться старым дедовским способом — покупай ЧЕЛЮСТИ!» Несколько дней он ходил, раздувшись от гордости, как индюк, и не обращая внимания на мои саркастические взгляды…

— А потом? — жадно поинтересовался Дэниэл. — Небось заработал на этом изобретении кучу деньжищ, да?

— За изобретение, на которое я бросил саркастический взгляд? — Бармен смерил своего собеседника именно таким взглядом, чего тот снова совершенно не заметил. — Ну и ну, старина Дэнни… Нет, он только намеревался получить за него, как ты выразился, «кучу деньжищ». Зубы эти были хороши лишь на первый взгляд… ну ладно, на первый укус тоже. Они приводились в действие мощным пружинным механизмом: нажми кнопку — и клац-клац-КЛАЦ-КЛАЦ! — Потс для наглядности продемонстрировал принцип действия, энергично сводя и разводя пальцы. — Понимаешь?

Дэниэл зачарованно кивнул.

— Ну вот и Счастливчик тоже думал, что понимает. Он нам все уши прожужжал тем, что отныне, его стараниями, человечество навеки избавлено от жевательного рабства. Да что там нам, соседям: прошелся с рекламной кампанией по всему городу, утверждая, что облагодетельствовал этим изобретением Америку и что американцы теперь — самый счастливый народ в мире. Мол, отныне его соотечественники не будут страдать от расстройств желудка и кишечника: все эти проблемы, по его словам, проистекают из того, что при американском темпе жизни ни у кого нет времени тщательно пережевывать пищу… А «челюсти Счастливчика» сделают это за американцев сами: ведь их темп работы может достигать шестидесяти жевов… жваков… э… жевков в секунду!

— Шестьдесят в секунду! — ахнул Дэниэл.

— Именно. Так вот, в целях привлечения возможных заказчиков Питер частенько выходил

к зданию почтамта[25], клал эти челюсти на тротуар и давал публике полюбоваться, как они со страшной скоростью жуют пустоту. А на тротуар он их клал потому, что в руках работающие челюсти было не удержать. Они со звоном, с лязгом кружили по улице, непрерывно клацая вставными зубами и пятясь, словно краб или, скорее, как плывущая раковина морского гребешка… если ты когда-нибудь видел раковину, створки которой сокращаются шестьдесят раз в секунду.

Смотритель шлагбаума отрицательно качнул головой.

— На прохожих это оказывало неизгладимое впечатление, — продолжал Потс, — но заказов не приносило. У этого изобретения и вправду были кое-какие недостатки. Из-за пружинного

---

[25] Примечания: 25

Ситуация обретает дополнительное «фантастическое измерение» потому, что речь явно идет о здании так называемого «Маллетова почтамта» (на углу Бродвея и Муниципального центра; снесено в 1939 г.). Это был совершенно невероятный шедевр архитектуры, словно призванный олицетворять эпоху стимпанка: огромный, обладающий крайне запутанной планировкой, снабженный массой башенок, надстроек, линиями пневматической почты и т. п. Современники называли его «Монстросити». Здание сразу после завершения постройки (1880) сделалось объектом городских легенд, некоторые ньюйоркцы всерьез верили, будто по его темным коридорам бродят души погибших при строительстве рабочих — так что появление рядом с ним зубастого «техномонстра» тоже могло восприниматься соответствующим образом.

механизма оно занимало больше места, чем обычные вставные челюсти, — так что, когда Счастливчик не жевал, ему приходилось держать рот широко раскрытым. А процесс жевания оказался на редкость утомительным: от сотрясений голова Питера буквально ходила ходуном, так что он был вынужден правой рукой изо всех сил придерживать себя за темя, а ногами буквально оплетать ножки стула… В результате, правда, он подпрыгивал вместе со стулом, стул же бился о пол с такой же интенсивностью, с какой работали челюсти. Так что все соседи твердо знали: вот сейчас Питер приступил к трапезе. Само собой, если уж речь идет о покупке этого изобретения, то обитатели многоквартирных домов сразу отпадают… разве что кроме тех, кто живут на первых этажах. Но и они не проявляли энтузиазма. Когда человек в процессе обеда тарахтит, как моторная лодка, — это, конечно, забавно, но себе такого не пожелаешь.

— А он не пробовал сесть прямо на пол?

— Пробовал. Но тогда ему по-прежнему приходилось одной рукой давить себе на темя, а другой держаться за ножку стола. Иначе вибрация начинала носить его по всей комнате, как она носила челюсти по всему тротуару. Словом, лично я бы

не стал обзаводиться таким комплектом вставных зубов…

— Я, пожалуй, тоже, — поспешно ответил Дэниэл.

— Ты?! Не смеши меня, Дэн! Как раз ты бы купил их, вырвал бы собственные зубы и вставил вместо них этот жевательный автомат! Ну разве что я бы успел тебя от этого предостеречь… Ты вообще не снимал бы их даже на ночь, как и Питер, впрочем! Он, кстати, из-за этого серьезно пострадал: лег спать, не вынув челюстей, а ночью они случайно включились — ну и жевали до утра, так что наутро рот у него представлял собой сплошную рану, а надежно закрываться с тех пор и вовсе отказывался.

— Ты меня недооцениваешь. — Голос Дэниэла был тверд. — Как раз на ночь я бы эти зубы снимал.

— Что ж, со Счастливчиком такое тоже случалось. Как-то раз он, отходя ко сну, вынул изо рта челюсти — но опрометчиво положил их совсем рядом с кроватью, на ночной столик. А потом ему приснился кошмар, что в комнату проник вор и вот уже подбирается к этим драгоценным челюстям; Питер, толком не успев открыть глаза, в ужасе протянул руку, чтобы его остановить, — и

вора-то никакого не оказалось, а вот челюсти вцепились ему в пальцы. Он в ярости швырнул неблагодарную штуковину через всю комнату, она упала на диван — и принялась его грызть. Старалась до рассвета, так что к утру диван стал сам на себя не похож: и обивке конец, и набивке, и даже одной из ножек, той, что ближе к стенке, потому как в этом месте челюсти прогрызли диван насквозь, шлепнулись на пол и продолжили свою разрушительную деятельность уже там. Ох и рассердилась же жена Питера! Она с тех пор так ни разу не улыбнулась…

— Точно?

— Да… Во всяком случае, до тех пор, пока страховая касса не выплатила ей кругленькую сумму.

— За диван? — удивился Дэниэл.

— Нет, конечно. За Счастливчика. Он, оказывается, уже некоторое время назад застраховал свою жизнь.

— И что же с ним случилось?

— В некрологе было написано: «Смерть в результате нападения бешеной собаки». Но на самом деле все было куда страшней, — произнес бармен скорбным голосом. — Мы, его друзья и соседи, договорились не распространяться об этом — и не будь я таким поборником истины…

Но я, как ты знаешь, ее поборник.

— Знаю-знаю! — торопливо согласился шлагбаумных дел мастер.

— Тогда слушай. Я уже говорил, что Питер в результате всех этих несчастий поневоле ходил с широко раскрытым ртом — а ведь возможность плотно сжимать, гм, *свои* челюсти была единственным способом хоть как-то удерживать взбесившиеся *искусственные* челюсти от самых страшных деяний. И вот как-то раз ему довелось чихнуть… О ужас! О кошмар! Адское устройство не вылетело из его рта наружу — это было бы еще полбеды: нет, оно провалилось внутрь, в глотку несчастного Счастливчика, а оттуда погрузилось еще глубже… И уже там, внутри, вдруг включился жевательный механизм. Я слышал, как бедняга Питер закричал, видел, как он бросился бежать, — но разве можно спастись бегством от врага, который пожирает тебя изнутри? Мы, несколько человек, волей случая оказавшихся рядом, в недоумении смотрели, как Счастливчик упал и забился в адских муках. Кто-то подумал, что у него припадок, другой — что это он так проверяет какое-то свое новое изобретение… Вдруг его левая нога на уровне колена зашевелилась каким-то совершенно особым образом, отдельно

от всего тела; миг — и оттуда, прокусив брючину, выскочили челюсти! Мы буквально остолбенели. А они, знаешь, словно бы окинули нас взглядом, развернулись, перепрыгнули на правую ногу, моментально вгрызлись в нее и снова исчезли в недрах Счастливчикова тела… Бр-р-р! Что мы могли сделать? Что мог на нашем месте сделать хоть кто-либо? Челюсти продолжали жевать — и к вечеру от бедняги Питера остался один только башмак. Похоже, адские зубы надеялись продержаться до темноты и скрыться под покровом ночи, но Счастливчик закончился раньше. Мы к тому времени уже условились, как будем действовать, чтобы от несчастного страдальца осталось хоть что-нибудь для погребения. Для этого первым делом следовало остановить проклятые челюсти. И кому, как ты думаешь, выпал жребий сделать это?

— Тебе?

— Ну разумеется! — самодовольно кивнул Потс. — Я стоял над башмаком, твердо взявшись за рукоять большого дровокольного топора. Челюсти прыгнули на меня, метя в лицо, но я сумел отбить их атаку…

— А тебе их было не жалко? — дрогнувшим голосом осведомился Дэниэл.

— Вот уж совершенно неуместное чувство! Ты пойми — это ведь не просто искусственные зубы, а челюсти-убийцы, взбунтовавшийся механизм! Не сумев вцепиться в меня, они со страшной скоростью поскакали прочь — но я настиг их, обеими руками занес карающий топор и одним ударом обуха…

— Какая потеря… — Теперь в голосе Дэниэла звучало искреннее сожаление. — Я с огромным интересом посмотрел бы на это устройство — и, уверяю тебя, не я один! Говоришь, они убийцы? Но тогда тем более незачем было рубить их насмерть при попытке к бегству, не дав ни слова сказать в свое оправдание. Следовало схватить их, поместить под замок, провести судебное расследование…

— О Боже, ты видишь, с какими дураками мне приходится иметь дело?! — громогласно воскликнул бармен. — Сам посуди: стоят ли они того, чтобы я тратил время и силы, пытаясь объяснить им…

— Ну-ка, ну-ка, о чем это вы сейчас спорите? — с любопытством произнес кто-то, неслышно подойдя к собеседникам сзади. Вздрогнув, они обернулись — и увидели рыжего верзилу. Это был хорошо знакомый обоим жестянщик Арон-

сон. В следующий миг из-за его широкой спины слева высунулся шустрый брюнет Смит, который был мелок не только как коммивояжер, а справа — Бутс, тоже весьма некрупный, но при этом совершенно седой.

— О споре и речи нет. Я стараюсь объяснить нашему общему другу, что такое изобретательство, — кисло промолвил Потс. — По правде сказать, не больно-то он усваивает сказанное…

— А, ерунда все это, — махнул рукой Смит. — Всякую ерунду они выдумывают, а вот чтобы изобрести что-то полезное — так у них кишка тонка. К примеру, аэропланы изобрели… Ну и к чему это? Одни неудобства: идешь себе по улице и вдруг — бац, бум, хрусть! — тебе на голову валится этот, как его, аэропланщик, вместе со своим аппаратом тяжелее воздуха…[26]

— Не могу согласиться, — с подчеркнутой холодноватой вежливостью возразил бармен. — Среди изобретателей есть очень толковые люди — и их деятельность приносит человечеству несомненную пользу. Да, Счастливчик Питер

---

[26] Примечания: 26

На тот момент в Америке были считаные единицы действовавших аэропланов — а история авиационных катастроф насчитывала ровно один случай. Тем не менее падкая на сенсации пресса «раздула» его так, что обыватели, выходя из дома, действительно с опаской поглядывали в воздух.

сконструировал никуда не годное устройство — но есть и другие. К примеру, мой знакомый Беверли, который изобрел козла.

— Кого? — изумился коммивояжер.

— Служебного сторожевого козла. Разумеется, механического.

— Отказываюсь в это верить! — решительно заявил Смит. — Живые козлы не входят в число служебных животных — следовательно, простая логика подсказывает нам, что для механического козла этот путь тем более закрыт.

— О, козел! — ностальгически прошамкал Бутс. — У нас как-то был козел — наша семья в ту пору жила на ферме… я еще совсем мальцом был… Ох он и бросался на всех — и на бродяг, и на соседей… только с нами, детворой, был добр, а с нашими родителями так просто учтив…

Старый сапожник не заметил, как бармен поднялся со скамейки и решительно нахлобучил шляпу, явно намереваясь уходить. Однако это заметил Аронсон.

— Ну-ну, эта история может подождать, — примирительно произнес он. — Наш друг, мистер Потс, как раз начал рассказ про совсем другого козла. Давайте сперва дослушаем его.

Бармен, только этого и ждавший, тут же раз-

думал уходить. Он немедленно снял шляпу, опустился на скамью и продолжил:

— Мой друг Беверли — не фермер, но он живет в загородном особняке с прилегающим участком, на котором есть сад и овощные грядки. Разумеется, все это, особенно в пору созревания урожая, сильно страдало от мелких воришек, да и просто бродяг. А вокруг владений Беверли расположены настоящие фермы — и как-то раз мой друг увидел прелюбопытную сцену: бродяга, сунувшийся было за ограду одной из этих ферм, был изгнан оттуда фермерским козлом. Причем рогатый не ограничился тем, что выставил чужака за пределы своей вотчины: нет, он еще долго гнал его по дороге, пока тот наконец не свалился у обочины, физически отделавшись лишь синяками и ссадинами, но измученный и перепуганный донельзя. Беверли подошел к этому оборванцу и поговорил с ним. Выяснилось, что козлов бродяги боятся куда больше, чем собак, — и всячески избегают нарушать границы тех владений, которые патрулируют такие вот рогатые-бородатые стражи. Эти слова немедленно подтолкнули изобретательскую мысль моего друга в нужном направлении: он решил создать механического козла.

— А почему бы ему не купить обычного? — оза-

даченно поинтересовался Дэниэл.

— Вот так всегда! — Потс с досадой хлопнул себя по коленям. — Разве не ты только что так восхищался механическими челюстями Счастливчика — и тогда-то у тебя не возникло вопроса: «А почему бы ему не жевать своими зубами?» Да, будь на месте Беверли ты, то купил бы живого козла, двух козлов, целое стадо; но мой друг Беверли рассудил, что это связано с рядом неудобств. Во-первых, в усадьбу не каждый день проникают бродяги — а при отсутствии оных живой козел с по-настоящему сторожевым темпераментом может сосредоточить свою активность на домочадцах и гостях…

— А во-вторых?

— Поэтому Беверли задумался о необходимости сконструировать заводного козла, — Потс проигнорировал вопрос, — который бросался бы в атаку только после нажатия кнопки, а все остальное время его можно было бы хранить в чулане или садовой сторожке. Итак, он заказал все необходимые материалы, нанял двух искусных механиков — и сам, тоже будучи выдающимся механиком, то руководил ими, то работал с ними наравне. Ему хотелось создать не просто скакательно-бодательный аппарат на пружинном

ходу, а добиться его максимального сходства с настоящим козлом! Для этого он, в качестве временного шага, сделал именно то, что собирался сделать ты, Дэн: купил обычного козла в качестве образца для сравнений. Вскоре Беверли, при всей своей требовательности, признал: он добился впечатляющего успеха. И на бегу, и в момент удара рогами его механический козел вел себя как живой. На испытаниях, когда он атаковал набитое соломой чучело в костюме бродяги… А, гм, я, кажется, забыл сказать: Беверли установил особый регулятор длины пробега — и когда козел галопом пролетал эту дистанцию, он вставал на дыбы и наносил удар рогами; ну и потом несся дальше, теперь уже бодаясь при каждом новом скачке, как бы продолжая выпроваживать улепетывающего бродягу. Так вот, соломенное чучело он подбрасывал с такой силой, что как-то раз оно застряло в ветвях яблони!

— Ну и ну! — заметил коммивояжер. — Что-то я не видал в продаже таких вот автоматических козлов! Или ваш достопочтенный друг закончил жизнь в сумасшедшем доме, прежде чем оформить патент?

— Мистер Беверли жив и благополучен, — сухо ответствовал бармен. — Но патент он действи-

тельно не оформил, и в серию эта замечательная модель не пошла. Как раз в миг высочайшего триумфа его постигло прискорбное фиаско. Я уже говорил вам, что в качестве, гм, натурщика он использовал настоящего козла. На ранних этапах это не вызывало у последнего никакого интереса: аппарат был еще совсем не похож на него. Но чем дальше продвигалась работа, тем сильней натурщик начинал проявлять беспокойство, а когда механический козел пускался вскачь, живого, от греха подальше, приходилось привязывать к дереву. Катастрофа случилась во время заключительного испытания, когда козел-автомат уже был похож на свой прототип как две капли воды: обтянутый настоящей козлиной шкурой, со злобно сверкающими стеклянными глазами… представьте, они даже мигали: Беверли, стремясь к совершенству, встроил в голову своего аппарата механизм, ответственный за движение век. Теперь оставалось только окончательно сверить его движения в момент атаки с тем, как действует в такие мгновения козел во плоти. Да, тот самый прототип. Злить его было совершенно излишне: он и так буквально кипел от ярости. Мой друг удлинил ему привязь, чтобы позволить животному не только встать на дыбы перед ударом, но

и предварительно взять хороший разбег. После чего механизм искусственного козла завели с таким расчетом, чтобы он остановился, лишь чуть-чуть не добежав до той точки, куда может дотянуться разъяренный козел-натурщик. Кнопка была нажата, механический козел поскакал к своему прототипу-противнику, тот рванулся навстречу — и сделал это с такой силой, что веревка лопнула. В это роковое мгновение изобретатель проявил подлинное величие духа: он шагнул вперед и, встав между несущимися друг на друга козлами, широко расставил руки, защищая свое творение, свое детище. В следующий миг…

— Скверно… — желчным голосом произнес Смит.

— Что? — Потс, сбившись с мысли, уставился на него в полном изумлении.

— Скверно поступил ваш друг! — объяснил коммивояжер. — Причем не тогда, а раньше. Лишать козла свободы действий, привязывать его, держать в состоянии ярости… Куда только смотрело Общество защиты животных? За такие дела полагается изрядный штраф, сэр!

— Общество защиты животных? Это что за зверь такой? — фыркнул старый сапожник. — Сроду оно никого ни от чего не защищало:

устраивает собачьи приюты, а бедные псы там маются голодом, и кошки тоже, и…

— Попрошу вас не оскорблять Общество защиты животных, сэр! — Смит выпятил узкую грудь. — Я имею честь являться его членом!

— Да это… джентльмены… дайте же мистеру Потсу рассказать… — попытался вмешаться жестянщик.

— Это точно! — с готовностью закивал Бутс. — Я вот хочу дослушать, как он доскажет про общество защиты козлов… э… от бродяг, а тут всякие перебивают!

— Да не бродяг от козлов, а животных от механизмов! — взорвался Смит. — И вообще…

— Как вижу, мой рассказ никого более не интересует, — произнес бармен, ни к кому конкретно не обращаясь. — В таком случае мне его незачем и завершать.

Он некоторое время выждал, но коммивояжер и сапожник, бурно споривше друг с другом, не обратили на его слова никакого внимания. Так что Потсу ничего не оставалось, кроме как встать и с достоинством удалиться вниз по улице.

В результате никто из участников этих событий никогда не узнал, чем же завершилась история автоматического козла.

Перевод Григория Панченко

Грант Аллен[27]. Новогодняя ночь среди мумий

Грант Аллен (1848–1899), друг и соавтор Конан Дойла, был ему дважды коллегой: как врач и как писатель. В этом последнем качестве он интересовался самыми разными жанрами, от детективов до фантастики. Его заслуженно считают одним из первооткрывателей и «сооткрывателей» нескольких перспективных направлений; характерный пример — Аллен одновременно с Уэллсом и независимо от него опубликовал повесть о путешествии во времени.

А еще он был крупным ученым и вдобавок очень свободомыслящим человеком. Кроме того, обладал отличным чувством юмора. Поэтому не стоит удивляться, что в рассказе «Новогодняя ночь среди мумий» Аллен отнесся к вопросу загробного бытия совсем иначе, чем Конан Дойл,

[27] Примечания: 27

При первой публикации рассказа автор использовал псевдоним Дж. Арбетнот Уилсон.

которому именно в этих случаях чувство юмора и «шерлокхолмсовский» скепсис постоянно отказывали.

Я немало лет провел в странствиях и скитаниях по лику Земли, и со мной, безусловно, случались всякие необыкновенные происшествия, но, уверяю вас, на мою долю еще не выпадали такие странные двадцать четыре часа, как те, что я провел год назад в огромной неисследованной пирамиде Абу-Илла.

То, как меня туда занесло, само по себе уже очень странно. Я отправился в зимнее путешествие по Египту в обществе семейства Фитцсимкинсов, с дочерью которых, Эдитой, я был на тот момент помолвлен. Вы, должно быть, помните, что старина Фитцсимкинс поначалу состоял в солидной винодельческой компании «Симкинсон и Стокоу», но когда его старший партнер удалился от дел и получил рыцарское звание, Геральдическая коллегия случайно обнаружила, что Фитцсимкинсы приблизительно во времена царствования Ричарда Первого сменили свою древнюю нормандскую фамилию на соответствующую английскую, и пожилому джентльмену тут же вернули родовое имя и герб славных

предков. Удивительно, право слово, как часто случаются в Геральдической коллегии подобные забавные совпадения.

Разумеется, мне — не имеющему ни земельных владений, ни постоянной практики адвокату, живущему на скромные проценты с южноамериканских ценных бумаг и сомнительные доходы сочинителя бурлесков, — такая перспективная партия, как Эдита Фитцсимкинс, представлялась богатым уловом. К чему скрывать, красотой девушка откровенно не блистала, но знавал я и бóльших дурнушек, которых сорок тысяч фунтов приданого превращали в настоящих принцесс, и если бы Эдита не влюбилась в меня по уши, полагаю, старина Фитцсимкинс ни за что не согласился бы на этот брак.

Однако мы так открыто и безоглядно профлиртовали весь летний сезон в Скарборо, что сэру Питеру было бы уже затруднительно разорвать наши отношения. И чтобы не упустить свою добычу, я отправился в Египет вслед за своей будущей тещей, легкие которой якобы нуждались в более мягком климате, хотя, на мой взгляд, ее дыхательным органам мог бы позавидовать любой из живущих на Земле.

Тем не менее истинная любовь протекала не

столь гладко, как ожидалось. Эдита считала меня недостаточно страстным для преданного поклонника и в самый последний вечер старого года устроила мне сцену из-за того, что я в сопровождении нашего гида улизнул с парохода, чтобы насладиться пленительным представлением прелестных гавази — девушек-танцовщиц из соседнего городка. Одному богу известно, как Эдита узнала об этом, потому что я дал негодяю Димитри пять гиней, чтобы он держал язык за зубами. Однако она все же узнала и предпочла расценить случившееся как ужасное преступление, смертный грех, который могло искупить лишь трехдневное униженное покаяние.

В ту ночь я улегся спать в гамаке на палубе, отнюдь не в самом благодушном настроении. Мы пришвартовались возле Абу-Илла — самой зловонной дыры между порогами и дельтой. Москиты свирепствовали сильней, чем обычно в Египте, а это уже говорит о многом. Даже посреди ночи стояла невыносимая жара, и малярия осязаемым туманом поднималась от листьев лотоса. В довершение всего, я начал опасаться, что Эдита Фитцсимкинс все же проскользнет у меня между пальцев. Я был в подавленном настроении, меня слегка лихорадило, но при этом

в памяти моей сохранились отрывочные утешительные воспоминания о прелестной маленькой гавази, чей изысканный, чудесный, пленительный, истинно восточный танец я наблюдал тем вечером.

Клянусь Юпитером, она была прекрасна. Глаза сияли, словно две полные луны, волосы лились, подобно *Penseroso* Мильтона[28], движения плавностью напоминали стихи Суинберна. Эх, если бы Эдита была хотя бы бледным подобием этой девушки! Видит бог, я влюбился в эту гавази!

Потом снова появились москиты. Вжж-вжж-вжж. Я набрасываюсь на самую крупную и громкую тварь — этакую примадонну их дьявольской оперы, убиваю ее, но место убитой тут же занимает целый десяток надоедливых певцов. На поросшей камышом отмели заунывно квакают лягушки. Становится все жарче и жарче. Наконец мое терпение лопается, я встаю, наскоро одеваюсь и спрыгиваю на берег в надежде найти себе какое-нибудь занятие.

Вдалеке за равниной стоит огромная пирамида Абу-Илла. Мы собираемся завтра подняться на ее вершину, ну а сейчас я просто прогуляюсь в ту

---

[28] Примечания: 28

Il Penseroso (*итал.* «Задумчивый») — поэма классика английской литературы Джона Мильтона (1608–1674). (*Примеч. ред.*)

сторону и все там разведаю. Я шагаю по залитым лунным светом полям, душа моя по-прежнему разрывается между Эдитой и гавази, а величественная громада древних гранитных блоков мрачно поднимается над бледным горизонтом. Все еще полусонный и не избавившийся от лихорадки, я разглядываю основание пирамиды со смутной надеждой разгадать тайну запечатанного входа, до сих пор ставившую в тупик бесчисленных исследователей и ученых-египтологов.

Блуждая вокруг пирамиды, я вспоминаю рассказ старины Геродота, похожий на страницу из «Тысячи и одной ночи», о том, как царь Рампсинит построил себе сокровищницу, один из камней в которой поворачивался на оси, подобно двери, но какой-то строитель, знавший этот секрет, воспользовался им и похитил золото из царской казны. Что, если у пирамиды есть такая же дверь? Было бы забавно отыскать это место.

Я стоял под яркой луной у северо-восточного края огромной горы, возле двенадцатого камня от угла, и тут мне в голову пришла шальная мысль, будто бы я могу повернуть этот камень, надавив с левой стороны. Я навалился всей тяжестью, пытаясь повернуть его вокруг своей оси. Сместился ли

он хотя бы на дюйм? Нет. Должно быть, это случилось лишь в моем воображении. Попробую-ка я еще раз. Теперь он определенно поддается! Мое сердце бьется все сильней, то ли от лихорадки, то ли от возбуждения, и я делаю третью попытку. Многовековой налет ржавчины сметается прочь, и камень тяжело проворачивается, открывая доступ в низкий тоннель.

Наверное, приступ безумия заставил меня зайти в заброшенный коридор без факела или хотя бы спички, но, так или иначе, я это сделал. Высота прохода позволяла идти не горбясь, и я медленно, на ощупь продвигался вперед, ощущая под рукой гладкий гранит стены, в то время как пол уходил вниз под небольшим, но равномерным уклоном. С трепетом в сердце и дрожью в ногах я прошел сорок или пятьдесят ярдов по таинственному коридору, пока каменная глыба не преградила мне дорогу. Я уже почти решил, что на сегодня достаточно, и приготовился в радостном возбуждении от совершенного открытия вернуться на пароход, как вдруг невероятное, совершенно чудесное обстоятельство полностью завладело моим вниманием.

Слабая полоска света пробивалась сквозь щель между стенами тоннеля и перегородившей его

глыбой, очерчивая едва различимый квадрат. Должно быть, внутри находилась лампа или горел костер. Что, если это еще одна дверь, подобная наружной, и она ведет в пещеру, возможно, населенную опасной бандой каких-нибудь отщепенцев? Свет определенно свидетельствовал о человеческом присутствии, однако внешняя дверь поворачивалась с такой натугой, словно ее не открывали сотни лет. Несколько мгновений я простоял в замешательстве, не решаясь прикоснуться к камню, а затем, под воздействием нового безумного порыва, изо всех сил толкнул тяжелую глыбу влево. Как и ее предшественница, она неохотно поддалась, и за ней открылся центральный зал.

До конца дней своих не забуду тот восторг и ужас, изумление и полную растерянность, что охватили меня, когда я вошел в этот словно бы заколдованный зал. Поначалу меня ослепила вспышка света, идущего от газовых струй, расположенных ровными рядами в несколько ярусов вдоль стен просторного помещения. Огромные колонны боковых нефов, щедро расписанные красными, желтыми, синими и зелеными узорами, уходили в бесконечность. Пол из полированного сиенита, отражающий сияние ламп, служил

основанием для сфинксов из красного гранита и темно-пурпурных изображений Баст — богини с кошачьей головой, облик которой был хорошо мне знаком по Лувру и Британскому музею. Но мой взгляд не задержался на этих малых чудесах, всецело поглощенный величайшим из чудес, ибо там, за столом, уставленным мемфисскими яствами, величественно восседал на троне сам египетский царь, увенчанный митрой и окруженный придворными в завитых париках.

Я остолбенел от страха и изумления, язык мой, равно как и ноги, позабыл о своем предназначении, а голова кружилась и кружилась, как в былые времена, когда экзамен на бакалавра классической филологии в Кембридже совершенно подорвал мое здоровье. Я завороженно смотрел на эту странную картину, смутно улавливая все подробности, но все же не в силах осознать истинное значение хотя бы части из них. В центре зала возвышался гранитный трон, инкрустированный золотом и слоновой костью, и на нем сидел царь в остроконечной шапке Рамзеса. Его волосы струились по плечам ровными строгими завитками. По обеим сторонам от него располагались жрецы и воины, облаченные в наряды, которые я часто замечал в наших обширных коллекциях. Им

прислуживали полуобнаженные бронзовокожие девушки в обернутых вокруг талии легких одеяниях, живописно очерчивающих их стройные ноги, как на фресках, которыми мы любовались в Карнаке и Сиене. Закутанные с головы до пят в одежды из крашеного льна дамы сидели поодаль за отдельным столом, а танцовщицы, словно старшие сестры моих вчерашних подружек гавази, принимали перед ними замысловатые позы под аккомпанемент четырехструнных арф и длинных прямых труб. Одним словом, передо мной, как во сне, разыгрывалось целое представление из жизни египетских царей, в оригинальных декорациях и с подлинными героями.

Постепенно я осознал, что хозяева были ничуть не меньше поражены появлением гостя из другого времени, чем сам гость — представшей перед ним живой панорамой. Музыка и танцы мгновенно затихли, пир прервался, а царь и его приближенные с нескрываемым удивлением поднялись, чтобы разглядеть странного пришельца.

Прошли минуты, прежде чем кто-нибудь сдвинулся с места. Наконец из скопления людей вышла девушка царственной наружности, но при этом поразительно похожая на гавази из

Абу-Иллы и отчасти напоминавшая смеющуюся египтянку на заднем плане чудесного полотна мистера Лонга[29] с последней академической выставки.

— Позволь мне спросить, кто ты такой, — произнесла она на древнеегипетском, — и зачем ты потревожил нас своим появлением?

Я и не представлял прежде, что говорю на языке иероглифов, но внезапно выяснил, что не испытываю никаких затруднений ни с пониманием вопроса, ни с ответом на него. Сказать по правде, письменный древнеегипетский язык необычайно сложен для расшифровки, но становится легким, как признание в любви, когда слетает с прелестных губ дочери фараона. На самом деле он очень похож на английскую речь, произносимую быстрым, неразборчивым шепотом с опусканием всех гласных звуков.

— Десять тысяч извинений, — смущенно проговорил я, — но мне даже в голову не приходило, что эта пирамида обитаема, иначе я не посмел бы так грубо в нее ворваться. Что же касается первого вопроса, то я английский турист, и вы можете найти мое имя на этой карточке.

---

[29] Примечания: 29

Эдвин Лонгсден Лонг (1829–1891) — английский жанровый художник и портретист, интересовавшийся Древним Египтом и археологией.

С этими словами я достал визитную карточку из бумажника, который, по счастью, положил в карман перед выходом, и с примирительной вежливостью протянул ее принцессе. Девушка внимательно ее осмотрела, но явно не поняла назначения предмета.

— Могу я, в свою очередь, узнать, в чьем августейшем присутствии случайно оказался? — продолжил я.

Один из придворных шагнул вперед и объявил хорошо поставленным голосом герольда:

— В присутствии достославного государя, Брата Солнца Тутмоса Двадцать Седьмого, царя из Восемнадцатой династии.

— Приветствуй владыку мира, — торжественно прогудел другой придворный.

Я поклонился его величеству и шагнул в зал. Вероятно, мой поклон не совпадал с древнеегипетскими стандартами вежливости, поскольку из рядов бронзовокожих прислужниц отчетливо донесся приглушенный смех. Однако царь снисходительно улыбнулся моим стараниям и, повернувшись к ближайшему вельможе, заметил невероятно сладкозвучным, исполненным сдержанного величия голосом:

— Этот чужак поистине забавен, Омбос. Он со-

всем не похож на эфиопов и прочих дикарей, но и на бледнолицых корабельщиков, что приплывают из ахейской земли за морем, тоже. Конечно, по внешности он мало от них отличается, но его необычное и совершенно безвкусное одеяние свидетельствует о принадлежности к какому-то иному варварскому племени.

Я опустил взгляд на свой жилет. На мне был клетчатый дорожный костюм цвета серой глины — последняя новинка твидовой моды, как уверял портной с Бонд-стрит, пошивший его для меня незадолго до моего отъезда. Вероятно, эти египтяне обладали на редкость странным вкусом, раз их не восхищал изящный стиль нашей мужской одежды.

— Если бы пыли под ногами вашего величества было позволено высказывать свои соображения, — вставил придворный, к которому обращался царь, — я бы отметил, что этот юноша, вероятно, заблудившийся гость из совершенно диких северных земель. Головной убор в его руке явно выдает в нем обитателя Арктики.

Я машинально снял свою круглую фетровую шляпу в ту первую минуту удивления, когда очутился среди этого странного скопления людей, да так и застыл в немного растерянной позе, нелов-

ко держа головной убор перед собой, словно щит, прикрывающий грудь.

— Пусть чужак покроет голову, — сказал царь.

— Покрой свою голову, пришлый варвар! — крикнул герольд, и я понял, что царь не обращался напрямую ни к кому, кроме высших вельмож из своего окружения.

Я надел шляпу, как от меня и требовали.

— Поистине крайне неудобная и нелепая тиара, — заметил великий Тутмос.

— Никакого сравнения с вашей благородной и восхитительной остроконечной тиарой, о Лев Египта, — ответил Омбос.

— Спроси чужака, как его зовут, — продолжал царь.

Бессмысленно было протягивать ему еще одну карточку, поэтому я громко и четко назвал себя.

— Поистине грубое и неудобопроизносимое имя, — заметил его величество своему главному казначею. — Эти дикари говорят на странных наречиях, разительно отличающихся от плавного языка Мемнона и Сесостриса[30].

Казначей согласно кивнул и трижды низко поклонился. Меня немного задело это замечание,

---

[30] Примечания: 30

Сесострис — собирательный образ великого египетского властителя, часто встречающийся у античных авторов. (*Примеч. ред.*)

и я почти уверен (хотя мне и не хотелось бы упоминать об этом в Тэмпле), что краска смущения проступила на моих щеках.

Прекрасная принцесса, все это время стоявшая рядом со мной в позе величественного спокойствия, поспешила изменить течение разговора.

— Дорогой отец, — произнесла она с почтительным поклоном, — чужаку, пусть даже и варвару, конечно же, не могут прийтись по душе эти колкие намеки по поводу его внешности и костюма. Мы должны показать ему изящество и утонченность египетской культуры. Тогда он, возможно, унесет с собой в северную глушь слабое эхо ее просвещенной красоты.

— Что за нелепица, Хатасу! — раздраженно ответил Тутмос Двадцать Седьмой. — Варвары бесчувственны и не могут оценить египетскую утонченность, подобно тому, как каркающая ворона не способна перенять величавую сдержанность священного крокодила.

— Ваше величество ошибается, — сказал я, постепенно восстанавливая самообладание и сознавая свое положение свободнорожденного англичанина при дворе иноземного деспота, хотя, должен признать, чувствовал я себя не столь уверенно, как обычно, потому что британский

консул не представлял мою страну в пирамиде. — Я английский турист, гость из высокоразвитой страны, чья цивилизация далеко превзошла грубую культуру раннего Египта. И я привык к более уважительному отношению других народов, как и подобает гражданину первой морской державы в мире.

Мой ответ произвел глубокое впечатление.

— Он обращался прямо к Брату Солнца! — в очевидном смятении воскликнул Омбос. — Должно быть, в нем течет кровь царей его племени, иначе он не осмелился бы на такое!

— А если нет, его надлежит немедленно принести в искупительную жертву Амону-Ра, — добавил мужчина, в котором я по одежде опознал жреца.

По натуре своей я порядочен и правдив, но в таких тревожных обстоятельствах позволил себе маленькую ложь, произнеся ее с беспечно-смелым видом.

— Я младший брат нашего царя, — заявил я без тени сомнения, поскольку вокруг не было никого, кто мог бы опровергнуть мои слова, и попытался успокоить свою совесть тем, что всего лишь претендую на родство с вымышленным героем.

— В таком случае, — сказал царь Тутмос куда

более радушно, — не может быть ничего предосудительного в том, что я обращаюсь прямо к тебе. Не желаешь ли ты занять место за нашим столом, рядом со мной, чтобы мы могли беседовать, не прерывая пира, который и без того продлится не слишком долго. Хатасу, дорогая моя, ты можешь сесть рядом с принцем варваров.

Садясь по правую руку от царя, я сам ощутил, как раздуваюсь до подобающих царскому высочеству размеров. Придворные заняли свои места, кубки снова пошли по кругу, бронзовокожие прислужницы перестали стоять в ряд, словно солдаты, и разглядывать мою скромную персону, а вскоре одна из них принесла мне хлеб, мясо, фрукты и финиковое вино.

Все это время я буквально сгорал от нетерпения выяснить, кем могли быть мои странные хозяева и каким образом они существовали столько веков в этом еще не исследованном зале, но вынужден был удовлетворять любопытство его величества относительно моей страны, того способа, которым я проник в пирамиду, общего положения дел в мире и еще пятидесяти тысяч подобных вопросов. Тутмос категорически отказывался верить моему многократно повторенному утверждению о том, что существующая ныне цивилизация

намного превосходит египетскую. «Ибо по твоей одежде я вижу, что ваш народ совершенно лишен вкуса и фантазии», — объяснял он. Однако царь с большим интересом выслушал мой рассказ о современном обществе, паровой машине, Рекомендательном билле, телеграфе, Гомруле[31], палате общин и других благах нашей передовой эпохи, а также краткое изложение событий европейской истории от возвышения греческой культуры до русско-турецкой войны. Наконец он почти исчерпал свои вопросы и у меня появилась возможность, в свою очередь, получить кое-какие сведения

— А теперь, — сказал я, повернувшись к очаровательной Хатасу, которую посчитал более приятным источником информации, чем ее августейший папочка, — я хотел бы узнать, кто вы такие?

— Так ты еще не понял? — воскликнула она с непритворным изумлением. — Мы же мумии.

Она сделала это ошеломляющее признание так же спокойно и равнодушно, как могла бы сказать «мы французы» или «мы американцы». Я осмотрелся и заметил за колоннами то, что раньше

---

[31] Примечания: 31

Гомруль — движение за самоуправление Ирландии на рубеже XIX и XX веков.

ускользало от моего внимания, — множество саркофагов с небрежно разложенными рядом крышками.

— Но что вы здесь делаете? — растерянно спросил я.

— Может ли такое быть, чтобы ты не знал предназначения бальзамирования? — ответила Хатасу. — Ты такой приятный и воспитанный молодой человек, но, уж прости меня за эти слова, поразительно невежественный. Мы становимся мумиями, чтобы обеспечить себе бессмертие. Раз в тысячу лет мы просыпаемся на двадцать четыре часа, снова обретаем плоть и кровь и устраиваем пир, наслаждаясь сушеными угощениями и другими приятными вещами, оставленными для нас в пирамиде. Сегодня первый день тысячелетия, и мы проснулись в шестой раз с тех пор, как нас забальзамировали.

— Шестой раз? — недоверчиво переспросил я. — Значит, вы должны были умереть шесть тысяч лет назад?

— Совершенно верно.

— Но ведь мир тогда еще не существовал! — воскликнул я с догматичной убежденностью и ужасом.

— Прости меня, принц варваров, но сегодня

первый день триста двадцать седьмого тысячелетия.

Мой догматизм получил жестокий удар. Однако я был знаком с расчетами геологов и в какой-то мере готов принять такую древность человеческой расы, а потому проглотил это утверждение без особых затруднений. К тому же, если бы такая очаровательная девушка, как Хатасу, попросила меня в тот момент стать магометанином или поклоняться устрицам, не сомневаюсь, что я бы незамедлительно так и поступил бы.

— Значит, вы просыпаетесь только на один день и одну ночь? — спросил я.

— Только на один день и одну ночь. А потом опять заснем на еще одно тысячелетие.

«Если только вас не пустят на топливо для Каирской железной дороги», — мысленно добавил я и продолжил вслух:

— Но как вы получаете эти огни?

— Пирамида построена над источником горючего газа. В одной из боковых камер устроен резервуар, в котором газ собирается всю эту тысячу лет. Проснувшись, мы сразу же открываем кран и зажигаем огонь от спички.

— Помилуй бог! — прервал я ее. — Я и не знал, что древние египтяне умели пользоваться спич-

ками.

— Ничего удивительного. «Есть многое в природе, друг Хефрен, что и не снилось нашим мудрецам», как говорил один сказитель из Фил.

Дальнейшие расспросы открыли мне все тайны этой странной усыпальницы, удерживая мой интерес до самого завершения пиршества. Затем верховный жрец торжественно встал, протянул небольшой кусок мяса священному крокодилу, с меланхоличным видом сидевшему возле покинутого саркофага, и объявил, что пир подошел к концу. Все поднялись с мест и, пройдя по длинным коридорам и боковым нефам, принялись о чем-то беседовать, собравшись в небольшие группы под яркими газовыми лампами.

Мы с Хатасу направились к наименее освещенной колоннаде и присели у мраморного фонтана с порфировым бассейном, в котором резвились рыбки (божества великой святости, как заверила меня принцесса). Не могу сказать, сколько времени мы там просидели, но помню, что разговор шел о рыбах и божествах, о египетских обычаях и египетской философии, а в особенности — о египетских любовных утехах. Последнюю тему мы оба нашли чрезвычайно интересной, и как только мы к ней приступили, ничто больше не

отвлекало нас от плавного течения беседы. Хатасу была высокой, стройной и царственной, с гладкими смуглыми руками и кожей цвета начищенной бронзы. Длинные волосы она собрала в прекрасную египетскую прическу, гармонирующую с цветом ее лица и с одеждой. Чем дольше мы говорили, тем отчаянней я влюблялся в нее, совершенно забыв о своем долге перед Эдитой Фитцсимкинс. В самом деле, чем могла пленить меня уродливая дочь богатого и вульгарного новоиспеченного рыцаря, когда передо мной сидела египетская принцесса царской крови, вне всякого сомнения благосклонно принимающая мои знаки внимания и отвечающая на них со скромной, стыдливой грацией?

Итак, я продолжал говорить Хатасу всякие обольстительные слова, а она самым очаровательным образом отгораживалась от них — если можно так выразиться, «я имею в виду вовсе не то, что имею в виду», — пока, признаюсь, мы оба не зашли так далеко в сердечном недуге, именуемом любовью, как только могут зайти юноша и девушка при первом свидании. Поэтому, когда Хатасу взглянула на свои часы — еще один механизм, изобретение которого наши любители древности не приписывали египтянам, — и

объявила, что ей осталось жить всего три часа, во всяком случае до следующего тысячелетия, я так огорчился, что вытащил носовой платок и разрыдался, словно пятилетний ребенок.

Хатасу была глубоко тронута. Благопристойность не позволяла ей утешать меня с излишним усердием, но все же она отважилась бережно убрать платок от моего лица и предложить еще один способ чуть дольше насладиться обществом друг друга.

— Предположим, — тихо проговорила она, — ты тоже станешь мумией. Будешь, как и мы, просыпаться каждую тысячу лет и, попробовав однажды, сразу поймешь, что спать целое тысячелетие столь же естественно, как и восемь часов. И конечно же, — чуть покраснев, прибавила она, — за следующие три или четыре солнечных цикла у нас хватит времени, чтобы наладить любые отношения, какие ты только пожелаешь, прежде чем наступит новая ледниковая эпоха.

Такое отношение ко времени было, несомненно, непривычным и сбивающим с толку для человека, отмеряющего его течение неделями и месяцами. Я смутно сознавал, что обязательства перед Эдитой диктуют мне нравственную необходимость вернуться во внешний мир, вместо того

чтобы стать тысячелетней мумией. К тому же оставалась еще неприятная вероятность, что тебя превратят в топливо и развеют в пространстве задолго до следующего пробуждения. Но стоило мне посмотреть на Хатасу, чьи глаза в свою очередь наполнились слезами сочувствия, как этот взгляд сделал выбор за меня. Я отбросил в сторону Эдиту, прежнюю жизнь и заботу о собаках и решил, что стану мумией.

Больше медлить мы не могли. Нам оставалось всего три часа, а процесс бальзамирования, даже в самом ускоренном варианте, занял бы целых два. Мы поспешили к верховному жрецу, который заведовал нужной нам службой. Он сразу же согласился исполнить мое желание и вкратце объяснил, какие процедуры обычно проводят с трупом.

— Трупом? — вскинулся я. — Но я ведь живой. Вы не можете забальзамировать меня живьем!

— Можем, — ответил жрец. — Под хлороформом.

— Хлороформ! — повторил я, изумляясь все сильней. — Не думал, что вы, египтяне, о нем знаете.

— Невежественный варвар! — скривил он губы в ответ. — Ты считаешь, что мудрей учителей

мира. Если бы ты был посвящен в мудрость египтян, то знал бы, что хлороформ — один из самых простых и часто применяемых обезболивающих средств.

Я тут же отдал себя в руки жреца. Он уложил меня на мягкий диван под внутренним двором, достал хлороформ и поднес к моему носу. Хатасу держала меня за руку и с беспокойством в глазах следила за моим дыханием. Священник склонился надо мной с запотевшей склянкой в руке, и я смутно уловил аромат мирры и нарда. На какой-то миг я потерял сознание, а когда после небольшого перерыва снова пришел в себя, жрец держал в руке забрызганный кровью нефритовый нож, и я почувствовал, что мне разрезали грудь. Затем он снова использовал хлороформ, а Хатасу нежно сжала мою ладонь. А дальше вся картина померкла перед моими глазами и я провалился в казавшийся бесконечным сон.

Первые впечатления после пробуждения заставили меня поверить, что тысяча лет миновала и я вернулся к жизни, чтобы пировать вместе с Хатасу и Тутмосом в пирамиде Абу-Илла. Но, поразмыслив хорошенько и осмотрев обстановку, я убедился, что лежу в спальне отеля «Шеппард» в Каире. Вместо жреца надо мной склонилась

медицинская сестра, но я не заметил никаких признаков присутствия Эдиты Фитцсимкинс. Когда же я вознамерился выяснить свое местоположение, мне решительно заявили, что я только что оправился от жестокой лихорадки и потому разговаривать мне запрещено, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Чем завершилось мое ночное приключение, я узнал лишь несколько недель спустя. Не обнаружив меня поутру на пароходе, Фитцсимкинсы поначалу решили, что я сошел на берег для ранней прогулки. Но после того, как прошло время завтрака, ланча и обеда, они начали беспокоиться и разослали людей во все стороны на мои поиски. Кто-то из разведчиков случайно проходил мимо пирамиды и заметил, что один камень у северо-восточного угла развернут так, что открывает ранее неизвестный проход внутрь сооружения. Побоявшись войти туда в одиночку, он позвал своих друзей, и вместе они прошли сначала по темному коридору, затем через вторую дверь, пока не оказались в центральном зале. Там феллахи и отыскали меня. Я лежал на земле, истекая кровью из раны на груди, и к тому же пребывал в острой стадии малярийной лихорадки. Феллахи принесли меня на пароход, а Фитцсимкинсы

незамедлительно отправили в Каир, где я мог получить надлежащее лечение и уход.

Поначалу Эдита была убеждена, что я пытался покончить с собой, не в силах вынести чувства вины за причиненную ей боль, и потому решила с предельной заботливостью ухаживать за мной вплоть до моего выздоровления. Но вскоре поняла, что упоминания в бреду о некой принцессе, с которой я, очевидно, находился в неожиданно близких отношениях, помимо всего прочего, связаны и с нашим *casus belli*[32] — танцовщицами из Абу-Иллы. Но даже это испытание Эдита сумела бы вынести, приписав мое нравственное вырождение и покровительственное отношение к непристойному зрелищу первым симптомам начинающейся болезни, если бы не резкие и отнюдь не лестные намеки на ее внешность в весьма невыгодном сравнении с незнакомой принцессой… Такое она, скажу вам прямо, уже никак не могла простить и внезапно уехала вместе с родителями из Каира в Ривьеру, оставив язвительную записку, в которой обличала мое вероломство и бессердечие во всех цветах девичьей велеречивости. С тех пор я больше не

[32] Примечания: 32

Казус белли; юридический термин времен римского права, означающий формальный повод для объявления войны (*лат.*). (*Примеч. ред.*)

виделся с ней.

По возвращении в Лондон я предполагал представить в Общество древностей отчет об этом происшествии, но друзья отговорили меня по причине их явной неправдоподобности. Они утверждают, что я, скорее всего, пришел к пирамиде уже в состоянии горячки, случайно нашел вход и упал в изнеможении, добравшись до центрального зала. В ответ я бы хотел обратить внимание на три обстоятельства. Во-первых, я, вне всяких сомнений, обнаружил никому прежде не известный проход, за что получил позднее золотую медаль Хедивского общества[33], и сохранил об этом отчетливые воспоминания, ничуть не отличающиеся от воспоминаний о дальнейших событиях. Во-вторых, в моем кармане осталось кольцо Хатасу, которое я снял на память с ее пальца, перед тем как принять хлороформ. И в-третьих, жрец нанес мне рану нефритовым ножом, и шрам на груди заметен до сих пор. Абсурдную гипотезу моих друзей-медиков о том, что я якобы поранился, упав на острый край скалы, я должен сразу отмести как не достойную даже минутного рассмотрения.

---

[33] Примечания: 33

Хедив — титул вице-султана Египта в период зависимости от Османской империи (конец XIX — начало XX веков).

У меня иная теория, и состоит она в том, что жрец не успел завершить операцию; возможно, его спугнуло появление разведчиков, посланных Фитцсимкинсами, и мумии приблизительно на час раньше времени улеглись в свои саркофаги. Во всяком случае, все они уже выстроились там ровными рядами, когда феллахи вошли в зал.

К несчастью, правдивость моего рассказа можно будет подтвердить только через тысячу лет. Но поскольку один экземпляр этой книги сохранят для потомков в Британском музее, я со всей серьезностью призываю будущее человечество проверить мои слова и направить делегацию археологов к пирамиде Абу-Илла в последний день декабря две тысячи восемьсот семьдесят седьмого года. Если они не обнаружат Тутмоса и Хатасу пирующими в центральном зале в точности так, как описано в моей книге, я с легким сердцем признаю, что моя история о новогодней ночи среди мумий — не более чем пустая галлюцинация, не заслуживающая никакого доверия со стороны научного мира.

Перевод Сергея Удалина

IV. Красное и черное. Легенды коренных американцев и афро-американцев

Л. Фрэнк Баум. Зачарованный бизон

Да, это тот самый Лаймен Фрэнк Баум (1856–1919), который создал мир страны Оз с его Волшебником, Изумрудным городом, Страшилой, Железным Дровосеком и многими, многими другими. Поэтому Баума тоже можно не представлять современным читателям: прошло то время, когда мы были знакомы с ним только по «клонам» его произведений, отраженных в гораздо менее масштабном и насыщенном цикле Волкова.

Но Баум иногда уставал быть, как он сам говорил, «придворным историографом страны Оз» и создавал фантастические сказки иного рода. Часть из них базируется на европейской мифологии, часть — на преданиях коренных американцев.

В какой степени «Зачарованный бизон» является индейской легендой — конечно, литературно обработанной, но все же восходящей к фольклору Великих Равнин? Трудно сказать… С одной стороны, у Баума был длительный период знаком-

ства с этим краем, еще не переставшим быть фронтиром: первые очертания «волшебной страны», пока еще безымянной, сложились именно в те годы. С другой — индейцы большинством тогдашних поселенцев воспринимались как враги, и Баум вполне разделял эту точку зрения. С третьей — легенды и предания порой, незаметно для участников вековечных конфликтов, перескакивают и не через такие барьеры.

Так что перед нами, видимо, «синтетическая легенда»: предания *краснокожих*, увиденные глазами *бледнолицего* и не просто записанные, но заново написанные его рукой.

Этот рассказ повествует о царственном племени окколом, могучих бизонов, которые некогда господствовали над всей западной областью прерий. Их было семь сотен — огромных мохнатых созданий; они паслись вместе и никого не боялись. Пределы их владений были хорошо известны и индейцам, и стадам меньших бизонов, и всем диким обитателям равнин; но никто не осмеливался досаждать царственному племени

или вмешиваться в его дела.

Первым вождем племени окколом стал Дакт. Он намного превосходил сородичей свирепостью и разумом; он основал племя, он установил законы, определяющие их жизнь, и вел своих подданных сквозь войны и опасности, пока не стали они общепризнанными владыками прерий.

У Дакта, конечно, были враги, даже среди родичей. Когда вождь состарился, в народе стали поговаривать, будто вступил он в союз с Пагшатом, злым духом прерий; но этим лживым наветам мало кто верил, ну а те, кто поверил, лишь еще больше стали бояться Дакта.

Годы правления этого монарха были годами процветания для народа окколом. Летом их пастбища всегда изобиловали сочными травами; зимой Дакт приводил их в плодородные долины, укрытые среди гор.

Однако со временем великий вождь поседел и одряхлел. Он оставил ссоры и битвы, начал больше ценить мир; то был верный знак, что дни его сочтены. Порой он простаивал целыми часами неподвижно, по-видимому погруженный в раздумья. Он меньше заботился о своем достоинстве, сделался раздражительным; его взгляд, прежде проницательный и неотразимый, стал

туманным и застывшим.

Многие бизоны из младшего поколения, завидовавшие его царственности, дожидались, когда Дакт умрет, одни терпеливо, другие нетерпеливо. Все стадо охватило скрытое волнение. И вот, одним ясным весенним утром, когда все племя, вытянувшись цепочкой, двигалось на новые пастбища, старый вождь отстал. Когда его хватились, то отправили Баррага Быка поискать его среди холмов. Спустя час посланный возвратился; его заметили издали на просторе прерии.

— Вождь умер, — сказал Барраг Бык, спокойно приблизившись к стаду. — Старость наконец настигла его.

Окколом с любопытством глядели на него. Затем один из бизонов заметил:

— Я вижу кровь на рогах твоих, Барраг. Ты не дочиста отер их о траву.

— Старый вождь умер, — ответил Барраг, свирепо оглядываясь. — Следовательно, теперь я — вождь!

Соплеменники не вымолвили ни слова; но они сбились в плотную массу, а четыре молодых бизона встали перед Баррагом, смело глядя на претендента. Он сурово смотрел на них. Он знал, что кто-то захочет оспорить его право на власть.

Закон племени позволял любому сразиться за право быть вождем народа окколом. Но Баррага удивило, что нашлось целых четверо смельчаков, готовых посостязаться с ним.

Барраг Бык, несомненно, был виновен в трусливом деянии: он пролил кровь ослабевшего от старости вождя и ускорил его смерть. Но сражаться он умел — и сражение началось. Один за другим могучие молодые бойцы были повержены. Народ следил за поединками с горячим интересом. Барраг не был популярен среди сородичей, но они не могли не восхищаться его отвагой и ловкостью. Зрителям казалось, будто некие незримые силы вдохновляют его и одаряют мощью воистину чудесной. В толпе возник испуганный шепот, имя ужасного Пагшата слышалось то там, то тут.

Когда последний из четырех бросивших вызов бойцов, гордость половины племени, пал к ногам торжествующего Баррага, победитель повернулся к толпе и вскричал:

— Отныне я — вождь народа окколом! Кто осмелится оспорить мое право на власть?

На мгновение настала тишина. Затем свежий молодой голос воскликнул: «Я осмелюсь!» Красивый юный бизон-подросток медленно вышел из

толпы, остановился перед Баррагом и гордо взглянул на него. Возгласы протеста послышались из толпы, сперва глухие, они вскоре превратились в рев. Шум еще не утих, когда мать юноши бросилась к нему, рыдая от любви и страха.

— Нет, нет, Окену! — умоляла она в отчаянии. — Откажись от поединка, дитя мое. Ты умрешь! Видишь: Барраг вдвое больше тебя. Пусть он правит нашим народом!

— Но ведь я — сын вождя Дакта и способен править вместо него, — возразил Окену, горделиво вскинув голову. — Этот Барраг — самозванец! В жилах его нет ни капли царской крови.

— Но он вдвое больше тебя! — простонала мать, почти обезумев от ужаса. — Они со злым духом — союзники. Биться с ним значит проиграть и погибнуть!

— Он убийца! — настаивал юный бизон, пронзая Баррага жгучим взглядом. — Он убил вождя, моего отца!

— Хватит! — взревел претендент. — Я готов заткнуть глотку этому детенышу вождя. Выходи на бой!

— Нет! — сказал старый бизон, выйдя из рядов стада. — Окену не будет биться сегодня. Он слишком молод, чтобы противостоять могучему

Баррагу. Но он возмужает, возрастут и тело его, и сила; и когда он сравняется с тобою, тогда пусть выходит на бой за право наследовать власть своего отца над народом окколом. А тем временем пусть Барраг правит нами!

Племя отозвалось возгласами одобрения, поднялась сумятица, и вдова вождя сумела вытолкнуть своего храброго сына из толпы и увести подальше.

Барраг стал вождем. Он надменно принимал знаки покорности от окколом — самого могущественного из бизоньих племен. Его амбиции были наконец удовлетворены; его козни привели к успеху. Продемонстрированная им сверхъестественная сила заставила отступить всех несогласных. Барраг стал вождем…

Новый правитель увел своих подданных с поля, где произошла схватка, на свежие пастбища. И все же в сердце у него угнездилась тревога. Замыслив укоротить срок жизни грозного старого вождя, Барраг забыл о его сыне Окену, принце-наследнике. Конечно, Окену был просто юнцом, неопытным подростком. Однако тот темный яростный взгляд, которым он пронзил убийцу своего отца, запомнился Баррагу и причинял смутное беспокойство. Юноша подрастал и обе-

щал со временем стать таким же красивым и могучим, каким был сам Дакт. А когда он вырастет, то обязательно захочет биться за то, чтобы возглавить племя окколом.

Барраг этого не учел.

Однажды, когда взошла луна и осветила улегшихся на отдых бизонов царственного племени, похожих на темные холмики, разбросанные по прерии, новый вождь тихо поднялся на ноги и удалился, бесшумно ступая. Он шагал медленно, украдкой, пока не перевалил через первую гряду покатых холмов; затем он пустился быстрой рысью и так покрыл много лиг всего за пару часов.

Наконец Барраг достиг громадной скалы, возвышавшейся над равниной, как башня. Ее вершина была зазубрена, склоны иссечены трещинами и расщелинами; немного поколебавшись, вождь выбрал одно из отверстий и смело вошел в черную тень. Вскоре расщелина превратилась в туннель, но Барраг шел дальше, нащупывая путь в темноте передними ногами. Потом впереди забрезжил крошечный огонек. Барраг направился к нему и вскоре оказался в обширной пещере, таившейся в недрах горы. Неровные стены были черными, как смола, но блестели от света, исходившего от невидимого источника; его неяркие,

но внушавшие страх лучи озаряли всю пещеру.

Здесь Барраг остановился и произнес громким голосом:

— Приветствую тебя, о Пагшат, злой дух прерий! Все произошло так, как ты предсказывал. Великий Дакт мертв, а я, Барраг Бык, правлю народом окколом.

Несколько мгновений царила мертвая тишина. Затем Голос, важный и гулкий, ответил на бизоньем языке: «Это хорошо!»

— Но не все трудности уже позади, — продолжал Барраг. — У старого вождя остался сын, отважный юноша, еще подросток, который вздумал сразиться со мною. Но старейшины племени велели ему подождать, пока он вырастет и окрепнет. Скажи мне, сможет ли тогда наследник Окену победить меня?

— Он сможет, — ответил Голос.

— Что же мне делать? — спросил вождь. — Разве не обещал ты мне, что власть моя будет прочна?

— Я обещал только сделать тебя вождем племени — и ты им стал. Далее ты должен сам о себе заботиться, — возразил злой дух. — Все же, поскольку ты теперь мой раб, я окажу тебе еще одну милость — ты сможешь устранить своего недруга чарами.

— Как же я смогу сделать это? — спросил обрадованный Барраг.

— Я снабжу тебя необходимым средством, — был ответ. — Склони свою голову, и между твоими рогами я распылю волшебный порошок.

Барраг повиновался.

— Что дальше? — поинтересовался он нетерпеливо.

— Дальше, — откликнулся невидимый Голос, — ты должен хорошо усвоить мои указания. Ты заколдуешь юного наследника и превратишь из бизона в какое-нибудь мелкое жалкое животное. Итак, завтра ты должен выбрать подходящее место для водопоя, и прежде чем твои соплеменники придут пить, потряси хорошенько головой над водою, так, чтобы порошок просыпался. В то же время сосредоточь свои мысли на том животном, в которое ты желаешь превратить принца-наследника. Затем дай ему напиться из источника, и превращение тотчас же произойдет.

— Это очень просто, — сказал Барраг. — Порошок уже у меня между рогами?

— Да, — ответил Голос.

— Тогда будь здрав, о Пагшат!

Вождь на ощупь пробрался по тоннелю от пещеры злого духа до выхода, вернулся в прерию

и потихоньку — чтобы не растрясти волшебный порошок — побежал обратно к спящему стаду.

Неподалеку от места ночевки дорогу вождю внезапно преградила пантера, гибкая, ловкая и черная, как уголь, но Барраг быстрым ударом своего копыта пробил хищнице череп. «Жалкие существа эти пантеры, — размышлял вождь, отыскивая себе местечко для сна среди сородичей. — Пожалуй, стоит превратить юнца Окену в черную пантеру».

Обладая огромной силой, он утратил чувство опасности и забыл, что взрослая пантера — самый страшный враг его племени[34].

На рассвете вождь повел царственное племя окколом к маленькому источнику посреди плодородной долины, из которого вытекал ручеек с прозрачной прохладной водой.

Вождь имел право напиться первым, но Барраг, склонившись над ручьем, резко тряхнул головой и отступил в сторону.

— Подойдите! Я хочу доказать, что ни к кому не питаю зла, — коварно произнес он, обратившись

---

[34] Примечания: 34

Пантеры в Америке не водятся, но так порой называют пуму. Однако вряд ли уроженец Великих Равнин, будь он белым или индейцем, мог бы всерьез считать пуму достойным противником взрослого бизона. Похоже, тут сказалось «городское» прошлое Баума, предшествующую жизнь проведшего в цивилизованных краях.

к соплеменникам. — Окену — старший сын покойного, но почитаемого нами вождя Дакта. Я не хочу лишать его законных прав. Пусть Окену, как принц-наследник, напьется первым!

Выслушав эти слова, старейшины удивленно переглянулись. Барраг Бык не склонен был уступать кому бы то ни было. Однако царственной вдове польстило внимание, оказанное ее сыну, и она поспешно подтолкнула его вперед. И вот Окену горделиво подошел к источнику и стал пить, а Барраг тем временем старательно думал о черной пантере.

Еще миг — и ропот ужаса и изумления пробежал по рядам царственного племени, ибо тело Окену внезапно исчезло, а на его месте появилась скорченная фигура дрожащей испуганной пантеры.

— Смерть хищнику! — взревел Барраг, бросившись к пантере.

Он уже занес свое раздвоенное копыто, чтобы сокрушить череп пантеры. И вдруг — прыжок, словно черная стрела мелькнула в воздухе, и пантера очутилась на плечах Баррага. Мощные челюсти сомкнулись на загривке бизона, острые зубы глубоко вонзились в плоть.

Крича от боли и испуга, вождь встал на дыбы,

пытаясь стряхнуть мучителя, но пантера держалась цепко. И снова взвился Барраг, крутясь из стороны в сторону, выпучив глаза, шумно и быстро дыша; его большое тело содрогалось.

Соплеменники в страхе следили за схваткой. Они видели, как вождь падает на колени и катается по траве; видели, как тот встает, но противник по-прежнему цеплялся за его спину клыками и когтями; они слышали стон отчаяния, вырвавшийся у их предводителя, а в следующее мгновение Барраг помчался прочь, будто стрела, выпущенная из лука, и его ужасные вопли мало-помалу затихли вдали.

Прерия обширна, и просторы ее пустынны. Стервятник, парящий на распростертых крыльях, с тревогой наблюдал за бегством Баррага Быка, который час за часом мчался в сторону юга — единственная движущаяся фигура на всем этом бескрайнем пространстве.

Солнце склонилось к земле и скрылось за краем прерии. Сгустились сумерки, потом настала ночь. А черная тень, прыжок за прыжком, все металась во мраке, как безумная. Шакалы, бродившие в поисках добычи, приостановились, заслышав учащенное прерывистое дыхание и неровный перестук копыт мчащегося бизона. Но

пока они раздумывали, бизон пробежал мимо, а безмолвная пантера по-прежнему сидела у него на плечах.

Глубокой ночью Барраг вдруг прервал молчание.

— Приди ко мне, о Пагшат, о великий злой дух, спаси меня! — выкрикнул он.

Тут же рядом с ним возник темный движущийся силуэт, подобный тени.

— Спаси меня, Пагшат! — простонал Бык. — Сокруши врага моего, освободи меня!

Ледяной шепот долетел до него:

— Не могу!

— Верни ему истинный облик, — молил Барраг, задыхаясь. — Слушай, Пагшат: это сын вождя… сосунок… малосильный! Расколдуй его, прежде чем он меня убьет!

И снова прозвучал тихий ответ, словно дуновение зимы, и ледяной озноб пробрал его до костей:

— Не могу!

Мыча от боли, Барраг все несся вперед и вперед.

— Только после твоей смерти, — продолжал Голос, — Окену станет прежним. Не раньше.

— Но разве мы не заключили с тобой дого-

вор? — вопрошал в отчаянии Барраг.

— Заключили, — сказал злой дух, — и я свою часть выполнил. Но ты еще обязан исполнить зарок.

— После смерти… только после моей смерти, Пагшат! — завопил Бык, весь дрожа.

Лишь жестокий смех был ему ответом. Лунные лучи прорвались сквозь разрыв в облаках и затопили прерию серебряным светом. Злой дух исчез, и только одинокий бизон с безмолвным, вцепившимся в него хищником вслепую бродил по бесконечной равнине.

Когда-то Барраг договорился со злым духом о даровании ему силы, и теперь обладал он силой десяти быков. В легендах не упомянуто, сколько дней и ночей носился огромный бизон по прериям с черной пантерой на загривке. Мы знаем, что видели его индейцы, и юта, и апачи, ибо об этом повествуют их легенды. Далеко на юге, на расстоянии сотен миль, жило племя команчей; многие годы эти индейцы рассказывали своим детям о Барраге Быке и о том, как злой дух прерий соблазном довел его до греха, потом предал и оставил на произвол мстителя, Черной Пантеры, то есть зачарованного сына убиенного вождя Дакта.

Да, Барраг обладал силой десяти быков, но даже и такой запас исчерпывается. Безумный бег наконец завершился. Как только Барраг упал бездыханным на травы прерии, черная пантера ослабила свою хватку и мститель обрел свой изначальный облик. Чары злого духа развеялись, и Окену, уже в природном своем виде, бросив последний взгляд на поверженного врага, повернулся головой к северу.

Много сменилось лун, пока он воссоединился с царственным племенем окколом.

С тех пор как Барраг в приступе безумия умчался на юг, племя скиталось без вождя. Они понимали, что Окену в облике черной пантеры ни в коем случае не отпустит убийцу своего отца, однако чем закончится это странное происшествие, никто из них не мог предугадать. Поэтому они остались на хорошо известных прежних пастбищах и терпеливо дожидались новостей об отсутствующих соперниках.

Прошел целый год, и вот однажды было замечено, что некий бизон движется по прерии в направлении пастбищ окколом. Он шагал гордо, с достоинством; взгляд его выражал бесстрашие, но также и мудрость. Когда он величественно вступил в круг стада, то оказался намного выше

ростом всех остальных бизонов. Царственное племя благоговейно замерло.

— Да это же старый вождь Дакт, возродившийся к жизни! — воскликнул наконец один из старейшин.

— Не совсем так, — ответил пришелец звонким голосом, — это сын, который отомстил за гибель своего отца. Взгляните на меня! Я — Окену, вождь царственного племени окколом. Осмелится ли кто-то оспорить мое право повелевать?

Ни один голос не ответил на вызов. Вместо этого все семь сотен голов склонились в безмолвном преклонении перед Окену, сыном Дакта, первого вождя народа окколом.

Перевод Алины Немировой

Мэри Истмен. Скала Девы, или Прыжок Веноны

Мэри Истмен (1818–1887) вписала свое имя в историю литературы довольно неожиданным и, пожалуй, не лучшим образом. Она была родом из знаменитой семьи, представители которой совершили множество деяний во имя Соединенных Штатов Америки еще даже до того, как те стали Штатами; но так уж вышло, что основная их деятельность развивалась на американском Юге, традиционно приверженном рабовладению. Как ни парадоксально, это не мешало южанам поддерживать более уважительные отношения с коренными американцами (индейцами), чем обычно удавалось выходцам из северных штатов.

Когда муж Мэри, художник и офицер топографической службы Сет Истмен, был назначен комендантом форта, который должен был защищать жителей Миннесоты от возможных набегов ин-

дейцев сиу, юная жена последовала за ним к новому месту службы. Обстоятельства сложились так, что следующие несколько лет стали периодом «мирного сосуществования» между сиу и гарнизоном форта, в результате чего Мэри Истмен получила возможность изучить быт индейцев. Итогом этого периода стала книга «Дакота, или Жизнь и легенды индейцев сиу», произведшая в Америке своего рода сенсацию.

К сожалению, успех этой книги (заслуженный!) был перекрыт временной, но куда более громкой славой романа «Хижина тети Филлис», который Истмен написала как «рабовладельческую агиографию», призванную противостоять «Хижине дяди Тома», созданной Гарриет Бичер-Стоу. Читатели-южане нуждались в пропагандистской литературе, доказывающей святость рабовладения и ненужность освобождения негров; такие агитки создавались во множестве — но «Тетя Филлис» стала среди них наиболее заметным явлением, на несколько десятилетий сделавшись своего рода библией

идейного расизма…

Этот факт, разумеется, Мэри Истмен не красит.

Вернемся к ее сборнику «Дакота», из которого и взята легенда о прыжке Веноны. В этой книге собрано великое множество подлинных индейских преданий, но… «Скала Девы» таковым не является: все ссылки на рассказчиков, очевидцев и отличие версий, бытующих у разных племен, — художественный вымысел, литературная мистификация! Даже имени такого у сиу нет. «Венона» на их языке — прозвище, которое означает «девочка-первенец», «первородная дочь».

Вместе с тем именно эта романтическая легенда стала самой известной в сборнике. По сей день туристам показывают скалу, с которой якобы бросилась «индейская принцесса», а поскольку история Веноны в пересказах вернулась к индейцам и стала частью фольклора нескольких племен, то каждое из них склонно водить туристов к своей скале и называть будто бы спрыгнувшую оттуда девушку дочерью своего вождя…

Но если с верной своим белым хозяевам рабыней тетей Филлис все понятно (сработала фамильная, клановая солидарность с плантаторским Югом), то зачем все-таки Истмен понадобилось создавать Венону?

Ответ можно угадать, обратившись к истории первого брака ее мужа. За пять лет до того, как познакомиться с Мэри, Сет проходил службу во все том же форте Снеллинг. Там он был женат «индейским браком» (такая форма союза в ту пору практиковалась) на девушке из племени сиу, дочери вождя; имя ее звучало как Вакан Инаджин-Вин, а семейное прозвище — Венона, потому что она была первородной дочерью. У них родилась дочь, официальное «белое» имя которой было Мэри Истмен (!), индейское имя — Вакантакавин… но в семье ее тоже звали Венона.

Через два года, когда Сета Истмена перевели на другое место службы, этот брак автоматически прервался, что тоже было для того времени в порядке вещей, хотя он, конечно, складывался не в пользу ин-

дейской семьи. Еще через несколько лет офицер вернулся в тот же форт с белой женой. Это уже трудно назвать обычным поступком… но все же он не вызвал нареканий ни у его белых сослуживцев, ни у сиу.

Трудно сказать, как оценивала сложившуюся ситуацию сама Мэри Истмен-«вторая», от которой ее «индейские родственники» ничего не скрывали, как, впрочем, и муж. Похоже, в придуманной ей легенде она сознательно «смоделировала» другой исход этой истории, тем самым превратив ее в параллельную реальность, более стойкую, чем подлинные события. Поэтому остается только солидаризоваться с ее словами: «Никто не сможет доказать, что предание — или мой пересказ — неправдивы».

Озеро Пепин[35] представляет собой расширение реки Миссисипи. Оно имеет около двадцати

[35] Примечания: 35

Озеро Пепин (2 мили в ширину, 22 мили в длину) названо в честь француза Жана Пепена (Jean Pepin), одного из первых европейцев, разведавших эти места, который поселился на его берегах около 1680 г. Начиная с 1840-х годов по водам озера стали сплавлять древесину на паровых судах.

миль в длину и одну-две мили в ширину.

Берега его голые и пустынные. В озере нет быстрых течений, но при сильном ветре оно опасно для паровых судов. Оно неглубоко и изобилует рыбой, в особенности осетром. На берегах путешественник может собрать белые и красные агаты, порой встречаются и образцы с золотистыми прожилками. Влюбленный кавалер, читая девиз, оттиснутый на письме дамы его сердца, и не подозревает, что камень для печатки был найден на берегах озера Пепин.

На южной оконечности озера в Миссисипи впадает река Чиппева[36].

Скала Девы — это высокий обрыв, как бы нависший над водой. С этой скалой связано одно из интереснейших преданий индейцев сиу.

Правда, эта история хорошо известна. Почти все мы читали ее раз десять, притом в весьма различных пересказах. Одни передают речь девы, произнесенную с вершины скалы, не менее

---

[36] Примечания: 36

Место действия описано автором топографически точно, но не без погрешностей. Регион, включающий озеро Пепин, реки Чиппева и Сент-Круа, находится на границе между современными штатами Миннесота и Висконсин. Чиппева — это приток, длиной в 153 мили, реки Миннесоты, правого притока Миссисипи, а вот Сент-Круа, 169 миль, впадает прямо в Миссисипи гораздо ниже по ее течению. Эти цифры показывают масштаб расстояний, которые преодолевали индейцы в своих походах.

длинную, чем приветственный адрес на университетских торжествах. Другие утверждают, будто она упала в воду, между тем как взаимное расположение скалы и реки исключают такую возможность[37].

Некоторые авторы, кроме того, считают, что героиня легенды принадлежала к племени виннебаго. Это ошибка, дева была родом из народа дакота.

Именно от индейцев дакота я услышала эту историю, и они уверены, что это подлинное происшествие. Они оскорбятся, если вы предположите, что это выдумка. Они даже вычислили его дату на основании перечня великих битв или других достойных памяти событий.

А теперь пора мне браться за рассказ — и я надеюсь, что сумею передать ту страсть, ту яркость эмоций, которые вложила в свои слова рассказчица — старая знахарка.

---

[37] Примечания: 37

Скала Девы — реально существующий природный объект, расположенный к югу от поселка того же имени (около 600 жителей, Висконсин). У подножия скалы установлена мемориальная доска, объясняющая происхождение обоих названий. Верхняя часть утеса действительно образует выступ, но ниже, метров на тридцать или больше, до самого озера тянется пологий склон. К тому же он сплошь зарос лесом. Упасть с выступа дева могла, но далеко бы не полетела, да и увидеть это (если заросли имелись и тогда) родичи не смогли бы.

Около ста пятидесяти лет назад один из родов дакота, в том числе и семья Веноны, проживал поблизости от форта Снеллинг. Их селение располагалось на том месте, где ныне обосновался род Доброй Дороги[38].

Все они тогда готовились к походу в низовья озера Пепин, чтобы поохотиться на дикобразов. Эти животные в большой цене у дакота; мясо дикобразов считается деликатесом, а иглы нужны женщинам для украшения мужской одежды, мокасин и многих других вещей из их обихода. А в селении том жила девушка, к которой многократно сватался воин-дакота; однако она ненавидела его столь же сильно, как любила его соперника.

Девушка не осмеливалась стать женой своего избранника, ибо понимала, что тем самым на-

---

[38] Примечания: 38

Форт Снеллинг — опорный пункт американской армии в период вооруженного конфликта между США и Великобританией, на стороне которой воевали многие племена индейцев. В 1805 г. по договору с вождями дакота был приобретен большой участок земли, и на нем к 1819 г. были возведены два укрепления у слияния Миссисипи с реками Миннесота и Сент-Круа. Форт, возвышающийся на вершине холма, носит имя офицера, руководившего его постройкой. Гарнизон в разное время составлял от 80 до 300 человек. Индейцы считали эту местность «центром земли», но воспоминания (впрочем, относящиеся к более поздним десятилетиям) с ней связаны тяжелые. Во время восстания племен дакота-сиу в 1862 г. здесь был устроен лагерь, куда загнали 1658 женщин, детей и стариков дакота, чтобы заставить их воинов сложить оружие. Больше половины из пленников за зиму погибли от холода, голода и болезней.

влечет на него и на себя преследования своей семьи. Она заявила, что никогда не согласится выйти замуж за человека, которого избрали для нее родители, хотя он был молод, отважен и, что особенно ценится друзьями индейских девушек, прослыл лучшим охотником.

— Выходи за него, дочь моя, — говаривала мать, — отец твой уже стар, он больше не может добывать оленей для нас с тобой, и откуда же нам взять еду? Часкэ же будет охотиться на оленей и бизонов, и мы заживем спокойно и счастливо.

— Да, — твердил отец, — твоя мать верно говорит. Часкэ также великий воин. Когда погиб твой брат, разве не он убил его злейшего врага и повесил скальп над его могилой?

Но Венона упорствовала. «Я не люблю его и не пойду за него», — таков был ее неизменный ответ.

Однако Часкэ, надеясь на время и на влияние родителей, не опускал руки. Он добывал дичь и обеспечивал все нужды семьи. Кроме того, он дважды давал выкуп за невесту, согласно индейскому обычаю.

Он дарил ее родителям сукно и одеяла, набивные ситцы и ружья. Девушка умоляла отца и мать не принимать подарков, но влюбленный юноша

отказывался забрать дары, и в конце концов их оставили в вигваме.

Перед тем как отправиться на охоту, Часкэ явился снова, и опять с богатыми дарами; там было все необходимое для походной жизни, и взамен он получил твердое обещание, что дева будет отдана ему в жены.

Понимая, что сопротивляться бесполезно, она притворилась, будто согласна подчиниться судьбе. Когда их отряд встал лагерем напротив Скалы Девы, чтобы отдохнуть после похода, охотники решили пройти дальше вниз по реке. Они переправились на тот берег и расселись почти под самым обрывом. Следом за ними начали переправляться на лодках женщины. Внезапно одна из них громко вскрикнула. То была старуха, мать Веноны.

Ее лодка уже достигла берега, а она все вопила не переставая, глядя на выступ скалы.

Индейцы, недоумевая, спросили у старухи, что случилось.

— Неужели вы не видите мою дочь? — ответила мать. — Она стоит на самом краю обрыва!

И впрямь, Венона была там и пела громко и яростно погребальную песнь, призывая Духа Скал; стояла она на том опасном месте спокойно,

даже беззаботно, словно не замечая волнения внизу и ужаса, охватившего ее друзей.

Как только охотники разглядели девушку, они бросились к скале и стали карабкаться по крутому склону вверх, а родители звали ее и умоляли отойти от края обрыва.

— Спускайся к нам, милое дитя! — кричали они. — Не губи свою жизнь! Ты убьешь и нас, ведь нет у нас больше никого, кроме тебя!

Завершив песнь, дева ответила родителям:

— Вы сами заставили меня покинуть вас. Я всегда была хорошей дочерью, слушалась, не перечила вам; и если бы я могла выйти замуж за того, кого люблю, то была бы счастлива и никогда не покинула бы вас. Но вы жестоко обошлись со мною; вы прогнали моего возлюбленного из нашего вигвама и заставляли меня стать женой человека, мне ненавистного. Поэтому я ухожу в обитель духов.

К этому времени охотники подобрались уже совсем близко к Веноне. Она обернулась, посмотрела на них с презрительной улыбкой, как бы предвещая, что их усилия пропадут втуне. И стоило им подойти к девушке вплотную и протянуть руки, чтобы оттащить ее от опасной черты, как она бросилась вниз со скалы.

Ударившись о выступающий камень, она, должно быть, сразу умерла, потому что дальше падала, как мертвая птица; вслед ей летели сверху крики охотников, а снизу взлетали вопли женщин.

Тело Веноны обрядили в ее лучшие одежды, уложили на погребальный помост, а потом похоронили. Однако в народе дакота поговаривают, будто дух умершей не бдит над ее бренными останками, ибо он был оскорблен тем, что она принесла несчастье своей престарелой матери и отцу.

Именно так рассказывают эту историю индейцы-дакота; почему же авторы не обращаются к ним, к первоначальному источнику этих преданий?

У нас также нет оснований сомневаться в истинности происшествия.

Года не проходит без того, чтобы мы не услышали несколько раз об очередной девушке дакота, покончившей с жизнью из-за ревности или из страха, что ее принудят выйти за нелюбимого. Совсем недавно молоденькая девушка предпочла повеситься, нежели стать женой человека, который уже был мужем одной из ее сестер.

Родители сообщили дочери, что пообещали

отдать ее, и настаивали, чтобы она исполнила обещанное. Даже сестра не возражала, напротив, она, похоже, помогала осуществлению этого плана, чтобы заполучить в качестве соперницы не чужую женщину, а близкую родственницу.

Кончилось тем, что девушка сбежала. Влюбленный мужчина, покинув жену, пустился следом за беглянкой и вскоре нагнал ее. И снова он стал уговаривать девушку, но та по-прежнему упрямилась. Тогда он сказал, что она обязана стать его женой, а если вздумает устраивать новые каверзы, он ее убьет.

Эта угроза вроде бы подействовала: девушка изъявила согласие вернуться домой. Придя в селение, муж отправился к себе в вигвам сообщить жене, что ее сестра вернулась и теперь все готово для их брака.

Но час спустя девушка исчезла. Ее нашли висящей на дереве; так она навсегда освободилась от власти своих мучителей. А ее друзьям пришлось справлять погребальные обряды вместо свадебных.

Следует признать, что индейская девушка, доведенная до отчаяния превратностями любви, избирает весьма неромантический способ покончить со своими несчастьями. В большинстве

случаев они вешаются, хотя вокруг есть столько прекрасных озер, где они могли бы обрести более легкую смерть, да к тому же стать героиней легенды… Нет, они суют голову в петлю из потертого кожаного ремня и умирают буквально от удушья. Впрочем, тут нужно учесть вот какой момент: задумав повеситься неподалеку от селения, девушка может устроить дело так, чтобы кто-нибудь срезал ремень, если она решит пожить подольше; это случается часто, и самоубийца проживает еще лет сорок, а то и шестьдесят. И все же, когда Венона решилась покончить со своими земными горестями, у нее, несомненно, были побудительные мотивы, помимо несчастной любви.

Любовь была сильнейшей из ее страстей. Жизнь с любимым — сплошное счастье, без любимого — беспросветная тоска. Так подсказывало ей юное сердце. Но кроме того, девушка была возмущена назойливостью охотника, чьи ухаживания благосклонно принимали ее родители. Как часто уверяла она его, что скорее умрет, чем станет его женой! Он же только улыбался, как бы подчеркивая свое недоверие к словам женщины. И Венона хотела доказать ему, что ее ненависть не была притворной; с этой целью ей следовало

умереть так, чтобы он понял: она не боялась ни его, ни жестокой смерти.

Хотя родители Веноны потом горько оплакивали собственную черствость, ее возлюбленный мог восхищаться той твердостью духа, благодаря которой девушка предпочла умереть, но не дать восторжествовать его сопернику.

Место, где девушка, верная своей любви, покинула земную юдоль, стало священным. Духи витают над ним. Индеец-дакота, скользя мимо скалы в своем каноэ, не позволит себе засмеяться. Он укажет рукою на обрыв, а когда вечерние тени окутывают таинственной туманной дымкой прекрасное озеро и горы вокруг него, индейцу кажется, будто он видит руки девы, вскинутые к небу в жесте отчаяния. Кое-кто уверяет, что слышал и голос ее, когда она обращалась к духам скалы; и путник, проходящий мимо обрыва, навеки проникнется красотой этой чудесной картины и не забудет историю о прыжке любящей девы.

В народе дакота сохранились сведения о том, когда это случилось, а также о дальнейшей судьбе мужчин, оспаривавших друг у друга любовь Веноны.

Рассказывают, что вскоре после этого ее соплеменники продолжили свой путь; они добыли

дикобразов, а затем вернулись и поселились на берегу реки Сен-Круа.

Спустя некоторое время после трагической гибели Веноны ее род снова перекочевал на Миссисипи; они встали лагерем в местности, которую именуют «лесом целебных трав». Там у них умер один ребенок, и его тело уложили на погребальный помост. Около полуночи отец ребенка, охваченный горем, пришел туда и, склонившись к помосту, заплакал. Но вдруг он заметил, что за ним кто-то наблюдает. С виду незнакомец отличался от народа дакота; это встревожило скорбящего отца, и он возвратился в лагерь. Поутру он рассказал об этой странности сородичам, и они снялись и перенесли стоянку в сосновый лес.

Тело ребенка они унесли с собой, и отец снова пришел ночью, чтобы оплакать его. Та же фигура явилась ему, и снова тот человек вернулся домой встревоженный.

Утром индейцы еще раз перенесли лагерь, однако явление повторилось.

Дакота — рабы суеверий, и теперь они страшились большой беды. И опасения их оправдались, хотя и не так, как они предполагали: оказалось, что их враги устроили засаду, и с первым светом

дня целая тысяча воинов чиппева дерзко атаковала их. Шуточное ли дело: пронзительный свист, жуткий вой и воинские кличи раздались со всех сторон![39]

Громкие вопли чиппева ужаснули людей дакота, ибо застали их врасплох, и многие из них полегли при первых же ружейных выстрелах.

Щадить противника чиппева не собирались, они разили наповал. Женщины и дети бросились к своим лодкам, но враги были быстрее; и тех, кто успел забраться в каноэ, постигла та же участь, что и оставшихся на берегу.

Женщины не успели взять с собой весла, а на реке в том месте был водоворот; как только лодку отталкивали от берега, течение начинало ее крутить, и чиппева с удовольствием выловили все каноэ и втащили обратно на берег, где другие,

---

[39] Примечания: 39

Чиппева — одна из фонетических форм самоназвания племени оджибве, издавна враждовавшего с дакота. Первое упоминание о них содержится в отчетах французских миссионеров-иезуитов за 1640 г. Благодаря дружбе с французами (путешественниками и торговцами), оджибве обзавелись ружьями, стали пользоваться европейскими товарами и смогли одержать верх над народом дакота. В 1745 г. они приняли оружие, предложенное им британцами, с целью оттеснить дакота из области озер на юг и запад. К концу XVIII столетия оджибве держали под контролем почти всю территорию современных штатов Мичиган, Миннесота, северный Висконсин, а также часть Канады. Культура и образ жизни оджибве стали известны читающей публике из поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате».

вскинув томагавки, расправились с неудачливыми беглецами.

Утомившись убивать, чиппева забрали из лагеря сиу все, что им приглянулось, и отправились восвояси, уведя в плен одного юношу-дакота. Они еще не ушли далеко, когда на них напал отряд воинов-дакота. Но чиппева сумели вырваться, убив многих напавших. Один из дакота спасся, захватив лодку, и уже выплыл на простор озера Сен-Круа, когда чиппева неожиданно погнались за ним по берегу.

Мальчик, взятый в плен, понял, что ему выпал единственный шанс вырваться на свободу: прыгнув в воду, он поплыл к удаляющейся лодке, мгновенно догнал ее и забрался на борт. Оба беглеца исчезли из виду так быстро, что враги не успели достать их своими стрелами.

Лишь немногим из того отряда удалось уцелеть; один из спасшихся рассказывал, что в первый же момент вражеского нападения, поняв, что иного выхода нет, он нырнул на дно реки, и чиппева его не заметили.

Вода на дне реки оказалась очень холодной, поэтому, отплыв подальше, он рискнул добраться до более теплого слоя воды у берега, а затем вылез на сушу и убежал.

Даже этот незначительный инцидент передавался как предание от отца к сыну, и все дакота убеждены в его истинности. Согласно тому же преданию, оба поклонника и семья Веноны погибли во время той битвы. Но так или иначе, никто не сможет доказать, что предание — или мой пересказ — неправдивы.

Перевод Алины Немировой

Зиткала-Ша. Украденное дитя

Зиткала-Ша, «Красная Птица», она же Гертруда Симмонс Боннин (1876–1938), была человеком смешанного происхождения, но ее белый отец оставил семью вскоре после рождения дочери, так что девочка росла с матерью, индианкой из племени дакота-сиу, и воспринимала себя именно как сиу. Ее судьба вмещает многое: получение очень неплохого образования (чего по тем временам было трудно добиться не только краснокожей, но и белой девушке), борьба за сохранение культуры коренных американских народов, художественная литература и музыка, научные труды и педагогика, политическая активность… Пожалуй, Красной Птице тоньше, чем кому бы то ни было из ее современников, удалось ощутить те достоинства и опасности, которые таил синтез двух миров, «красного» и «белого». И пройти по этому пути дальше, чем удалось кому-либо из индейских писателей XX века (англичанин

Серая Сова[40] не в счет).

Рассказ взят из ее раннего сборника «Старые индейские легенды» (1901). Несмотря на название, книга эта представляет собой не коллекцию легенд, которые могла услышать в детстве девочка-сиу, а литературную версию преданий разных племен, собранных и обработанных Красной Птицей как молодым, но уже зрелым мастером художественного текста.

Утки летели над заболоченными озерами. Была пора охоты. Индейцы с луками и стрелами, по грудь в воде, бродили по зарослям дикого риса, подстерегая дичь[41]. Неподалеку в вигвамах женщины жарили добытых ими уток и мастерили

[40] Примечания: 40

Серая Сова (настоящее имя — Арчибальд Стэнсфелд Билэйни; 1888–1938) — канадский писатель английского происхождения, успешно выдававший себя за коренного американца. (*Примеч. ред.*)

[41] Примечания: 41

Дикий рис, или индейский рис — не родственник культурному рису. Это травянистое растение с полыми стеблями, высотой от 1 до 3 м, произрастающее на болотах. Для коренного населения Америки водяной рис издавна составлял важную часть рациона. Народ оджибве и в наши дни собирает его. Сбором природного урожая занимаются женщины. Делается это оригинальным способом: подплыв на лодке к зарослям дикого риса, одни женщины сгибают пучки стеблей и держат, пока другие отряхивают на дно лодки созревшие семена. Таким образом, заросли остаются целы, а люди сыты.

подушки.

В самом большом типи молодая мать обшивала подушку из оленьей кожи красными иглами дикобраза в виде длинной бахромы. Рядом с ней лежал черноглазый младенец, воркуя и смеясь. Он болтал в воздухе крошечными ручками и ножками, играя со свисающими лентами своего чепчика, сплошь расшитого бисером, подвешенного на шесте типи.

Наконец мать отложила в сторону красные иглы и белые нитки из жил. Малыш крепко уснул. Облокотившись одной рукой, другой она укрыла свое дитя легким одеяльцем и еле слышно спела ему колыбельную песенку. Уже близилось время, когда должен был возвратиться ее муж.

Вспомнив, что у нее не осталось дров для очага, женщина быстро затянула пояс поверх накинутого на плечи одеяла, засунула за него топорик с короткой рукоятью и поспешно направилась к заросшей лесом ложбине. Она была сильной и управлялась с топором не хуже любого мужчины. Широкое платье из оленьей замши не сковывало ее движений. Вскоре, набрав достаточно ивовых веток, она взвалила на спину вязанку и легко понесла ее, придерживая веревочной петлей, натянутой на плечи. Быстрым шагом приближа-

лась женщина к дому.

Возле входа она низко нагнулась, одним движением стащила обеими руками через голову веревочную петлю и сбросила вязанку на правую сторону. Избавившись от ноши, она скрылась в своем типи. Через мгновение она выбежала наружу с криком: «Мой сын! Мой малютка пропал!» Пронзительным взглядом окинула она восток, и запад, и все вокруг. Нигде не было ни следа ребенка.

Стиснув кулаки, мать прибежала к близлежащим типи с криком:

— Кто-нибудь видел моего мальчика? Он пропал! Сыночек мой пропал!

— Хинну! Хинну! — восклицали женщины, вскакивая на ноги и выбегая из вигвамов. — Мы не видели твоего сына! Что случилось?

Заливаясь слезами, мать поведала им свою историю и хотела уже уйти, но женщины сказали:

— Мы пойдем искать вместе с тобой!

Они вышли навстречу своим мужьям, возвращавшимся с охоты, и те присоединились к поискам пропавшего младенца. Побережье озер, заросли высокого тростника — всюду смотрели они, но тщетно. Дитя исчезло бесследно. Минуло много дней и ночей, и поиски прекратили. Тя-

жело было слышать, как отчаянно рыдает мать, сокрушаясь о своей потере.

Тем временем наступала поздняя осень. Высоко в небе птицы улетали к югу. Вокруг озер не осталось типи, кроме одного печального жилища.

До тех пор, пока зима не укрыла снегом землю и не сковала озера льдом, из этого одинокого вигвама слышался женский плач, а издалека доносился голос отца, поющего печальную песню.

* * *

Так прошло десять лет и столько же зим после странного исчезновения малыша. Каждую весну несчастные родители возвращались вместе с охотниками в эти края, чтобы снова искать его.

К концу десятой осени, когда семьи одна за другой сворачивали типи и покидали озерный край, безутешная мать все еще бродила, плача, по берегу озера. Однажды вечером блестящие черные глаза уставились на плачущую женщину с другого берега, сквозь переплет тростника и высоких стеблей дикого риса. Маленький дикий ребенок, игравший в зарослях, замер. Его длинные волосы, небрежно откинутые на загорелую спину и плечи, открывали круглое лицо. Одеждой ему служила набедренная повязка, сплетенная из

душистой травы. Припав к болотистой земле, он прислушивался к плачущему голосу. Женщина уже охрипла, теперь только беззвучные рыдания сотрясали ее стройное тело; глаза дикого мальчика затуманились слезами.

Наконец, когда стоны утихли, он вскочил и помчался, как легконогий лесной дух, к маленькой хижине из хвороста и камыша.

— Мать! Мать! — задыхаясь, выкрикнул он, вбежав внутрь. — Скажи, что за голос слышал я? Он был приятен моему слуху, но глаза мои стали мокрыми!

— Хен, сын мой, — буркнула большая уродливая жаба. — Ты слышал голос плачущей женщины. Сын мой, не говори, что он тебе понравился. Не говори мне, что он заставил тебя плакать. Ты еще никогда не слышал, как я плачу. Потешить твой слух и разбить твое сердце могу и я. Слушай же!

С этими словами большая жаба выползла из хижины и остановилась у входа. Она была стара и дышала с трудом. Она произвела на свет многочисленное потомство, но никого из своих детенышей не любила и даже не жалела. Много раз слышала она плачущий человеческий голос и дивилась, какое же горло надо иметь, чтобы издавать такие странные звуки. Теперь, горячо

желая еще хоть ненадолго удержать при себе украденное дитя, она решила подражать плачу женщины из народа дакота. Грубым хриплым голосом она завела:

— Хин-хок, замши кусок! Хин-хай, гор-но-стай! Хин-хоэ, одеяло красное, с белою каймою!

Уродливой жабе-матери было невдомек, что слоги индейских плачей — это имена их близких, ушедших в мир иной; она надеялась потешить мальчика, перечисляя ценные вещи. Вволю накричавшись душераздирающим голосом и помянув множество особенных предметов, старая жаба зажмурила свои не знающие слез глаза, очень довольная собою. Запрыгнув обратно в свой дом, она спросила:

— Сынок, вызвал ли мой голос слезы на твоих глазах? Приятны ли были твоему слуху мои слова? Понравился ли тебе мой плач больше, чем тот?

— Нет, нет! — нетерпеливо перебил ее мальчик. — Я хочу услышать голос той женщины! Скажи мне, мать, отчего человеческий голос так взволновал все мои чувства?!

Жаба-мать сказала в душе своей: «Дитя человеческое услышало и узрело свою настоящую мать. Боюсь, что я не смогу дольше удерживать

его. О нет, я не в силах отпустить это прекрасное создание, которое сама же научила называть меня матерью за столько зим».

— Мать, — снова заговорил мальчик, — объясни мне кое-что. Скажи, почему мои маленькие братья и сестры так непохожи на меня?

Большая уродливая жаба взглянула на своих пузатеньких детенышей и ответила:

— Первенец всегда лучше других.

Это объяснение на время успокоило малыша. С тех пор старая жаба-мать стала неусыпно следить за похищенным ею ребенком. Когда случалось, что он в одиночку уходил из дому, она отправляла следом за ним кого-нибудь из своих родных детей, приказывая: «Не смейте возвращаться домой без вашего большого братца!»

Итак, дикий мальчик с длинными нечесаными волосами изо дня в день часами просиживал на болотистом островке, скрытый среди высоких тростников. Но он был не один. У его ног неизменно прыгал один из его братцев-жабок. И однажды индеец-охотник, бродя по глубокой воде, заметил мальчика. Он слыхал историю о младенце, похищенном много лет назад.

— Это он! — пробормотал охотник и помчался в сторону своего вигвама, а когда увидел людей,

закричал: — Я видел черноволосого мальчика! Он играл среди высоких тростников!

И, услышав его слова, несчастные отец и мать тотчас вскричали:

— Это, наверное, наш мальчик!

Охотник повел их быстрым шагом к озеру. Раздвинув стебли дикого риса, он указал дрожащим пальцем на ребенка, который их не замечал.

— Это он! Это мой сын! — воскликнула мать. Она узнала свое дитя.

Молча отойдя в сторону, смотрел охотник, как счастливые отец и мать обнимали и ласкали своего мальчика, который уже вырос таким большим.

Перевод Алины Немировой

Зора Нил Харстон. Дядюшка Понедельник

Зора Нил Харстон (1891–1960) — не первая писательница афроамериканского происхождения, но, по-видимому, первая, бывшая при этом еще и практикующим ученым. Правда, ее вклад в науку сейчас оценивается неоднозначно. Но об этом чуть позже.

Семью Зора Нил Харстон никогда не пыталась создать, она умела оставаться в одиночестве, и это касается не только личной жизни. Ее взгляды оказывались «чужими» как для современников, вне зависимости от пола и цвета кожи, так и для нынешней *прогрессивной общественности*. Так, она не считала необходимым добиваться отмены сегрегации образования, считая, что это чревато гражданской войной, — а если так, то, значит, следует не идти до конца, а отступиться от своих требований, даже справедливых, и ждать, когда общество будет готово при-

нять их без крови. Тем временем следует повышать уровень образования в школах и университетах для черных: когда он сравняется с тем, что доступен белым, вопрос, по мнению Харстон, должен отпасть сам собой…

Харстон была первым, да, строго говоря, по сей день единственным фольклористом и антропологом, исследовавшим худу (флоридскую разновидность вуду). Но существует мнение, будто она не столько изучала его, сколько создала, вольно или невольно поспособствовав тому, что этнографические обычаи консолидировались и «осознали себя» как этническая черная магия с криминальной подоплекой. С тех пор они зажили своей жизнью, недоброй и опасной, закрытой для исследователей даже с черным цветом кожи.

Так это или нет, нам сейчас, через девяносто лет после издания работ Харстон, сказать трудно. Но «Дядюшка Понедельник» как литературное произведение — результат именно этих работ.

Люди много болтают о дядюшке Понедельнике,

но очень стараются, чтобы он об этом не узнал. Дядюшка Понедельник — знахарь-колдун. Уже одного этого достаточно, чтобы вести себя с ним осторожно, но есть еще кое-что, к худу не имеющее отношения. О нем никто ничего не знает, а это много что значит в поселении меньше чем на триста душ, особенно когда человек прожил там сорок с лишком лет.

Никто не знает, откуда он пришел и кто его семья. Никто не знает, когда именно он появился. Просто однажды утром все проснулись — а он здесь. Первым его увидал Джо Линдсей. Он ловил черепах в Лейк-Белл. А в этом озере рыбачить непросто, потому что его со всех сторон окружает мрачное болото, где полно пиявок и щитомордников. Если, направляя лодку багром, вывести ее подальше от зарослей сандарака, там много глубокой воды, да только в ней водится столько аллигаторов, что мало кто решается рискнуть половить там форель. Но Джо взял удочки, насадил на крючки наживку и забросил так далеко, как смог достать, не заходя в болото. И назавтра, едва рассвело, пришел взглянуть на улов. На каждой удочке болталось по черепашьей голове; вытаскивая их, Джо клял ограбивших его аллигаторов. Потом, по его словам, он отправился домой, но не

успел отойти от своих удочек на несколько ярдов, как что-то заставило его обернуться, и он едва не помер прямо там. Потому что со стороны озера шел старик, вышагивая между торчащими корнями сандарака. Вода там была слишком глубока, чтобы идти вброд, и потом, как сказал Джо, вброд старик не шел, а просто шагал себе, будто посуху.

Линдсей говорил, что был слишком напуган, чтобы просто стоять и ждать, пока странный человек поравняется с ним, но и с места сдвинуться тоже не мог, и потому застыл на месте и только смотрел, как он пересекает полосу болота и выходит на тропинку у Джо за спиной. Он рассказывал, что когда человек подошел ближе, у него волосы на голове встали дыбом и представился подползающий аллигатор. Но добавлял при этом, что в то утро только об аллигаторах и думал, потому что сначала слышал, как всю ночь самцы аллигаторов дрались и ревели в озере, а потом они ограбили его удочки. Ну, и кроме того, все же знают, что в Лейк-Белл живет отец всех аллигаторов.

А старик все шел прямо на него, мелко семеня, потому что ноги у него были слишком короткие, и размахивая руками в такт шагам. Линдсей говорил, что только и мог, что стоять как можно

ровнее и пытаться не показать, как же он напуган. Незнакомец подошел к нему вплотную — и пошел дальше, даже мельком не взглянув на него. Когда он уже отошел, Линдсей смог разглядеть, что на нем совершенно сухая одежда, и решил, что, должно быть, глаза обманули его. Должно быть, старик подплыл к зарослям сандарака на лодке, а потом пересек болото, прыгая с корня на корень. Он подошел поближе к болоту, чтобы взглянуть — но там не было ни одного корня, достаточно большого, чтобы на него можно было наступить. Да и лодки на озере не было.

Старик всем казался странным, но все же Линдсею никто не поверил. Все говорили, что он наверняка видел то же, что и несколько человек после него: старика, идущего со стороны озера. Таким его увидели в первый раз, было это в конце восьмидесятых, и с тех пор о его прошлом никто ничего так и не разузнал. И это всех очень беспокоит.

Было еще кое-что, неприятно поразившее местных: он никогда не спрашивал, как человека зовут или как пройти куда-нибудь. Он вел себя так, будто прожил тут всю жизнь, и всегда называл всех людей их именами, а все вещи и места в округе — их правильными названиями. К тому

же знал, кто где живет. И никогда не зарабатывал на жизнь так, как это делают нормальные деревенские. Он не ухаживал за садом, не охотился, не рыбачил и не работал на белых. Торчал день-деньской в хижине, которую выстроил сам, и бывало, что между его появлениями на людях проходило недели три.

Джо Кларк как-то узнал, что его зовут Понедельник. Просто Понедельник, ни фамилии, ни какого другого имени. Так что вскоре весь городок звал его дядюшка Понедельник.

Никто не может вспомнить, как выяснилось, что он — мастер худу. Но как-то все узнали, что именно этим он и занимается. И еще — что он очень хорош в этом. Его все побаивались, так что захаживали к нему с этим делом часто. Почаще, чем к тетушке Джуди, которая много лет не имела никакой конкуренции. И очень скоро он отбил у тетушки большинство клиентов.

Когда дядюшка Понедельник пришел в город, он выглядел очень старым, но все еще крепким. На болезни он никогда не жаловался.

Но однажды утром Эмма Лу Питман пришла к нему в хижину по делу, а вернулась, мчась во всю прыть, и рассказала леденящую душу историю. Она говорила, что заметила, как до самой двери

и дальше, по ступеням, тянется широкий след, как будто кто-то затащил внутрь тяжелое окровавленное тело. Дверь была неплотно закрыта, и она слышала, как внутри кто-то большой рычит и громко чавкает. Точнее, это был даже не рык, а басовитый вой. Она чуть приоткрыла дверь и осторожно заглянула внутрь, думая, что, может, на дядюшку Понедельника напало какое-нибудь чудовище. Она подумала, что он мог уснуть с открытой дверью и в дом пробрался леопард, или пума, или рысь. К тому же совсем рядом было озеро Блу-Синк, что значит «голубая затопленная долина», и называли это место так за дело, так что аллигатор тоже мог сюда заползти, хотя она и не слыхала, чтобы аллигаторы утаскивали кого-нибудь крупнее собаки.

Но никакого чудовища внутри не оказалось. А звуки, которые она слышала, издавал сам дядюшка Понедельник. На лежанке из лапника он бился в агонии, такой сильной, что глаза его остекленели.

Его правая рука была ужасно изранена. Ниже локтя она была буквально оторвана. Еще у него пол-лица было изрезано. Эмма Лу позвала его, но он, казалось, ее не услышал. Тогда она бросилась за кем-нибудь из мужчин, чтобы они помогли

ему. Мужчины бежали со всех ног, но их встретила хижина, запертая изнутри, а на стук никто не ответил. Миссис Питман прослыла бы страшной вруньей, кабы не кровавый след. Поэтому все решили, что дядюшка Понедельник каким-то образом сильно поранился, но смог дотащиться до дома, или его дотащил друг. Но кто мог быть этим другом?

После этого с месяц никто не видел дядюшку Понедельника. Почти каждый день кто-нибудь заглядывал к нему в надежде на новости. Но их все не было, и в городе готовы были поверить, что он исчез так же таинственно, как появился.

И вот однажды вечером, в сгущающихся сумерках, Сэм Мерчант и Джим Гуден возвращались с охоты на белок у Лейк-Белл. И они клялись, что, когда обогнули озеро и вышли на тропу, ведущую к деревне, увидели то, что приняли за огромного аллигатора, вылезающего на берег. Мерчант хотел выстрелить в него, чтобы добыть его шкуру и зубы, но Гуден напомнил ему, что их ружья заряжены дробью, которая не только не прикончит аллигатора, но и шкуру его не пробьет. И тут, по их словам, та тварь, которую они приняли за аллигатора, принялась барахтаться, стягивая с себя нечто, похожее на длинную черную перчатку. За-

тем она лапами выкопала в мягкой земле ямку и аккуратно похоронила в ней перчатку, стянутую с правой лапы. После чего, не глядя по сторонам, встала на две ноги и зашагала по направлению к поселению.

Как по городу идет дядюшка Понедельник, видели все, но переварить историю Мерчанта все же было непросто. И тем не менее со временем люди поверили, что дядюшка Понедельник мог отбросить любую раненую часть своего тела и вырастить на ее месте новую. Так или иначе, когда он снова появился, на его правой руке не было никаких шрамов.

Местные даже не уверены, способен ли он вообще умереть. Однажды Джо Кларк спросил дядюшку Понедельника:

— Дядюшка Понедельник, а тебе того, ну, не страшно жить в стороне и бродить далеко, такому-то старому?

— А почему мне должно быть страшно? — поинтересовался дядюшка Понедельник.

— Ну, прихватит тебя как-нибудь ночью, да и помрешь раньше, чем кто-то узнает, что тебе нехорошо.

И тут дядюшка Понедельник поднялся с бочонка, на котором сидел, и сказал так тихо, что

только те, кто был совсем рядом с ним, разобрали его слова:

— Я помер уже давным-давно, много лет назад. Я вернулся оттуда, куда вы все однажды придете.

И ушел прочь своей обычной семенящей походкой, размахивая руками в такт шагам.

Люди верят, что у него есть поющий камень — сильнейший оберег, какой только может быть в мире. Это бриллиант из бриллиантов, и его можно добыть лишь изо рта змеи — конечно, не обыкновенной, а совершенно особенной змеи. Поющий камень не только освещает дом своего хозяина так ярко, что не нужно больше никаких источников света, а еще и предупреждает, когда кто-нибудь приближается.

Змеи, у которых можно добыть эти камни, живут в глубинах озера Мэйтлэнд. Посреди этого озера есть крохотный островок, а на нем растет редкое растение, которым — и только им! — и питается такая змея. И она выползает на берег, чтобы поесть, только во время сильной грозы, когда ни один человек совершенно точно не окажется там и не застанет ее.

Просто убить или поймать ее невозможно. Есть только один путь: сначала девять здоровых, сильных человек должны умереть, чтобы про-

торить дорогу Предтечам, а потом еще сколько же погибнут, сражаясь со змеей. Но чтобы завладеть камнем, не обязательно ее убивать. Дело в том, что у нее два камня. Один — в голове, и его действительно не достать, не убив змею, но второй она носит во рту, и его можно заполучить, применив хитрость.

Пока камень у змеи во рту, она не может питаться. Чтобы поесть, она должна выпустить камень изо рта. Но она не может без него, ведь он предупреждает ее об опасности. И все же, выползая на берег, она срыгивает камень, зарывает его в землю и ползет на другой конец острова пообедать.

Чтобы заполучить этот бриллиант, оденьтесь полностью в черный бархат. У вас должен быть помощник, одетый так же. Еще вам следует прихватить с собой чашу, обтянутую черным бархатом. Вы должны приплыть на остров до того, как разразится гроза, а помощник должен ждать вас в лодке, готовый в любой момент грести что есть силы. Затем заберитесь на высокое дерево и ждите, пока явится змея. Выбравшись из воды, она оглядится по сторонам, чтобы убедиться, что рядом никого нет. Потом отрыгнет камень, прикроет его слоем грязи и поползет за едой.

Как только вы будете уверены, что змея занята трапезой, как можно осторожнее спуститесь с дерева, накройте холмик, под которым зарыт камень, обтянутой бархатом чашей и что есть духу бегите к лодке. Ваш помощник должен будет как можно скорее грести прочь от берега, как только вы запрыгнете. Ведь как только вы приблизитесь к камню, он зазвучит, будто колокольчики звенят, и змея услышит этот звон. Она бросится защищать свое сокровище. Но, вернувшись к тому месту, где зарыла его, не сможет его найти, потому что черный бархат скроет его от ее глаз. Тогда она начнет в ярости метаться по острову, словно ураган, сшибая своим могучим хвостом деревья. Вы же подождите ясного дня, чтобы вернуться за камнем. В хорошую погоду змея никогда не всплывает из глубин озера. Более того, потеряв свой камень, она больше никогда не сможет обедать в одиночестве. Ей придется приводить с собой товарища. Ведь поющий камень — ее защитник, и, потеряв его, змея окажется в вечной опасности, разве что рядом будет кто-то, у кого есть свой поющий камень.

Говорят, у дядюшки Понедельника есть такой камень, и именно поэтому он все знает, хотя никто ему ничего не рассказывает.

Но если поющий камень — это слухи и никто не знает точно, есть он у дядюшки Понедельника или нет, в его силе мастера худу не сомневается ни один человек из тех, кто с ним знаком. Его боятся, но именно к нему идут, когда судьба становится слишком безжалостной к тем, кто беспомощен перед ее ударами.

Мэри-Элла Шоу отказалась выйти за Джо-Натана Мосса накануне свадьбы. Джо-Натан уже успел украсить дом и заплатить за угощение для гостей. Его родня, ее родня — все пытались убедить ее выйти за него. Он любил ее без памяти, да к тому же потратил немало из своих скудных сбережений на эту свадьбу. Но Мэри-Элла просто уперлась: не пойду, и все. Ей, видите ли, приглянулся Кэдди Брютон, а она была из тех людей, кто на кого глядит, о том и думает.

И тогда мать Джо-Натана пошла к дядюшке Понедельнику. А он и говорит:

— Раз ее сердце трепещет лишь о том, кого она только что увидела, придется нам оставить все как есть, и пусть этот змеиный укус заживает сам. Иди домой. Не будет такого мужчины, который останется с ней. Даже если перед ней пройдут все мужчины мира, ни один из них не захочет остаться с ней после того, как одно полнолуние

сменит другое.

Прошло пятнадцать лет. Мэри-Элла побывала замужем четырежды. Она была очень красивой девушкой, и мужчины липли к ней, но ни один из них не продержался возле нее больше двадцати восьми дней. Не только четверо ее мужей, но и многие другие мужчины, которых она привечала, прожили с ней лишь несколько недель. У нее восемь детей от разных мужчин, но мужа, который не захотел бы уйти от нее, так и нет.

Джон Уэсли Хоган был еще одним любителем разбивать сердца. Как признавался он сам, все женщины от восьми до восьмидесяти становились его добычей, но та из них, кто смогла бы его захомутать, не родилась, а ее мать уже мертва. Его никто не мог ни поймать на горячем, ни запугать. И все-таки миссис Брэдли пришла к нему поговорить о своей Динки. Она попросила его отойти от рабочего места и сказала так:

— Джон Уэсли, ты знаешь, что я вдова и рядом со мной нет мужчины, поэтому мне придется самой говорить за себя и своего ребенка. Я пришла к тебе со всем уважением и смиренно прошу: возьми мою дочь замуж, пока ее имя не написано на всех столбах и не покрыто позором.

Если бы эти слова не разозлили Джона Уэсли,

то, должно быть, рассмешили бы. Так что он лишь презрительно скривился, отвечая ей:

— Эй, женщина, ты за кого меня держишь вообще? Убирайся с глаз моих с этой своей дуростью! С чего ты взяла вообще, что я знаю, с кем якшалась твоя Динки? Не пытайся навешать на меня всех собак, вот что! Да я весь Север объездил! Не равняй меня и здешних дурней! Ты, должно быть, думаешь, что я обычный местечковый молодчик. Ха! Всех молодчиков перестреляли сразу после жирных богатеев, так что в мире больше не осталось дурней, вот что! Видеть не хочу никаких женщин. И скажу тебе, как мартышка сказала слону: не наезжай на меня, доходяга! Если ты хочешь так по-дурному выдать замуж свою Динки, то иди окучивать местных шутов гороховых! Я тебе не по зубам, ясно? И если вдруг вздумаешь идти к шерифу, то и он тебе не поможет. Я докажу и свидетелей приведу, что Динки зналась с кучей мужиков, а я тут ни при чем.

К шерифу миссис Брэдли не пошла. Хлопотно, да и смысла не было. Ведь все, что он мог сделать, — это заставить Джона Уэсли взять Динки замуж, а к тому моменту, как их разговор закончился, бедная мать уже не хотела видеть этого человека своим зятем. Поэтому она дождалась темноты и

отправилась к дядюшке Понедельнику.

Все говорят, что дядюшке Понедельнику ничего не нужно объяснять. Просто приходи, и вдруг окажется, что он только тебя и ждет. Так вышло и в этот раз: он усадил миссис Брэдли за стол лицом к огромному зеркалу, висящему на стене. Она рассказывает, что на столе перед ней лежали заряженный пистолет и здоровенный шотландский кинжал. Она смотрела на то и другое и никак не могла выбрать. Не говоря ни слова, дядюшка Понедельник дал ей бутыль из тыквы, полную воды, и она сделала глоток. И не успела вода пройти ей в горло, как, не раздумывая, она схватила пистолет. Дядюшка Понедельник указал ей на зеркало. Постепенно в нем возникла фигура Джона Уэсли, соткалась медленно, и наконец он стоял там как живой. Она аккуратно прицелилась и выстрелила. Зеркало, к ее удивлению, даже не треснуло. Но раздался громкий хлопок, все заволокло синеватым дымом, и фигура исчезла.

А когда миссис Брэдли шла домой, Брэззл сказал ей, что Джон Уэсли вдруг упал замертво, а мистер Уотсон пообещал утром съездить в Орландо за гробом для него.

Тетушка Джуди Бикерстафф

Дядюшка Понедельник был не единственным мастером худу в округе. Была еще тетушка Джуди Бикерстафф. Она жила здесь еще до того, как дядюшка Понедельник появился. И конечно, у нее быстро взыграла профессиональная ревность. Дядюшка Понедельник, по всей видимости, не обращал на нее особого внимания, но тетушка Джуди отчаянно злилась на него и не могла скрыть своих чувств.

Это и понятно, если учесть, что до его появления к ней стекались все жаждущие помощи, а теперь большинство людей ходило к нему.

Год от года ее негодование крепло. То тут, то там случались мелкие стычки и всякие мелочи, из-за которых соперничество лишь обострялось. Понедельник-то был на коне, а Джуди совсем нет.

Наконец она стала рассказывать, что якобы может развеять любое его проклятье. Более того, она даже утверждала, что может обернуть его против самого дядюшки Понедельника, не говоря уже о его клиенте. Ему самому никто о ее похвальбе не рассказывал. С ним вообще особо никто не говорил, по делу разве что. И тетя Джу-

ди, должно быть, поэтому похвалялась, не боясь, что он узнает.

И вот однажды ей взбрело в голову сходить порыбачить. Дети и внуки пытались ее отговорить. Спорили, повторяли, что и возраст у нее уже не тот, и суставы больные. Но она только велела внуку приготовить наживку и удочку для форели и отправилась на Блу-Синк, озеро, по мнению местных, бездонное. Больше того, она вышла из дому незадолго до заката. Никого с собой брать не захотела. Спорить, доказывать что-то оказалось бессмысленно, она просто должна была пойти рыбачить на Блу-Синк, и все тут.

Когда стемнело, она не вернулась, и ее семья слегка забеспокоилась. Но, решив, что она, наверное, остановилась у кого-нибудь из друзей отдохнуть и поболтать, искать ее отправились не сразу. Уже почти ночью детей послали выяснить, куда же она запропастилась.

В поселении ее не было, и собрали людей прочесать окрестности Блу-Синк. Было уже девять вечера, когда ее наконец нашли. Тетушка Джуди оказалась в озере. Лежала на мелководье, подпирая голову локтем, чтобы та не ушла под воду. Ее сын Нед говорил, что заметил огромного аллигатора, который скрылся под водой, когда он

посветил факелом над головой матери.

Тетушку Джуди принесли домой и сделали для нее все, что могли. Ее ноги безвольно обмякли, и она молчала, так ни слова и не сказала за три дня. А прежде чем она смогла рассказать, что же произошло и как она оказалась в озере, прошло больше недели.

Она говорила, что на самом деле не хотела идти на рыбалку. Ее семья, да и вообще вся округа могла подтвердить, что она никогда не таскалась к озеру с удочкой. Но в тот день ей понадобилось пойти во что бы то ни стало. Она не могла объяснить почему, но знала точно: нужно идти. Насадив наживку на крючки, тетушка Джуди стала ждать клева. Она опасалась сидеть на голой земле, ревматизм же. Клева не было. Когда солнце стало клониться к закату, она хотела пойти домой, но почему-то не сумела сдвинуться с места. Ей было страшно, невероятно страшно там, у озера, но уйти она не могла.

Когда солнце наконец село и вокруг стало темно, тетушка Джуди почувствовала, как подле нее разливается зловещая сила. А она все так же сидела, не в состоянии шевельнуться. У ее ног возник небольшой, но мощный смерч, что-то сильно ударило ее, и она упала в воду. Пыталась

выбраться, но поняла, что ноги ее не слушаются. Тетушка Джуди подумала об аллигаторах и прочих местных чудищах, а еще о пиявках и панцирниках, и стала кричать, надеясь, что ее кто-нибудь услышит и придет на помощь.

Вдруг от одного берега к другому через все озеро протянулась полоса красного света. Она была похожа на грозный меч. И тетушка Джуди увидела, как через все озеро по этой пламенеющей тропе к ней шагает дядюшка Понедельник. А с обеих сторон от красной дороги плыли тысячи аллигаторов, будто армия шла за своим генералом.

Свет сам по себе был жутким. Красный, но она никогда раньше не видела такого оттенка. Страшная тропа подергивалась и дрожала, ни на миг не оставаясь неподвижной, но неизменно тянулась через озеро прямо к тому месту, где беспомощно лежала тетушка Джуди. Озеро с милю шириной, но тетушка уверяла, что дядюшка Понедельник пересек его меньше чем за минуту, — и вот он уже стоит возле нее. Она закрыла глаза от страха, но даже сквозь закрытые веки видела его. Спустя миг она снова закричала. Дядюшка Понедельник зарычал и подскочил к ней.

— А ну замолкни! — рявкнул он. — Еще раз откроешь рот — и это будет последнее, что ты

сделаешь в жизни! Твой болтливый язык привел тебя сюда, и здесь ты и останешься, пока не признаешь мою силу. Ты, значит, можешь обернуть вспять то, что я делаю? Ну что ж, я забросил тебя в это озеро. Покажи же свое могущество, выберись из него! Ты не умрешь, но и не покинешь это место, пока не признаешь всем сердцем, что я — твой повелитель. Как только ты покоришься, придет помощь.

Она сражалась. Она точно знала: будь они сейчас перед ее алтарем, ей было бы что ему противопоставить. Какое-то время дядюшка Понедельник хмуро смотрел на нее, потом развернулся и двинулся по озеру той же дорогой, которой пришел. Жуткий свет исчезал там, где он проходил. Затем к тетушке Джуди подплыл гигантский аллигатор и устроился рядом с ней, дрожащей, чувствующей, как силы покидают ее. Она потеряла уверенность в своем могуществе. О, если бы только она смогла умереть или избавиться от этого ужаса! Она больше никогда не колдовала бы, никогда! Если бы только ей удалось избежать челюстей этого чудовища; любая смерть, только не такая! Она мечтала, чтобы дядюшка Понедельник вернулся, ведь тогда она могла бы умолять его об избавлении.

Тетушка Джуди разинула рот, чтобы позвать его, но не сумела издать ни звука. Зато увидела огни, приближающиеся к берегу. Это были те, кто ее искал.

Ноги никогда больше не служили тетушке Джуди как прежде, но она поправилась до такой степени, что могла ковылять по дому и вокруг него. После того, как она рассказала о своих приключениях на озере Блу-Синк, от нее никто и никогда не слышал имя дядюшки Понедельника.

Остальные, в таких вещах весьма щепетильные, тоже почти перестали его упоминать. Но иногда, заслышав, как великий аллигатор, который, как всем известно, живет в Лейк-Белл, ревет пасмурным вечером, кто-нибудь показывал пальцем в сторону хижины дядюшки Понедельника и шепотом говорил:

— Сегодня Старик решил заглянуть к своим.

Перевод Марии Великановой

Чарльз Чеснатт. Бедный Сэнди

Чарльз Уэнделл Чеснатт (1858–1932), широко и со вкусом использовавший в своем творчестве «жаргон южных плантаций», — очень трудный для перевода автор: русскоязычные читатели впервые смогли познакомиться с ним только в сборнике «Призрачный замок», изданном «Клубом Семейного Досуга» в 2020 году. Примечательно, что доля «черной» крови, текшей в жилах Чеснатта, — ровно такая же, как у Пушкина, и вдвое меньше, чем у Александра Дюма. Но это не мешало ему быть своим для цветного населения южных штатов, а для белых сограждан он, соответственно, оставался «ниггером».

«Бедный Сэнди» — второй из цикла рассказов о дядюшке Джулиусе, умном, хитром и небескорыстном старом негре (Чеснатт не нуждался в «антирасистских» штампах). Подлинную атмосферу инфернальной жути создают не кровавые подробности, не детали ритуала (они-то

как раз относятся к числу баек, которые пожилой хитрец сочиняет для белой северянки ради собственных планов), а совершенно естественные бытовые моменты, воспринимаемые Джулиусом и его соплеменниками как общий жизненный фон.

В северо-восточной части моего виноградника в центре Северной Каролины стоял, глядя на дощатую дорогу на Ламбертон, маленький, простенький бревенчатый дом. Он был построен из древесины сосны всего на одну комнату, свет проникал в него через единственное окно, и дверь тоже была только одна. Его стены повидали многое, но никогда их не касалась краска. Над одним из углов домика торчала большая, с полдома в ширину, кирпичная труба; строительный раствор понемногу осыпался, оставляя между кирпичами трещины. Сами кирпичи тоже крошились, из-за чего труба казалась покрытой некрасивыми оспинами. Эти признаки разложения отчасти маскировала виноградная лоза, то здесь, то там выпускавшая побеги в смелой, но тщетной попытке оплести всю трубу. Деревянный ставень, когда-то прикрывавший

незастекленное окно, отвалился и теперь гнил в буйной траве и зарослях дурмана. Купив это место, я узнал, что домишко использовался в качестве школы в течение нескольких лет перед войной, а с тех пор стоял никому не нужный, разве что заблудившаяся корова или бродячий хряк укрывались в его стенах от холодных дождей и пронизывающего зимнего ветра.

Однажды жена попросила меня выстроить для нее кухню. В доме, который мы возвели, когда приехали, была очень удобная кухня, однако по неким загадочным причинам моя жена хотела еще одну, на заднем дворе, отдельно от жилого дома, согласно традиции, принятой на Юге. Конечно, я должен был исполнить ее желание.

Чтобы сэкономить, я решил разобрать старую школу и использовать дерево, которое было в хорошем состоянии, для строительства новой кухни. Однако прежде, чем сносить старый дом, я подсчитал, сколько дерева он мне даст, и обнаружил, что несколько сот футов древесины нужно будет докупить, чтобы вышла такая кухня, какую запланировала моя жена.

И вот однажды утром старый Джулиус Макэду, наш цветной кучер, запряг серую кобылу в прогулочный экипаж и повез нас с женой на

лесопилку, где я хотел заказать недостающую древесину. Сначала мы долго ехали по тропинке, ведущей от нашего дома к дощатой дороге, затем около мили — по дощатой дороге, свернули на другую дорогу, идущую через лес, потом через болото и наконец упирающуюся в лесопилку. Наша коляска подпрыгивала на бревенчатом настиле, проложенном по болоту, затем долго карабкалась на холм. И когда мы добрались до цели, оказалось, что старший мастер ушел на соседскую ферму — может, покурить, а может, просто поболтать, — и нам пришлось ждать его возвращения, чтобы обстряпать наше дело. Мы остались сидеть в коляске, которая стояла в нескольких родах[42] от лесопилки, и наблюдали за тем, как неспешно пилятся бревна. Вскоре после нашего появления на распил поставили огромное сосновое бревно, включили оборудование, и циркулярная пила стала прогрызать себе путь в древесине, издавая громкий визг, разносившийся по окрестностям. Звук становился все громче, пила визжала ритмично, но с того места, где мы находились, ее визг был не слишком неприятным и не мешал беседе. Когда же пила отправилась в свое второе

[42] Примечания: 42

Род — мера длины, используемая в Великобритании и США: 16,5 футов или 4,86 м.

путешествие по бревну, Джулиус, заметно содрогнувшись, заметил подчеркнуто скорбным тоном:

— Уфф, до печенок пробирает!

— Что случилось, дядюшка Джулиус? — поинтересовалась моя жена, по своей натуре очень чуткая и склонная к сочувствию. — Вас раздражает этот звук?

— Да нет, мисс Энни, — с чувством отвечал старик, — я ваще не нервенный, да только эта пила вгрызается в деревяшку с таким скрежетом, так ужасно стонет, ворчит и визжит, что я начинаю думать о старых временах и вспоминать бедного Сэнди.

Он таким душераздирающим тоном упомянул «бедного Сэнди», что затронул некие струны в наших душах.

— А кто был этот бедный Сэнди? — спросила моя жена, всегда весьма живо интересовавшаяся историями о жизни на плантациях, которые рассказывали старые цветные. Некоторые из этих историй по-своему забавны, иные — невероятно экстравагантны и отображают восточные нотки в негритянских фантазиях, прочие же для нее, женщины, выросшей на Севере и умеющей сочувствовать, повествуют о трагедиях и являются яркими иллюстрациями темнейших сторон

рабства.

— Сэнди, — сказал Джулиус, отвечая на вопрос моей жены, — был ниггер старого массы Маррабо Максвейна. Дом массы Маррабо стоял с той стороны болота, как раз сразу за тем, где вы живете. Сэнди был ужасно справным ниггером, так много всего умел на плантации и так хорошо работал, что когда дети массы Маррабо повырастали и женились, каждый из них просил подарить ему на свадьбу Сэнди. Но масса Маррабо понимал, что ежли подарит Сэнди одному, так это ж все остальные обидятся. Потому он решил так: каждому из своих детей разрешил брать Сэнди на месяц или два, а потом, значит, передавать следующему, тоже на месяц или два, и так по кругу. А иногда он еще давал Сэнди соседям, какие просили, когда им рук не хватало. И дошло до того, что Сэнди не знал, у кого окажется через неделю.

И вот однажды, когда его, как обычно, сдали в наем, приехал шпекулянт с кучей ниггеров, и масса Маррабо сменял у него жену Сэнди на новую женщину. Когда Сэнди вернулся, масса Маррабо дал ему доллар и сказал, что он, мол, ужасно звиняется, что разлучил семью, но от шпекулянта ему была большая выгода, а с деньгами беда нынче, так что он не смог отказаться

от сделки. Сэнди, ясное дело, погоревал, да вскоре решил, что нечего горевать по тому, чего не воротишь. И вышло так, что он стал жить с этой новой женщиной спустя где-то месяц после того, как она очутилась на плантации.

Жилось ему с новой женой хорошо, и ниггеры много болтали о том, какая ужасно хорошая у них любовь. Когда Тени заболела, Сэнди просиживал с ней ночи напролет, а потом, не поспамши, шел на работу. Тени что угодно сделала бы для своего Сэнди.

Они еще и двух месяцев вместе не прожили, как массе Маррабо написал евонный старый дядюшка, который жил в Робесоне, а не пришлет ли ему масса Маррабо какого хорошего парня на месяцок. А хозяин Сэнди был из тех людей, которые пытаются всем угодить, и потому он сказал: да, конечно, пришлю тебе Сэнди. И сказал ему, мол, езжай завтра в Робесон, пробудешь там около месяца.

Сэнди было ужасно трудно оставить Тени. До Робесона путь такой далекий, что у него не выходило хоть разок заглянуть домой до самого отъезда оттуда. Чтобы повидать Тени, он мог за ночь отмахать пятнадцать миль, но до плантации дяди массы Маррабо было больше сорока.

Сэнди сильно расстроился и после того, что ему сказал масса Маррабо, жаловался Тени:

— Я так устал, весь год только и мотаюсь туда-сюда. То меня посылают на месяц к массе Джеймсу, и я там должен делать то и се; на следующий месяц уже к массе Арчи, и там надо делать так да сяк; потом я должен ехать к мисс Джинни, и так вечно: Сэнди то да Сэнди это, Сэнди туда, нет, Сэнди сюда, и у меня уже такое чуйство, что ни дома у меня нет, ни хозяина, ни хозяйки, ничего. У меня и жены почитай что нет: прошлую продали, не дав нам даже попрощаться. И теперь мне снова надо уезжать и оставлять тебя, Тени, и я не знаю, мы вообще увидимся еще или как. Гляжу я на это и думаю: вот бы мне стать деревом, или столбом, или камнем, или еще чем, что может просто оставаться на этой плантации какое-то время.

Тени ничего не ответила, и они долго сидели у огня и смотрели на него. А потом она сказала:

— Сэнди, я когда-нибудь говорила тебе, что умею колдунствовать?

Ясное дело, ни о чем таком Сэнди никогда не слыхал и ужасно удивился. А Тени, значит, дальше ведет:

— Я уж пятнадцать лет как никого не гуферила

и проклятий ни на кого не накладывала, я как окрестилась да уверовала, так и решила, что не буду больше гуфера творить. Но есть такие вещи, в которых, я верю, нет греха. И если ты хочешь перестать мотаться по округе и не желаешь ехать в Робесон, я могу сделать так, что тебе не придется этого делать. Я могу превратить тебя во что захочешь, и ты останешься там, где хочешь, на столько, на сколько захочешь.

Сэнди сказал, что ему все равно, лишь бы быть рядом с Тени. Тогда Тени спросила, хочет ли он, чтобы она превратила его в кролика.

— Нет, — сказал Сэнди, — меня могут порвать собаки.

— Может, превратить тебя в волка? — спросила Тени.

— Нет, волков все боятся, а я не хочу, чтобы меня боялись.

— В пересмешника?

— Нет, меня может поймать ястреб. Я хочу стать чем-то, что просто стоит на одном месте, и все.

— Тогда я могу превратить тебя в дерево, — сказала Тени. — У тебя не будет ни рта, ни ушей, но я буду ненадолго превращать тебя обратно, чтобы ты мог поесть и узнать новости.

Сэнди сказал, что это ему подходит. И тогда Те-

ни отвела его к болоту, недалеко от жилых домов, и превратила в большую сосну, затерявшуюся среди других деревьев. Наутро местные работники гадали, откуда здесь взялась такая здоровая сосна, точно же не было ее раньше, и не могла она так быстро вырасти.

Узнав, что Сэнди исчез, масса Маррабо решил, что он сбежал. Его искали с собаками, но те потеряли след у той самой сосны. Стояли там и гавкали, вставали на ствол лапами, даже старались вскарабкаться на него. Их забирали к болоту вынюхивать дальше, но они снова возвращались к сосне. Белые в толк не могли взять, что происходит, и масса Маррабо решил, что Сэнди, может, забрался на сосну и прыгнул оттуда на мула или что-то еще такое натворил, и потому собаки чуют здесь его запах. Масса Маррабо пытался обвинить других ниггеров, что они помогли Сэнди сбежать, но те отпирались до последнего, а про Тени все знали, что она слишком любила Сэнди и не стала бы пособлять тому, чтобы никогда больше его не видеть.

Когда прошло достаточно времени и все решили, что Сэнди уже далеко, Тени стала приходить в лес ночью и превращать его обратно. Тогда они незаметно пробирались в хижину, сидели у

огня и разговаривали. Но им приходилось быть ужасно осторожными, потому что ежли бы их кто увидал, это бы все спортило, и Тени всегда возвращала Сэнди на место ранним утром, пока никто еще не встал.

Но без злоключений у Сэнди никак не получалось. Однажды прилетел дятел и принялся стучать по нему, и когда Сэнди в следующий раз расколдовали, у него была круглая дырка в руке, как будто ее проткнули острой палочкой. Тогда Тени послала перепелятника приглядеть за деревом, и когда дятел вернулся, чтобы достроить гнездо, то был немедленно сожран.

Или вот было еще: масса Маррабо послал ниггера в лес за живицей. Ниггер подвесил бутыль для сбора живицы и на это дерево тоже и ободрал кору на высоте двух или трех футов, чтобы живица текла. И когда Сэнди расколдовали, у него была здоровая рана на ноге и содрана кожа, и Тени всю ночь варила зелье и лечила Сэнди. Тогда она отправила здоровенного шершня приглядывать за деревом, и когда тот ниггер снова пришел, чтобы собрать живицу с другой стороны дерева, шершень так сильно его укусил, что он уронил топор себе прямо на ногу и почти совсем ее отрубил.

Поняв, что с деревом все время что-то случает-

ся, Тени решила превратить Сэнди во что-нибудь другое. Думала она, думала, с Сэнди советовалась и решила, что надо сделать такое гуферское зелье, чтобы их обоих превратить в лисиц или еще кого навроде, и они бы тогда сбежали в такое место, где смогли бы быть свободными и жили бы, как белые.

Но никто не может предсказать, что стрясется на этом свете. Как раз перед той ночью, когда Тени хотела устроить им с Сэнди побег, один из сыновей массы Маррабо приехал к нему в двуколке и сказал, что у него сильно разболелась жена, и может, его матушка одолжит ему какую женщину, чтобы ухаживала за ней. И хозяйка сказала, мол, давай пошлем Тени, она хорошая сиделка. Молодой масса ужасно спешил вернуться домой. А Тени как раз стирала в хозяйском доме, и хозяйка велела ей немедля ехать с молодым господином. Тени пыталась что-то придумать, чтобы уйти оттуда и спрятаться до ночи, у нее ведь было все приготовлено, чтобы они с Сэнди могли сбежать, и она сказала, мол, отпустите меня домой, капор возьму. А хозяйка сказала, мол, не надо капора, у тебя платок на голове нормальный. Тогда Тени сказала, что хочет надеть лучшее платье для такого важного

задания, а хозяйка ответила: никаких платьев не надо, если это грязное, тебе там чистое дадут. Так Тени и пришлось лезть в двуколку и ехать, и она понимала, что пока не вернется, Сэнди не увидит. Ей, бедняге, было ужасно плохо, она ведь понимала, что Сэнди будет волноваться, чего ж она не приходит и не расколдовывает его больше.

Пока Тени вдали от дома ухаживала за женой молодого массы Дункана, массе Маррабо взбрело в голову построить новую кухню, и хотя у него хватало древесины, он решил срубить новое дерево и распилить на доски. И уж не знаю, как так приключилось, но выбрал он именно то самое дерево. Тени не было, и никто не охранял его.

Те двое, кто рубил дерево, говорили, что никогда раньше у них такого не случалось: они промахивались мимо ствола, топоры соскальзывали с коры, и казалось, они никогда не срубят эту несчастную сосну. Она скрипела, стонала, тряслась и качалась, но наконец рухнула, словно устала от битвы. А уж они как устали!

Обрубив с сосны ветки, они привязали ее цепями к лесовозной вагонетке и повезли к лесопилке. По дороге им пришлось нелегко: в болоте они попали в кучу илистой грязи и выбирались часа два, а то и три. Потом лопнула цепь, и им прихо-

дилось все время останавливаться и поправлять дерево, чтобы оно не свалилось. Только им удалось взобраться на холм, дерево все же свалилось и покатилось вниз, и докатилось до других деревьев, будто хотело среди них затеряться. В общем, полдня они потратили, чтобы только дотащить его до лесопилки.

А назавтра вернулась Тени. Первым делом она побежала в лес, глянуть, как там Сэнди. Увидев пень, истекающий смолой, и разбросанные вокруг ветки, она едва ума не лишилась. Бросилась домой, схватила свое гуферское зелье и побежала по следам лесовозки к лесопилке. Она понимала, что если сейчас расколдовать Сэнди, он дольше пары минут не проживет, потому как он же весь порубанный, кровью истечет, да и все. Но она хотела расколдовать его и успеть объяснить, что не нарочно оставила его умирать вот так, срубленным и распиленным на доски. Она не хотела, чтобы Сэнди умер, думая о ней плохо.

А на лесопилке как раз загрузили дерево в тиски и запускали пилу, как вдруг увидели, как на холм бежит женщина, едва дышит и слезами заливается. Это была Тени; она бросилась прямо на дерево, даром что пила уже работала, и принялась кричать, просить, чтобы Сэнди простил

ее и не думал о ней плохо, потому как ее вины тут нету. Потом Тени вспомнила, что у дерева нет ушей, и хотела вылить на дерево зелье, чтобы расколдовать Сэнди, но тут работники лесопилки опомнились, схватили ее, связали ей руки веревкой и оттащили в сторону. А сами продолжили распиливать дерево, и так и вышло, что они пилили Сэнди на доски прямо у нее на глазах. Только это оказалось нелегким делом, пила пилила плохо, зато стон, скрип и визг стоял ужасный. К тому же пила была старая, не чета тем, что сейчас делают, и работала медленнее, чем теперешние. Они смазали пилу, но это не помогло, визг и стоны продолжались, но наконец всю сосну удалось распилить.

Потом с завтрака вернулся надсмотрщик, и работники рассказали ему о безумной женщине, которая пыталась броситься под пилу. Тогда надсмотрщик послал пару человек, чтобы отвели Тени на плантацию и вернули хозяину.

Тени надолго лишилась разума, и хозяину пришлось запереть ее в коптильне, пока не придет в себя. Масса Маррабо был ужасно зол и ругался последними словами, потому что думал, что это шпекулянт его надурил и продал ему помешанную. Пока Тени была заперта в коптильне, масса

Маррабо привез с лесопилки дерево и выстроил свою новую кухню.

Когда Тени немного успокоилась и могла уже ходить гулять по плантации, она рассказала хозяину все про Сэнди и как он был деревом, и когда масса Маррабо услышал эту историю, он решил, что она — самая безумная из всех ниггерских женщин, которых он когда-то видел или слышал о них, или, может, самая большая врунья. Он не знал, что делать с Тени. Сначала думал сдать ее в богадельню, но она не делала никому никакого вреда и вещи не ломала тоже, просто слонялась вокруг, стонала, рыдала, выла и трясла головой, и он решил оставить ее на плантации, чтобы она присматривала за маленькими детишками, пока их матери собирают хлопок.

Новой кухней пользовались мало, но вскоре ниггеры заметили, что с ней творятся диковинные вещи. Ночью в кухне раздавались стоны, вой и ворчание, а когда дул сильный ветер, кто-то скулил и ойкал, будто от боли. И вскоре все, чего жена массы Маррабо могла добиться, — это чтобы женщины проводили там ровно столько времени, сколько нужно на готовку, причем только днем. Но ни один ниггер на плантации не согласился бы зайти туда ночью, даже если бы ему

пригрозили четырьмя десятками плетей, — ни один, кроме Тени, она не боялась призраков. По ночам она приходила туда, сидела на ступенях, прижималась к дверному косяку, а потом бежала к себе, и никто не знал, почему она делает все эти глупости, потому что масса Маррабо пригрозил прогнать ее с плантации, ежли она кому-то из ниггеров расскажет про загуференную сосну. Но ниггеры все равно как-то узнали, и все как один верили, что в кухне живет неупокоенный дух Сэнди. И со временем и жена массы Маррабо стала бояться после заката выходить за порог.

Как до этого дошло, масса Маррабо раскатал кухню по бревнышку, а из древесины выстроил ту самую школу, которую вы теперь хотите снести. Она, ясное дело, была нужна только днем, ночью туда никто не заглядывал, но кто мимо проходил по дороге, говорили, что ночами там слыхать странные звуки и видать странные вещи. Бедная Тени часто наведывалась туда как раз по ночам и слонялась вокруг школы. Все ниггеры считали, что она приходит поговорить с духом Сэнди. И вот одним зимним утром мальчишка, который пришел пораньше, чтобы разжечь огонь, нашел на полу Тени, застывшую, окоченевшую и совсем мертвую. Ничего такого с ней не случилось, и не

болела она ничем, только тосковала по Сэнди, и та тоска ее и убила. Масса Маррабо по ней не горевал и слез не лил. Он думал, она рехнулась и невесть что от нее можно ждать, а в этом мире и белым тяжко приходится, ежли они ума лишатся, что уж говорить о помешанных ниггерах.

Вскоре после того масса Маррабо продал часть своей земли массе Дугласу Макэду — моему старому хозяину, — и так старая школа оказалась на его землях, а теперь, значит, на ваших. Как война началась, занятия в школе прекратились, и с тех пор никто в тот дом и не заглядывает — кроме призраков, само собой. Люди говорят, что и в старой школе, и в любом другом доме, в котором есть хоть одна досочка из дерева, которым был Сэнди, непременно заводятся призраки и пропадают, только когда вся та загуференная древесина сгниет и рассыплется в пыль.

Энни слушала эту жуткую историю очень внимательно.

— Как же ужасны порядки, при которых могли происходить подобные вещи! — воскликнула она, когда Джулиус умолк.

— Какие вещи? — изумился я. — Неужели ты всерьез рассматриваешь возможность превращения человека в дерево?

— Нет, конечно, — быстро ответила она, — дело же не в этом. — И пробормотала, глядя в никуда своими прекрасными глазами: — Бедная Тени!

Мы заказали древесину и вернулись домой. Когда вечером мы уже лежали в постели и моя жена, как мне казалось, с полчаса крепко спала, она вдруг воскликнула, моментально выдернув меня из дремоты:

— Джон! Я, наверное, не хочу, чтобы моя новая кухня была выстроена из того дерева, из которого старая школа.

— Послушай, — ответил я немного резко, — не позволяй той абсурдной, немыслимой ерунде, которую Джулиус сегодня выдумал, оказывать на твой разум хоть какое-то влияние.

— Я знаю, что его история абсурдна, — задумчиво ответила она, — и не настолько глупа, чтобы верить в нее. Но мне не кажется, что я смогу радоваться, находясь в кухне, построенной из той древесины. Кроме того, кухня из нового дерева и выглядеть будет лучше, и простоит дольше.

Конечно, все вышло так, как она хотела. Я купил новое дерево, хоть и не безропотно. Через пару недель я ненадолго уехал по делам, и несколько дней меня не было дома. Когда же я вернулся, моя жена между прочим заметила:

— Джон, в баптистской церкви для цветных Сэнди Ран[43] случился раскол на почве разного понимания воздержания. Около половины прихожан этой церкви откололись от нее, и среди них — дядюшка Джулиус. Вчера он приходил ко мне и спрашивал, нельзя ли им собираться для молитвы в старой школе.

— Надеюсь, ты не пошла на поводу у этого старого прохиндея, — с некоторым раздражением ответил я. Мне как раз пришел счет за недавно купленную древесину.

— Ну вообще-то я не смогла отказать ему, ведь цель благая, — призналась она.

— И я подозреваю, — продолжил я, — что ты отписала некоторую сумму денег на поддержку новой церкви.

Она не стала этого отрицать.

— Но как же они справятся с призраком? — спросил я больше из любопытства, каким образом Джулиус выкрутится из этой ситуации.

— О, дядюшка Джулиус, — стала объяснять Энни, — утверждает, что призраки никогда не

---

[43] Примечания: 43

Миссионерская баптистская церковь Сэнди Ран существует в Северной Каролине на самом деле. Она основана в 1856 году и на сегодняшний день является старейшей религиозной организацией местных афроамериканцев.

тревожат молящихся, а если вдруг случится так, что дух Сэнди по ошибке появится во время собрания, верующие непременно ему помогут.

Перевод Марии Великановой

V. Все страньше и страньше

Артур Конан Дойл. Выстрел, принесший победу

Представлять читателям Конан Дойла тоже нет необходимости. Так что скажем лишь несколько слов о повести, которая не входит в какие-либо циклы и в целом не является широко известным произведением.

Она написана в мае-июне 1883 года, когда молодой Конан Дойл жил в маленьком городке Саутси: основным делом, да и средством заработка для него тогда была медицина, а литература пока что оставалась хобби. Имена фигурирующих в рассказе девушек, Фанни и Лотти, практически повторяют семейные прозвища Констанции (Конни) и Каролины (Лотти) Дойл, подолгу гостивших у старшего брата. В целом компания, собиравшаяся там, была несколько более юной и гораздо менее обеспеченной, чем показано в повести, однако сходство налицо (тогда как старшая героиня представляет собой

несколько шаржированный портрет миссис Мэри Дойл, матери автора). При этом повествование ведется от лица Лотти, и это почти уникальный в творчестве Конан Дойла случай: для него совсем не характерно прибегать к «женской маске». Но Каролина была в семье Дойлов всеобщей любимицей, и известно, что старший брат обсуждал с ней многие из своих литературных планов.

Пролог

Предупреждение!

Всем, кто читает эти строки!

Будьте крайне осторожны, встретив Октавиуса Гастера или человека, называющего себя так!

Его легко опознать по характерным приметам: высокий рост, волосы льняного цвета, левая щека помечена хорошо заметным рубцом, тянущимся от уголка глаза до уголка рта. В речи проскальзывает едва уловимый акцент, выдающий чужестранца. Кроме того, этот человек отличается пристрастием к одежде ярких цветов — в частности, изумрудно-зеленым шейным платкам.

С точки зрения закона Октавиус Гастер не может быть ни в чем обвинен. Тем не менее знайте: он опасней бешеного пса. Бегите от него, как от мора, как от чумы.

Ко всем, кто знает об этом человеке хоть что-нибудь, огромная просьба — присылайте информацию по следующему адресу:

Линкольнс-Инн,
Лондон,
А. К. А.

Не думаю, что кто-либо из людей, которые вообще читают ежедневные газеты, пропустил это объявление. Знаю: очень многие приняли его близко к сердцу, тем более что личность Гастера и его деяния уже успели стать притчей во языцех. Однако прошли долгие месяцы, а результатов все нет…

Вы спросите, при чем тут я?

Начнем с того, что «А. К. А.» — это мой старший брат, адвокат Артур Купер Андервуд. А само объявление было составлено и помещено в газетах по моей просьбе.

Так что теперь, думаю, вам нетрудно представить: я в высшей степени при чем. Пожалуй, более, чем кто-либо во всей Англии, да и за ее пределами…

I

Доселе никто, кроме моего старшего брата, не знал о подробностях событий, которые произошли с нами в минувшем августе. Причина этого понятна: что я могла сообщить, кроме смутных, хотя и страшных подозрений? К тому же и мое горе в связи с трагической гибелью возлюбленного буквально накануне свадьбы на какое-то время совершенно лишило меня сил. Но теперь, хотя боль остается прежней, я уже в состоянии вспоминать прошедшее и, кажется, в силах связать воедино массу мелких подробностей, которые ранее считала случайными. Не думаю, что эти подробности могут стать уликами, достаточными для суда присяжных. Но мне послужит утешением, если их сумеют оценить хотя бы читатели.

Итак, попытаюсь точно и беспристрастно изложить все, что произошло между тем моментом, как Октавиус Гастер появился в Тойнби-холле, и днем стрелковых состязаний.

Да, мне отлично известно: на свете есть множество людей, всегда готовых посмеяться над паранормальными явлениями или же над теми, которые наш слабый ум принимает за таковые.

Не менее хорошо известно мне и то, что моя принадлежность к женскому полу, безусловно, ослабит в глазах этих людей значимость всего, что я намерена сообщить. Однако должна сказать: мой женский ум отнюдь не слаб, а присущая моему полу впечатлительность никоим образом не исключает наблюдательности. К тому же мое мнение о Гастере разделяют многие и многие — как женщины, так и мужчины.

Перехожу к изложению фактов.

Этим летом мы гостили у полковника Пиллара неподалеку от Роборо, графство Девон. Я уже несколько месяцев являлась невестой Чарльза, старшего сына полковника. Свадьба наша была намечена на последние дни университетских каникул. Ни у кого не было сомнений, что Чарли успешно сдаст выпускные экзамены. Впрочем, нам в любом случае не пришлось бы беспокоиться о куске хлеба: мы оба происходили из обеспеченных семей.

Полковник, отец Чарли, был в восторге от нашего грядущего брака. Моя мать — тоже. Ничего удивительного, что будущее представлялось нам абсолютно безоблачным и август стал для нас поистине золотым месяцем.

В Тойнби-холле (так называлось имение семьи

Пиллар) время текло весело и беззаботно. Мы, конечно, знали, что мир не идеален, что он полон зла и страданий, но сейчас предпочли об этом забыть.

Кроме нас в имении гостил лейтенант Дэйсби (жених Фанни, дочери полковника, сестры Чарли, мы его называли по-дружески просто Джек), только что прибывший из Японии на борту крейсера «Шарк»; разумеется, мы с Чарли и Фанни с Джеком немедленно составили поддерживающие друг друга пары. Из других гостей следует назвать Гарри, младшего брата Чарли, и Тревора, его ближайшего друга по Кембриджу. Старшее поколение гостей представляла моя матушка, добрейшая пожилая леди[44]. Она буквально светилась, любуясь нашим счастьем, и, лукаво поглядывая поверх золотой оправы своих очков

---

[44] Примечания: 44

Обстановка в Тойнби-холле отчетливо напоминает то, что происходило летом 1883 г. (время написания этого рассказа) в Саутси, пригороде Портсмута, где 24-летний А. Конан Дойл впервые приступил к самостоятельной врачебной практике, одновременно посылая рассказы в различные журналы. На какое-то время его дом («Буш-вилла») стал «центром притяжения» для молодых членов семьи Дойлов и их друзей (что легло тяжким бременем на хозяина, едва сводившего концы с концами). Там длительное время жил Иннес, младший брат начинающего врача и писателя, а также его младшие сестры Констанция и Каролина. Приезжала и некая Элмо Уэлден, на которой А. Конан Дойл был намерен жениться, но как раз в Саутси их помолвка расстроилась (по инициативе Элмо).

на влюбленные парочки, внимательно следила за тем, чтобы ничто не смогло омрачить наше времяпровождение. Ее любимой историей был рассказ о том, какие чувства она испытывала в то далекое время, когда молодой и пылкий Ник Андервуд, завидный жених, отправился искать невесту в провинцию и отрекся от блестящей карьеры ради брака с девушкой из сельской глубинки.

И конечно же, кроме гостей нужно упомянуть нашего радушного хозяина — бравого старого полковника. Пожилой джентльмен не пропускал случая отдать должное горячительным напиткам, но был очень бодр и крепок, а сквозь его напускную свирепость «типичного старого вояки» легко просматривался добродушно-веселый нрав.

— Право слово, не понимаю, что нынче творится с папашей, — как-то раз сказал мне Чарли. — С тех пор, Лотти, как ты поселилась у нас, он ни разу не посылал ко всем чертям правительство. А уж если он удержится еще и от того, чтобы не посылать громогласно ко всем чертям тех газетчиков, которые сейчас публикуют мнения по поводу ирландского вопроса, как бы его вообще удар не хватил!

А поскольку здоровье полковника продолжало оставаться отличным, мы пришли к выводу, что он выпускает свой гнев на правительство по вечерам, наедине с самим собой, тщательно притворив дверь.

Так или иначе, старый вояка действительно питал ко мне самые теплые чувства, что иногда проявлялось у него довольно странным образом.

— Побожусь, вы и вправду славная девчонка, — сказал он как-то вечером, дыша спиртным так, что учуять это можно было на расстоянии нескольких ярдов. — Ей-богу, Чарли повезло: не ожидал, что ему хватит ума сделать столь блестящий выбор. Но не поймите меня прямо, мисс Андервуд: скоро вы и сами убедитесь, что этот ветрогон далеко не настолько глуп, как это может показаться на первый взгляд!

Произнеся эту крайне своеобразную фразу, которая в его устах все же представляла собой комплимент, полковник откинулся на спинку кресла и забылся сном праведника.

II

О, как крепко отпечатался в моей памяти тот злосчастный день, когда начались все наши

беды!

После обеда мы сидели на веранде; сквозь широко открытые окна струился теплый ветерок. Моя добрая матушка расположилась в углу за вышиванием, время от времени одаряя нас каким-нибудь очередным перлом житейской мудрости из числа тех, которые она ценила превыше всего. Фанни щебетала о чем-то со своим женихом, Чарли в задумчивости расхаживал взад-вперед по веранде, а я сидела у окна, любуясь открывающимся передо мной видом.

Вид и в самом деле был великолепен. Широко раскинувшиеся пустоши Дартмура тянулись до горизонта; сейчас они были озарены лучами вечернего солнца — и на фоне багряного небосвода тут и там поднимались острые силуэты далеких скал.

— …Да, настаиваю на своих словах, — сказал Чарли, подходя к окну, — терять такой вечер прямо-таки преступно!

— Да черт побери этот вечер! — возразил Джек Дэйсби. — На сегодняшней погоде свет клином не сошелся. Мы с Фанни лучше останемся здесь. Не так ли, дорогая?

Девушка, смеясь, подтвердила его слова. Она уютно угнездилась на диване рядом с Джеком и

только подзадоривала брата лукавым взглядом.

— Целоваться прилюдно — сущая безнравственность, правда, Лотти? — с улыбкой обратился ко мне Чарли.

— О да! — согласилась я. — Причем безнравственность худшего толка!

— Ты не поверишь, но я отлично помню, как лихо Дэйсби кружил головы всем встречным девицам Девоншира. А посмотри-ка на него теперь! «О Фанни, единственная моя Фанни!» Вот что значит настоящая любовь!

— О, дорогая, не слушайте его! — подала голос из своего угла моя матушка. — Я по своему опыту знаю, что для молодых людей очень полезна дисциплина. Мой Ник, бедняга, тоже всегда с этим соглашался. Он, скажу я вам, каждый вечер, прежде чем отправиться ко сну, имел привычку заниматься физическими упражнениями. Причем некоторые из этих гимнастических приемов были весьма опасны, на что я ему неоднократно указывала. Но он был упрям, как все мужчины… И вот однажды вечером, выполняя одно из своих упражнений, он зацепился за каминную решетку и упал, причем так неудачно, что порвал себе на ноге какие-то мышцы и в результате остался хромым на всю жизнь, потому как доктор Пирсон

принял эту травму за сложный перелом и наложил на ногу гипсовую повязку, и такую, что, когда ее уже сняли, нога в колене больше не разгибалась… Да… Впрочем, доктору было немудрено ошибиться, бедняжке, ведь он в то время очень нервничал: его младшая дочь как раз незадолго перед тем случайно проглотила монетку и…

Мы переглянулись: для матушки было очень характерно по ходу рассказа настолько уклоняться в сторону от первоначальной темы, что она порой и сама забывала, о чем, собственно, идет речь. Но на сей раз Чарли воспользовался этим в своих целях.

— Ваши слова — святая истина, миссис Андервуд, — заявил он. — И они как раз подтверждают мой тезис: мы сегодня весь день не выходили из дома. Послушай, Лотти, до сумерек еще целый час, и он полностью в нашем распоряжении. Я уверен, что твоя матушка не станет возражать, если я предложу тебе… гм… ну, скажем, пройтись к реке и проверить, клюет ли сейчас форель.

— Только оденься потеплее, дитя мое: вечером может быть холодно, — сказала матушка.

— Хорошо, мама. Я сейчас сбегаю наверх и возьму свою новую шляпку, знаешь, ту, к которой так идет белая шаль.

— А на обратном пути, убедившись, что с форелью все в порядке, мы сможем просто погулять, полюбоваться закатом, — как бы между делом обронил Чарли, когда я уже направлялась к выходу.

Вернувшись, я обнаружила, что мой жених уже запасся удочкой и с нетерпением ждет меня. Мы прошли через лужайку мимо веранды, из окна которой на нас смотрели улыбающиеся лица, причем одна улыбка (матушкина) была доброжелательной, а две других — довольно ехидными.

— Целоваться прилюдно — сущая безнравственность, — процитировал кого-то Джек, с задумчивым видом уставившись на облака.

— О да — безнравственность худшего толка! — подхватила Фанни.

И все расхохотались так, что разбудили мирно дремавшего полковника. Мы слышали, как он пытается сообразить, в чем соль шутки, — и это ему никак не удавалось именно потому, что шутку наперебой стремились объяснить сразу трое.

Мы быстро сбежали вниз по тропинке — и вот перед нами уже калитка. Чарли на миг остановился, выбирая, куда идти. О, если бы мы только знали, что от этого выбора зависит вся наша дальнейшая судьба!

— Решай, дорогая, куда мы пойдем, — сказал мой жених. — Действительно на реку? Или предпочитаешь прогуляться к дальнему ручью?

— Выбери сам, милый. Мне все равно, где быть, лишь бы рядом с тобой.

— Отлично. Тогда я голосую за ручей. Хотя бы потому, что это удлинит нашу прогулку, — прибавил он, окидывая меня влюбленным взглядом.

Ручей, о котором шла речь, протекает по самым глухим участкам пустоши. До него от Тойнби-холла было несколько миль по бездорожью, меж кустарниковых зарослей и скал, но мы, молодые, полные сил, не думали о таких пустяках.

Во время пути нам не встретилось ни единой живой души. Только овцы девонширской породы, пасшиеся на дальних склонах, с ленивым любопытством провожали нас взглядами, видимо, гадая, что это за незнакомцы вторглись в их владения.

К цели нашей прогулки мы добрались уже в сумерки. Ручей, журча, нес свои воды по лощине с почти отвесными склонами, а по обеим сторонам ее, подобно огромным башням, возвышались два скальных столба. Вода прогрызла себе каменное ложе как раз между ними — и там по крутому откосу струился небольшой водопад, образуя у

подножия столбов глубокое озерцо.

При свете дня Чарли любил приходить в этот романтический уголок. Не спорю, под лучами солнца эта местность действительно обретала неповторимое очарование, но сейчас, когда струящийся поток озаряла только восходящая луна, а на серебристой глади озерца словно бы плясали призрачные тени, все вокруг выглядело скорее зловеще.

— Знаешь, дорогая, я, с твоего позволения, лучше даже не буду проверять сейчас, клюет ли здесь форель, — произнес Чарли, садясь рядом со мной на ближайший валун.

— О да! — вздрогнув, согласилась я.

— Так что мы просто передохнем тут недолго — и сразу в обратный путь. Но что с тобой, Лотти? Ты вся дрожишь! Замерзла?

— Нет-нет, милый, — ответила я, стараясь, чтобы голос не выдал моего волнения, — мне не холодно. Просто… Просто я вдруг немножко испугалась. Конечно, с моей стороны очень глупо быть такой трусихой — но…

Мой жених негромко чертыхнулся.

— Ничего удивительного, Лотти! Мне и самому сейчас что-то не по себе. Шум ручья, знаешь ли, сейчас звучит так, словно это не вода течет по

руслу, а кровь хлещет из перерезанного горла.

— О, Чарли, ради всего святого, не говори так! Ты напугал меня еще больше…

— Ну-ну, дорогая, не будем думать о страшном, — со смехом воскликнул он, явно желая меня подбодрить. — Направим же стопы прочь из этого мрачного места, где журчание ручья напоминает о крови, и… Смотри, смотри! Боже мой! Это еще что такое?

Откинувшись всем телом назад, Чарли пристально уставился на что-то, находящееся вверху. Лицо его вдруг покрылось смертельной бледностью. Я проследила за взглядом Чарли и едва смогла подавить крик.

Я уже говорила, что ручей с двух сторон был словно бы огражден похожими на столбы утесами. И вот мы увидели на самой верхушке ближайшего из них, примерно в шестидесяти футах над нашими головами, высокий черный силуэт.

Он принадлежал человеку. Рослый худощавый мужчина стоял на краю гранитного столба и смотрел вниз, в темноту под обрывом, где сидели сейчас мы. Луна всходила как раз за спиной незнакомца, обливая верхушки скал мертвенным светом — и в его мерцании человеческая фигура

выглядела словно бы изломанной, утратившей четкие очертания.

Появление одинокого путника тут выглядело не просто странным — оно казалось прямо-таки фантастическим. И (может быть, свое действие оказала мрачность обстановки) мне вдруг подумалось, что фантастика это недобрая. В немом ужасе я прижалась к плечу возлюбленного, не в силах оторвать взгляд от высившейся над нами фигуры.

— Эй, там, наверху, кем бы вы ни были! — В голосе Чарли тревога смешалась с гневом. — Какого дьявола вам там нужно? И кто вы вообще такой?

— О! Я не ошибся, не ошибся… — проговорил человек, наклонившись, чтобы лучше рассмотреть нас. Затем он исчез со скалы. Через несколько секунд мы услышали его приближающиеся шаги — и вот он уже стоял пред нами на берегу ручья.

Если в первый миг, когда незнакомец предстал перед нами на вершине каменного столба, он выглядел как фантастический персонаж, то я не могу сказать, что вблизи это впечатление ослабло. Скорее наоборот. Даже при свете полной луны его худое, вытянутое лицо удивляло странной белизной, подобной цвету рыбьего брюха. А на фоне кричащего ярко-зеленого шейного платка

этот контраст выглядел поистине зловещим. Щека у человека была помечена глубоким шрамом, тянущимся от глаза до уголка рта. Это придавало и без того неправильным, почти уродливым чертам лица выражение язвительной, какой-то фальшивой насмешки. Сейчас, когда он действительно улыбался, это делалось особенно заметно.

Рюкзак и альпеншток в руках указывали на принадлежность незнакомца к новомодной касте туристов. В то же время непринужденность и изящество, с которыми он, увидев перед собой даму, снял шляпу и отвесил поклон, свидетельствовали: это не просто любитель путешествий, но и человек *savoir faire*[45] в смысле светских манер.

С плеч пришельца свисал широкий черный плащ. Это, да еще трудноописуемая нескладность сухопарого телосложения, угловатая резкость движений и бескровная бледность кожи вдруг неуловимо напомнили мне ту летучую мышь необычного вида, которую Джек Дэйсби привез из Японии и теперь в шутку пугал ею всех служа-

---

[45] Примечания: 45

Французский термин, практически в точности соответствующий современному англоязычному понятию «ноу-хау», но во времена Конан Дойла употреблявшийся более широко: применительно не только к научно-технологическим навыкам, но и к культуре, правилам хорошего тона, манере поведения в обществе и т. п.

нок Тойнби-холла. Это был зверек из семейства кровососов[46].

— Прошу простить, если мое появление оказалось не к месту, — заговорил он; в голосе его присутствовало нечто вроде легкого пришептывания, которое выдавало в нем иностранца, но при этом, как ни странно, добавляло его речи какой-то особый шарм. — Но если говорить обо мне, то я счастлив, что встретил вас, господа. Иначе я не смог бы найти дорогу и, чего доброго, мне пришлось бы сегодня заночевать под открытым небом.

— Черт вас побери, приятель! — Чарли все еще не мог успокоиться. — Неужели вы не могли нас просто окликнуть? Зачем вам потребовалось так внезапно появляться там, словно вы чертик из табакерки? Вы, между прочим, напугали мисс Андервуд!

Незнакомец снова приподнял шляпу и в высшей степени учтиво принес мне извинения за свою невольную оплошность.

— Позвольте представиться — доктор Октавиус Гастер, — продолжал он, — шведский дворянин,

---

[46] Примечания: 46

В Японии летучие мыши семейства вампиров не водятся — однако корабли, заходившие в Японию, часто в том же рейсе посещали и тихоокеанское побережье Южной Америки, где вампиры как раз обитают.

в настоящее время путешествую по вашей прекрасной стране без определенных целей, просто ради собственного удовольствия. Не будете ли вы так добры указать мне путь, которым я мог бы добраться до ближайшей сельской гостиницы или иного места, где можно переночевать? Видите ли, я, чтобы не искать других слов, попросту заблудился на просторах этой огромной пустоши.

— Да, вам в самом деле повезло, что вы натолкнулись на нас, — сказал Чарли, остывая. — Тут и вправду легко заблудиться…

— Вы, безусловно, правы, — кивнул наш новый знакомый.

— …Настолько легко, что в этих краях нередко находят трупы путников, потерявших дорогу, — воодушевившись, продолжил Чарли. — Никто не знает, кем они были при жизни. Единственное, что известно, — они забрели сюда, сбились с пути и блуждали, не в силах отыскать дорогу к ближайшей гостинице, пока наконец не попадали на землю от голода и жажды…

Швед вежливо рассмеялся:

— Ха-ха. Да, это было бы действительно забавно: *мне* — и умереть от голода на английской земле! Мне, продрейфовавшему в беспалубной шлюпке

от Кэйп Бланко[47] до Канарских островов… Но в любом случае, молодые люди, буду очень благодарен, если вы подскажете мне, где тут можно найти гостиницу или трактир.

— Обождите. — Чарли всегда отличался гостеприимством, а сейчас у него вдобавок пробудился интерес к этому загадочному иностранцу. — Тут на несколько миль вокруг нет ничего подобного, а вы, кажется, только что проделали путь — будь здоров! Так что лучше пойдемте-ка с нами. Уж в Тойнби-холле найдется где заночевать, да и мой старик, полковник Пиллар, будет рад свести с вами знакомство.

— Не знаю, как отблагодарить вас! — воскликнул Гастер. — Поистине, когда я вернусь в Швецию, у меня будет много поводов рассказывать об английском гостеприимстве.

— Ерунда, только идемте скорей, — поторопил его Чарли. — И, если вы не слишком устали, давайте пойдем быстрым шагом: я вижу, мисс Андервуд дрожит от холода. Закутайся как следует в шаль, Лотти! Не волнуйся, милая: вскоре

---

[47] Примечания: 47

На современных картах отмечен лишь американский Кэйп Бланко, но в данном случае имеется в виду африканский, давно переименованный. Это мыс на территории западной части Сахары (побережье нынешнего Марокко): важная «точка отсчета» в морских маршрутах между Европой и Индийским океаном вдоль африканских берегов.

мы будем дома.

Молча и поспешно мы тронулись в обратный путь. Тропка здесь и так была едва заметна, а когда луна скрывалась за облаками, нам приходилось пробираться чуть ли не на ощупь. Наш новый спутник молчал, видимо, погрузившись в воспоминания, но раз-другой мне казалось, что я ловлю его взгляд, устремленный на меня сквозь темноту.

— Стало быть, дружище, — прервал молчание Чарли, — вам довелось совершить, по сути, океанское плавание в открытой шлюпчонке?

— О да! Мне вообще довелось пережить много странного… и опасного тоже… Причем я бы не сказал, что это пошло мне во вред — о, отнюдь! Но, видите ли, эти истории порой… довольно жутковаты. Возможно, мне стоит воздержаться от пересказа их в присутствии юной леди. Особенно если учесть, что я уже и так стал причиной ее испуга…

— О, не волнуйтесь! Теперь я предупреждена и больше не испугаюсь. — Я крепко оперлась на руку Чарли.

— По правде говоря, я слегка преувеличил: не так уж много со мной случалось историй, достойных того, чтобы о них рассказать, да и

те, увы, столь печальны… А что касается того случая, дело было так. Мы с моим другом Карлом Осгудом из Упсалы задумали осуществить одну коммерческую операцию. Как известно, белые люди редко появляются во владениях берберов, что кочуют в окрестностях Кэйп Бланко. Именно поэтому мы туда и отправились. Несколько месяцев нам удавалось с очень большим успехом обменивать привезенные из Европы товары на золото и слоновую кость. Кстати сказать, страна эта очень интересна, да… Представьте: там нет ни дерева, ни строительного камня, так что жилища аборигенов построены из обломков кораблей, выброшенных морем на берег… Однако возвращаюсь к теме: товары для обмена начали подходить к концу, а мы уже считали себя настоящими богачами — и вдруг узнаем пренеприятную новость: кочевники, оказывается, сговорились нас убить. Причем не далее как ближайшей ночью. Времени уже ни на что не оставалось. Мы едва успели добраться до берега (берберы гнались за нами по пятам, но потеряли в темноте), спустить на воду шлюпку и отчалить, бросив все наше имущество. На рассвете вокруг, насколько хватало взгляда, расстилалось безграничное море. А ближайшая безопасная суша

— Канарские острова. К ним мы и направились. Я добрался туда живым, хотя и на самом пределе сил, душевных и телесных. А вот что касается Карла — он умер, бедняга. Представьте, в тот самый день, когда на горизонте показалась земля. А я ведь предупреждал его. Мне не в чем себя упрекнуть. «Карл, — говорил я ему, — даже если ты, съев их, обретешь сколько-то новых сил, это будет намного меньше, чем ты утратишь от кровопотери...» Но он только рассмеялся над моими словами. Выхватил из-за пояса нож — между прочим, из-за моего, а не своего пояса! — отрезал их и съел.

— Съел? Что съел?

— Свои уши, — сказал Гастер.

Мы оба содрогнулись от ужаса. Я подумала было, что наш спутник, возможно, шутит, но на его бледном лице не было даже намека на улыбку.

— Этот Карл был, что называется, «думмкопф» — не знаю, как это перевести на английский, — продолжал швед, — но это не оправдание. Даже у таких, как он, должно хватить мозгов, чтобы удержаться от подобного поступка. Ему стоило только проявить силу воли, и он бы уцелел. Я же уцелел!

— То есть вы хотите сказать, что при помощи

силы воли человек может одолеть муки голода? — спросил Чарли.

— Да разве есть в мире то, чего нельзя достигнуть при помощи волеизъявления? — вопросом на вопрос ответил Октавиус Гастер.

Мы не нашлись что сказать. Молчание затянулось до самого Тойнби-холла.

О нас, оказывается, уже беспокоились: Джек Дэйсби вместе с Тревором, другом Чарли по Кембриджу, как раз собирался отправиться на поиски. Поэтому наше прибытие вызвало всеобщую радость, но при виде нашего странного спутника молодые гости Тойнби-холла не удержались от шуток.

— Где, дьявол его забери, вы подобрали это мертвое тело? — почти не понижая голоса, спросил у Чарли Джек, когда они вышли в курительную комнату.

— Тсс-с, парень! — прошептал Чарли. — Не так громко. Это некий швед, доктор, турист, на редкость приятный в общении тип. Дрейфовал в беспалубной шлюпке откуда-то докуда-то, оба названия я позабыл, но все равно предложил ему переночевать у нас.

— Ну-ну! — покачал головой Джек. — Одно могу сказать точно: с такой рожей никогда ему не быть

популярным.

— Ха-ха-ха! Превосходно сказано, друг мой! — со смехом произнес тот, о ком шла речь, появляясь на пороге курительной (чем донельзя сконфузил прямодушного лейтенанта). — Вы правы: я никогда не буду популярен. По крайней мере, в этой стране.

И он, по-видимому, улыбнулся, но шрам, искажавший пропорции рта, вдруг придал его лицу такой вид, точно оно отражалось в кривом зеркале.

— Давайте лучше пока пройдем наверх. — Чарли постарался разрядить обстановку. — Я покажу вам вашу комнату…

Полковник Пиллар, казалось, был подлинным олицетворением гостеприимства. Он принял Гастера, точно старого друга семьи.

— Чувствуйте себя как дома, сэр. И оставайтесь у нас столько времени, сколько вам заблагорассудится. Мы тут живем, можно сказать, анахоретами. Новый гость для нас — настоящий праздник.

Моя матушка проявила бóльшую сдержанность. «В высшей степени благовоспитанный джентльмен, Лотти, — сказала она мне. — Но не смейся, пожалуйста, я бы предпочла, чтобы он почаще моргал. Этот его немигающий, будто ка-

менный взгляд… Мне трудно объяснить почему, однако я не люблю таких людей. Вообще же, милая моя, жизненный опыт преподал мне великую премудрость: то, как человек выглядит, — ничто по сравнению с тем, как он поступает…»

Одарив меня этими двумя противоположными перлами житейской мудрости и крепко обняв, матушка предоставила мне сделать собственные выводы.

Что касается Октавиуса Гастера, то, как бы он ни выглядел, уже назавтра ему удалось полностью очаровать весь Тойнби-холл. Каждого из нас по отдельности и всех вместе он ухитрился изумить объемом и разноплановостью своих познаний. Отцу Чарли, ветерану Крымской кампании, он поведал множество малоизвестных подробностей о Крыме (после чего полковник и слышать не хотел о его возможном отъезде). Лейтенанту Дэйсби сообщил массу столь же малоизвестной информации о Японии. Даже Чарли, большому любителю гребного спорта, Гастер прочитал подлинный цикл лекций по поводу соотношения нагрузки на лопасть и рукоять весла, о рычагах, углах опоры на уключину, точках приложения сил и прочем, пока мой бедный жених, исчерпав доводы, не оказался вынужден сам уклониться от

продолжения беседы.

Все это швед проделал так деликатно и ненавязчиво, что никто из собеседников не почувствовал себя обиженным. При этом во всех его словах и поступках чувствовалось подлинное, а не показное превосходство, своего рода власть — не подавляющая, принуждающая к отпору, но тем не менее вполне реальная. Особое впечатление на нас произвел такой случай.

У Тревора был огромный и чрезвычайно свирепый бульдог[48], беззаветно преданный своему хозяину, но абсолютно не допускавший фамильярного отношения со стороны кого-либо из нас. Как и следовало ожидать, в Тойнби-холле все очень косо поглядывали на этого свирепого зверя, но поскольку Тревор был очень привязан к нему и — я уже упоминала, Чарли с Тревором

---

[48] Примечания: 48

Тревор — фамилия реального однокурсника А. Конан Дойла. У этого студента действительно был огромный пес по кличке Таузер, в дневниках Конан Дойла значащийся как «бульдог», а по современным представлениям, видимо, скорее бульмастиф. Этот Таузер является не единственным, но непременным и хорошо узнаваемым прототипом всех «демонических» собак, появляющихся в самых различных произведениях Конан Дойла: гончих из «Михея Кларка», цепного пса из «Медных буков» — и, разумеется, знаменитой собаки Баскервилей. Сам же Тревор, опять-таки вместе со своей собакой, правда, «низведенной» до бультерьера (а в русском переводе — просто терьера), еще раз появляется на страницах рассказа «Глория Скотт» — в качестве… друга юности Шерлока Холмса!

являлись закадычными друзьями, пришлось отнестись к бульдогу как к неизбежному злу. Однако держать его в доме все-таки сделалось невозможно, и пса переселили в пустующую конюшню, тем самым превратив ее во что-то наподобие огромной конуры. Этот поступок собака расценила как покушение на собственные права и сосредоточила особенную нелюбовь на владельце Тойнби-холла. Стоило полковнику пройти мимо конюшни, как бульдог принимался скалить клыки и рычать. Впрочем, и всех нас (разумеется, кроме собственного хозяина) пес не обделял антипатией.

На следующий день после прибытия Октавиуса Гастера мы как-то раз проходили мимо конюшни. Наш гость, конечно, услышал доносящееся оттуда злобное рычание.

— О! — произнес он. — Это ваш пес, мистер Тревор?

— Да, мой. Его зовут Таузер.

— Должно быть, это бульдог? Из тех собак, которые на континенте считаются национальным символом Англии?

— Да, это чистокровный бульдог, — гордо подтвердил студент.

— Потрясающее животное. Я хочу сказать — по-

трясающее в своем уродстве. Не могли бы вы на минуту спустить его с привязи? Мне хотелось бы увидеть его в движении. Согласитесь, держать на цепи такое мощное и полное жизни существо просто жалко…

— А вы не боитесь, что он вас искусает? — В глазах Тревора на миг блеснула лукавая искорка. — Впрочем, вам ли, прошедшему через такие испытания, бояться какой-то собаки…

— О, вы абсолютно правы, мистер Тревор. Мне ли ее бояться?

Тревор покачал головой и, сохраняя на лице то же выражение потаенного лукавства, вошел в конюшню. Чарли попытался было сказать, что шутка зашла слишком далеко, но его слова были заглушены яростным рыком Таузера. Все мы, кроме Октавиуса Гастера, инстинктивно отпрянули от конюшни. Швед остался на месте, и по его бледной физиономии блуждал не испуг, а почти брезгливая смесь скуки и любопытства.

— Эти красные огоньки в темноте, если не ошибаюсь, его глаза? — спросил он.

— Да, — сказал студент. Мы услышали, как он расстегнул ошейник.

— Иссс! — выкрикнул Октавиус.

Яростный рык собаки вдруг сменился пронзи-

тельным жалобным визгом. Словно бы сам себя осадив посреди прыжка, пес рухнул на устланный соломой пол конюшни — и припал к нему, точно желая стать как можно менее заметным.

— Что за черт с ним творится? — в изумлении воскликнул Тревор.

— Иссс! — повторил Гастер; звук этот был сух и звонок, словно щелчок металла, — и в нем чувствовался непонятный, но неодолимый приказ. — Иссс!

К нашему великому удивлению, бульдог мелкой трусцой выбежал из конюшни и улегся у ног шведа. Пса словно подменили: это был совсем не тот неустрашимый Таузер, которого мы видели каждый день. Прижатые к голове уши, виляющий хвост, подобострастно-испуганное выражение некогда яростной морды… Перед нами была не собака, а живой символ собачьего унижения.

— Хороший песик, хороший… Только что-то уж очень пугливый! — произнес швед, гладя бульдога по спине. — А теперь пошел прочь, отправляйся туда, где тебе место.

Пес развернулся и послушно вбежал обратно в конюшню. Мы услышали звон цепи: Тревор снова привязывал бульдога. В полутьме конюшни было невозможно рассмотреть, что там произошло, но

когда через короткое время студент появился на пороге, его правая рука была в крови.

— Что за дрянь! — выругался он. — Не понимаю, что с ним такое… За все три года своей жизни Таузер меня еще ни разу не кусал!

Не уверена, но мне показалось, что шрам на лице нашего гостя коротко дрогнул, словно бы от скрытой улыбки. И теперь, вспоминая все это, я почти не сомневаюсь: именно с той минуты я начала испытывать к этому человеку страх. Страх и отвращение.

III

Дни и недели быстро сменялись. Близился и тот день, на который была назначена наша свадьба.

Октавиус Гастер продолжал гостить в Тойнби-холле. Он произвел на полковника такое впечатление, что о его отъезде бравый вояка по-прежнему не желал и слышать. Мотивировал он это с армейским юмором: «Раз уж вы оказались здесь, сэр, смиритесь с неизбежным: путь к отступлению по-прежнему закрыт!» Октавиус Гастер улыбался, пожимал плечами, произносил вслух одну-две фразы о красоте девонских пейзажей, чем успокаивал полковника на целый день.

Мы с моим возлюбленным были слишком заняты друг другом, чтобы обращать внимание на гостя. Но, припоминаю, временами мы, прогуливаясь по лесу, случайно (по крайней мере, я так думала) натыкались на Гастера. Как правило, эти встречи происходили в самых безлюдных зарослях.

Швед при этом всегда был занят чтением. Увидев нас, он неизменно закрывал книгу и прятал ее в карман. Но однажды мы натолкнулись на него столь внезапно, что он не успел этого сделать.

— День добрый, доктор! — воскликнул Чарли. — Что, все еще занимаетесь? Так вы вскоре превзойдете вообще все науки, сколько их ни есть! А над чем работаете сейчас? Ого! Написано не по-английски! Неужели это рунические письмена древних шведов?

— Нет, не шведов, — покачал головой Гастер, — это арабские писания.

— Ну и ну! Так вы знаете арабский?

— О да. И я бы сказал — весьма прилично.

— Ну и что тут написано? — спросила я, осторожно переворачивая ветхие древние страницы.

— Ничего такого, что могло бы заинтересовать столь юную и прелестную особу, как вы, мисс Андервуд, — сказал он, посмотрев на меня

весьма странно (только в тот миг я поняла, что он в последнее время *всегда* смотрел на меня так). — Это писания тех времен, когда воля была сильнее материи, когда существовали могучие духи, которые не нуждались в грубом пристанище человеческого тела и умели овладевать всем, что только есть в вещественном, материальном мире…

— А, понятно! Стало быть, это древнеарабский сборник историй о привидениях, — сделал вывод Чарли. — Ну что ж, до свиданья! Не будем вас отвлекать.

И мы ушли, а он остался, всецело погруженный в изучение своего таинственного трактата.

Через полчаса мне неожиданно показалось, будто очень приметная фигура Гастера вдруг мелькнула вдали за деревьями. Не настаиваю, что это действительно было так. Я все же сообщила об этом Чарли, но он лишь расхохотался над моей тревогой.

IV

Я уже упоминала, что Гастер в последнее время смотрел на меня очень странно. Теперь пришло время объяснить, что имелось в виду.

Дело в том, что его взгляд, обычно исполненный стальной воли, в эти минуты терял свою жесткость и обретал какую-то трудноописуемую теплоту. Это выражение, должна признаться, тревожило меня еще больше. Особенно если учесть, что я всегда чувствовала, когда взгляд Гастера был устремлен на меня, даже если не видела этого.

Одно время я думала, что это мои домыслы, порожденные нервным состоянием. Но матушка развеяла мои иллюзии на этот счет.

— Знаешь, милая, — сказала она однажды поздно вечером, войдя в мою спальню и тщательно прикрыв за собой дверь, — не будь эта мысль столь нелепа, я бы подумала, что этот доктор безумно в тебя влюблен.

— О, мама, какие глупости! — возразила я нарочито беспечно, но на самом деле так испугалась, что чуть не опрокинула стоящую на ночном столике свечу.

— Нет-нет, Лотти, я действительно в этом уверена. Когда он смотрит на тебя, то я сразу вспоминаю, каким взглядом смотрел на меня твой отец. Вот что-то подобное — видишь? — И пожилая леди уставилась страстным, полным нежности взором на одну из ножек кровати.

— Ложись лучше спать, мама, — сказала я. — Это тебе только кажется. В самом деле! Этот доктор не хуже тебя знает, что я — невеста Чарли!

— Дай-то Бог… — Матушка, выходя, покачала головой.

Эти ее слова продолжали звучать у меня в ушах до тех пор, пока я не уснула. А потом произошло нечто загадочное. Посреди ночи меня вдруг разбудила странная дрожь во всем теле. Теперь мне это ощущение хорошо знакомо, но тогда это было в первый раз.

Стараясь не шуметь, я осторожно подошла к окну и выглянула сквозь щель жалюзи. На усыпанной песком дорожке высился фантастический силуэт нашего гостя; сейчас он более, чем когда-либо раньше, походил на летучую мышь. Я была уверена: швед пристально смотрит на мое окно. Но миг спустя он, должно быть, заметил, как дрогнули жалюзи, потому что чиркнул спичкой, закуривая сигарету, развернулся и зашагал прочь по аллее.

На следующее утро за завтраком Гастер поведал всем нам, что этой ночью почувствовал себя плохо и предпринял небольшую прогулку для восстановления душевного равновесия. Я

выслушала эти его слова, припомнила и другие мелочи и, трезво оценив все, пришла к выводу: у меня нет реальных причин питать к Гастеру недоверие. Вся моя неприязнь основывается на очень шатких основаниях. Да, можно обладать странной внешностью, изучать шарлатанскую литературу, можно, в конце концов, даже бросить влюбленный взгляд на привлекательную девушку, но при том не быть человеком, опасным для общества.

Эти мысли служат доказательством того, что даже в такой момент я старалась быть как можно более беспристрастной и меньше всего желала оценивать Октавиуса Гастера хоть сколько-нибудь предвзято.

V

— А что, друзья, не устроить ли нам сегодня небольшой пикник? — спросил однажды утром лейтенант Дэйсби.

— Отличная идея! — дружно согласились мы.

— Вы, конечно, знаете, что уж для Тревора-то во всяком случае каникулы подходят к концу и беззаботная студенческая жизнь — тоже. Поэтому надо постараться, чтобы за оставшийся минимум

времени он получил максимум удовольствия.

— И что же у вас в Англии называется «пикником»? — поинтересовался доктор Гастер.

— Это одна из наших национальных форм увеселения. Думаю, вам будет интересно с ней познакомиться, — ответил Чарли. — Пикником мы называем небольшое, но приятное времяпровождение на лоне природы.

— А, понятно, — кивнул швед. — Согласен, это и в самом деле можно назвать формой увеселения.

— Тут вокруг с добрых полдюжины мест, куда можно отправиться для пикника, — продолжал лейтенант. — Крайне живописные уголки с не менее живописными названиями: Прыжок Влюбленных, Черный Бублик, Руины Пивного аббатства…

— Рекомендовал бы последний из них, — вмешался Чарли. — Романтические старинные развалины — что может быть лучше для пикника?

— Ладно, принято. А долго туда добираться?

— Шесть миль, — пояснил Тревор.

— Это если напрямик. А по дороге — семь, — поправил полковник, которого армия приучила к абсолютной точности. — Мы с миссис Андервуд, пожалуй, останемся дома: не будем портить вам,

молодежи, удовольствие. А раз так, то вы все свободно уместитесь в коляску. Кто будет на ко́злах, определяйте сами.

Нет необходимости объяснять, что это предложение было встречено всеобщими аплодисментами.

— Ладно, — сказал Чарли, поднимаясь. — Значит, экипаж будет готов через полчаса. Поэтому не станем терять время. Что нам нужно? Лосось, салат, яйца, вода для чая — ого, немало! Я берусь организовать напитки. А ты, Лотти?

— Я займусь посудой.

— Я — рыбой, — сказал лейтенант.

— А я — овощами, — подала голос Фанни.

— Ну а вы, Гастер, какое амплуа себе изберете? — спросил Чарли.

— По правде сказать, — мелодично, нараспев проговорил швед, — выбор у меня невелик. Наверно, сперва я помогу дамам, а потом сумею оказаться полезным вам в приготовлении того, что на территории Англии называется салатом.

— Отличный выбор. Особенно во втором случае, — согласилась я.

— Что вы сказали? — переспросил Гастер, поворачиваясь ко мне и краснея до корней волос. — А! Да, вы, конечно, правы. Ха-ха. Хорошо сказано!

Натужно засмеявшись, он быстро вышел из комнаты.

— Слушай, Лотти, — с упреком произнес мой жених. — Ты ведь и вправду обидела его!

— Честное слово, я не нарочно. Если настаиваешь, пойду и скажу ему это.

— Ха! Вот это уже лишнее, — вмешался Дэйсби. — Не расклеится. И вообще обладателям таких физиономий не подобает быть настолько обидчивыми…

Я действительно не имела ни малейшего намерения оскорбить Октавиуса Гастера. Но в какой-то момент мне самой сделалось странно: отчего я так злюсь на себя за это? Уложив в корзинку всю посуду, необходимую для пикника, я увидела, что все остальные еще не справились со своей долей работы. Значит, у меня выдался свободный момент — и он показался как раз подходящим для того, чтобы принести Гастеру извинения. Не сказав никому ни слова, я быстро выскользнула в коридор и вскоре очутилась у входа в комнату, отведенную нашему гостю. Дверь ее была приоткрыта. Легкость ли моих шагов тому причиной или пышность ковров Тойнби-холла, но Гастер не заметил моего присутствия.

Я подошла ближе и заглянула внутрь.

Доктор Гастер, стоя посреди комнаты, читал газетную вырезку. В позе его было что-то настолько странное, что от удивления я буквально замерла на месте.

По-видимому, содержание вырезки чрезвычайно забавляло шведа. Но его веселость и была той странностью, причем странностью жутковатой: все тело тряслось в приступах смеха, однако с губ не срывалось ни звука.

На лице, которое я видела в профиль, застыло выражение… Вряд ли я смогу его описать. Ничего подобного мне еще не приходилось видеть за всю жизнь. Больше всего это напоминало дикарский восторг.

В ту самую секунду, когда я собиралась сделать еще один шаг и постучать в створку раскрытой двери, Гастер снова содрогнулся всем телом и бросил заметку на стол. А затем быстро вышел из комнаты через другую дверь, ведшую в бильярдную.

Когда шаги его затихли вдали, я снова заглянула в комнату.

Что именно могло вызвать такое веселье у столь серьезного, даже откровенно мрачного человека? Это, вне всяких сомнений, должен быть какой-нибудь подлинный шедевр юмора.

На свете очень мало женщин, у которых в таком случае любопытство не возобладает над правилами приличия. Внимательно оглядевшись по сторонам и убедившись, что в коридоре никого нет, я скользнула в комнату и взяла со стола заметку. Это была вырезка из какой-то английской газеты, причем довольно старая. Похоже, ее долго хранили в сложенном виде и, наверное, не раз перечитывали: листок был сильно потерт, некоторые строчки удавалось разобрать только с большим трудом.

Однако текст отнюдь не настраивал на юмористический лад. Воспроизвожу его по памяти:

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ В ЛОНДОНСКОМ ПОРТУ

Вчера утром, во вторник, капитан шведского парохода «Хельга» из Тромсберга обнаружен в своей каюте мертвым. По имеющимся в редакции сведениям, покойный отличался в высшей степени буйным характером. Уже в ходе рейса у него случались неоднократные стычки, в частности с судовым врачом. Непосредственно перед трагическим инцидентом одна из таких стычек достигла крайней остроты: капитан обвинил медика в некромантии и дьяволопоклонничестве — и тому, чтобы избежать физической расправы, пришлось в прямом смысле слова спасаться

бегством. Вскоре после этого стюард, войдя в каюту своего хозяина, обнаружил последнего бездыханным. Его смерть, по-видимому, объясняется сердечным приступом, происшедшим в результате вспышки необузданного гнева.

Сегодня будет произведен допрос команды.

Пораженная до глубины души, испытывая чувство, близкое к омерзению, я поспешила спуститься вниз. Тем не менее, если вы подумаете, что в мою душу уже тогда закрались те мрачные предположения, которое живут в ней теперь, вы ошибаетесь. Я продолжала смотреть на Гастера как на человека-загадку, одновременно и притягательную, и отталкивающую.

Пикник проходил весело, и мне показалось, что швед уже забыл о моей неудачной шутке. Он был по своему обыкновению мил и любезен, а приготовленный им салат мы единогласно провозгласили шедевром кулинарного искусства. Кроме того, Гастер оказался неистощимым кладезем различных (не только шведских) легенд, песен и баллад.

Не помню, кто из нас первым заговорил о сверхъестественном. Кажется, это был Тревор, рассказавший о каком-то забавном приключении, случившемся в Кембридже. Во всяком

случае, разговор на эту тему завел не Гастер, но тут же выяснилось, что к данному предмету он питает особый интерес. Иронический тон, в котором была выдержана история Тревора, произвел на шведа странное впечатление. Он тут же произнес пламенную тираду против лиц, сомневающихся в существовании сверхчувственного, причем рассказ, несомненно, задел его за живое: эта тирада сопровождалась порывистой жестикуляцией.

— Скажите, — патетически возглашал он, — слыхали ли вы когда-нибудь об ошибках того, что человечество называет «неразумным инстинктом»? Морская птица обладает инстинктом, который безошибочно указывает ей, на какой именно из бесчисленных островков, затерянных посреди океана, ей следует прилететь для гнездования. С приближением зимы ласточки улетают на юг; и что же, известны ли вам случаи, чтобы ласточки взяли неправильное направление? Нет и еще раз нет. А раз так, то я возьму на себя смелость утверждать: присущий каждому ребенку инстинкт, который говорит нам, что вокруг нас существуют неизвестные, нематериальные явления, тоже верен. И я верю всем свидетельствам такого плана.

— Обоснуйте, доктор, — сказал Чарли.

— А лучше все-таки возьмите другой галс, — предложил моряк.

— Ни за что! — возгласил швед, не обращая внимания на наши улыбки. — Мы видим, что материя существует независимо от духа. Почему же, в таком случае, не предположить и существование духа, независимого от материи?

— Ладно, допустим, мы дружно это предположили, — согласился лейтенант. — И что же дальше?

— Это не только предположения! — продолжал Гастер; глаза его горели диким воодушевлением. — У нас есть и доказательства! В этом не может сомневаться никто из тех, кто внимательно прочел книгу Штейнберга «О спиритизме». Или хотя бы труды мадам Кроу, этой великой американки. А случай с Густавом фон Шпее, встретившим на улице Страсбурга своего брата, который три месяца назад погиб в Тихом океане? А духовидец Хоум, который среди бела дня при множестве свидетелей воспарял над крышами парижских домов? И вообще — кто из нас хоть раз в жизни не слышал голоса умерших близких? Я сам, к примеру…

— Да ну? О, как интересно! И что же вы сами? —

наперебой заговорили все мы.

— Гм… Это я только для примера… — произнес Гастер. Он провел рукой по лицу и с видимым усилием постарался сменить тему. — По правде говоря, этот вопрос слишком зловещ и мрачен для столь чудесного времяпровождения. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом…

И, несмотря на все старания, нам так и не удалось вытянуть из Гастера больше ни слова насчет его собственного опыта сопричастности к сверхъестественному.

В целом же пикник удался на славу. Предстоящее вскоре расставание как будто поощряло каждого из нас всеми силами поддерживать сегодняшнее веселье. А разлука действительно была не за горами: почти сразу после ближайшего из местных праздников, гвоздем которого являлись стрелковые состязания, Джеку предстояло возвратиться на свое судно, а Тревору — в университет. Нас же с Чарли ожидала свадьба и совместная жизнь в совсем новом, непривычном для нас статусе: почтенной супружеской четы.

Неудивительно, что грядущие состязания в стрельбе стали у нас одной из основных тем разговора. Для Чарли пулевая стрельба являлась излюбленным хобби, он даже был капитаном

сформированной в Роборо команды стрелков-любителей, которая чрезвычайно гордилась тем, что в ее рядах состоят первейшие стрелки графства. Но и соперник на этот раз предполагался не из слабых: сборная лучших стрелков плимутского гарнизона. И потому даже знатоки не брались предсказать исход состязаний.

— Полигон всего лишь в миле от Тойнби-холла, — говорил мне Чарли. — Так что, милая, мы поедем туда вместе. Увидишь: наши ребята покажут плимутцам, где раки зимуют! Ты принесешь мне удачу, Лотти. Совершенно уверен в этом.

Эти слова мой возлюбленный произнес шепотом. О, бедный дорогой Чарли! Если бы мы только могли представить, какую именно «удачу» я тебе принесу…

Но тогда никто не подозревал об этом. И прекрасный летний день для меня был омрачен лишь одним: я уже больше не могла сомневаться в справедливости подозрений моей матушки насчет Октавиуса Гастера. Когда мы ехали домой, он не спускал с меня глаз. Да и во всех обращенных ко мне его речах слышались интонации, говорящие больше, чем любые слова.

Я сидела как на иголках и больше всего на свете боялась, как бы Чарли (мне был отлично известен

его горячий нрав!) не заметил того, что теперь сделалось для меня столь ясным. Но ему даже в голову не приходила мысль о таком вероломстве со стороны нашего гостя.

Только раз он с некоторым удивлением покосился на Гастера, когда тот настоял на том, чтобы вместо меня держать большой букет полевых цветов, собранных во время пикника. Но и это удивление тут же сменилось добродушной улыбкой: он счел данный поступок проявлением той галантности, которой всегда отличался Гастер. Мне же в те секунды вдруг стало жалко не Чарли, а несчастного иностранца — и досадно, что я являюсь невольной причиной его душевных томлений. Всю оставшуюся дорогу я размышляла о том, какое это мучение для столь сдержанного в своих чувствах, серьезного человека — стать внезапной жертвой жгучей страсти. Причем такой, о которой его честь и достоинство никогда не позволят даже упомянуть хотя бы единым словом…

Увы! Я приписывала этому человеку совсем не те достоинства, которыми он обладал в действительности. И очень скоро мне пришлось в этом убедиться.

…В укромном уголке нашего сада располагалась беседка, которая вот уже давно служила для

нас с Чарли местом тайных свиданий. Она была особенно дорога моему сердцу потому, что именно в ней мы впервые обменялись словами любви. Вечером после пикника я сидела там, ожидая Чарли: он должен был прийти сразу после того, как, соблюдая заведенный в Тойнби-холле обычай, выкурит сигару в гостиной. Однако на этот раз он почему-то задержался дольше обычного, или, во всяком случае, так мне показалось.

Я ждала его со все растущим нетерпением. Поминутно мне чудилось, что слышу его шаги, но, подбежав к порогу беседки, я убеждалась в своей ошибке. В очередной раз вернувшись от порога, я еще не успела снова сесть на скамейку, как вдруг услыхала на садовой дорожке шаги и увидела чью-то приближающуюся тень.

Я радостно бросилась ко входу. Но моя радость мгновенно сменилась изумлением и даже страхом, когда я вдруг увидела перед собой худое и бледное лицо Октавиуса Гастера. Что бы ни думали о нем прежде, его появление здесь и сейчас заставило бы содрогнуться любую женщину.

Вместо того чтобы сразу же удалиться, он окинул взглядом сад вокруг — видимо, желая удостовериться, что мы совершенно одни. А потом крадучись, но быстро вошел в беседку и уселся в

плетеное кресло перед входом, тем самым практически закрыв мне путь к отступлению.

— Не бойтесь! — сказал он, заметив тревогу на моем лице. — Поверьте, вам нечего опасаться. Я пришел сюда только для того, чтобы иметь возможность поговорить с вами.

— По пути сюда вы случайно не встретили мистера Пиллара? — спросила я, прилагая невероятные усилия для того, чтобы сохранить спокойный вид.

— Ха! Не встретил ли я вашего маленького Чарли? — язвительным тоном проговорил он. — Вы, значит, ждали именно его? Но неужели только Чарли имеет право на ваше внимание, дорогая?

— Мистер Гастер, вы забываетесь!

— Чарли, Чарли… всегда только Чарли, — продолжал Гастер, не обращая внимания на мои слова. — Да, видел я его, этого вашего Чарли. Я сказал ему, что вы дожидаетесь его на берегу реки, и он мгновенно упорхнул туда на крыльях любви.

— Зачем вы солгали ему? — спросила я, вновь собирая все свои душевные силы, чтобы не удариться в панику.

— Я уже сказал: чтобы иметь возможность увидеться с вами. Неужели вы действительно

любите его по-настоящему? Неужели слава, богатство, могущество, пределы которого вы даже вообразить себе не можете, все-таки неспособны перевесить это чувство первой любви, этот, по существу, девичий каприз? Будьте со мной, Шарлотта, уедем вместе — и у вас будет все это: богатство, могущество, слава…

И он молящим жестом простер ко мне свои длинные руки. Мне вдруг показалось, что меня стремится обнять спрут или гигантский паук.

— Вы оскорбляете меня, сэр! — крикнула я, вскочив с места. — И уверяю: вы жестоко раскаетесь в том, что позволили себе так поступать с беззащитной девушкой!

— О Лотти! Вы ведь не думаете так на самом деле… В вашем нежном сердце, наверное, найдется хоть капля жалости к несчастнейшему из смертных, который лежит сейчас у ваших ног. Нет, клянусь, вы не уйдете отсюда, не выслушав меня до конца!

— Пустите меня, сэр!

— Нет, не пущу. Во всяком случае, пока вы не скажете, могу ли я надеяться на вашу любовь.

— Как вы смеете говорить мне подобное? — громко выкрикнула я, голосом призывая на помощь и чувствуя, что мое негодование окон-

чательно уступает место страху. — Вы, гость моего будущего мужа! Знайте раз и навсегда — я испытываю к вам лишь гадливость и презрение. А теперь ступайте прочь, пока эти чувства не сменились открытой ненавистью!

— А, вот как ты заговорила? — прерывающимся голосом просипел Гастер, поднес руку к своему горлу, точно ему вдруг сделалось тяжело дышать, и, зашатавшись, внезапно придвинулся ко мне вплотную. — Значит, моя любовь вызывает у тебя лишь презрение и ненависть?!

Наши лица теперь разделяло только несколько дюймов. Мне пришлось отвернуться, чтобы не встречаться с его страшно остекленевшим взглядом.

— А! Понимаю! — зашипел он. — Теперь я понимаю все! Причина вот в этом?

И он ударил кулаком по своему ужасному шраму.

— Да, юные взбалмошные девицы не любят такие отметины. Что ж, в этом смысле мне далеко до Чарли — этого жалкого школяра, обладателя гладкой загорелой мордочки, этого жизнерадостного самца, интересующегося только спортом и…

— Пропустите меня! — крикнула я, бросаясь к выходу из беседки.

— О нет, тебе от меня не уйти, — прохрипел он, отшвыривая меня внутрь.

Я яростно отбивалась — но его паучьи руки сдавили меня, словно железным обручем. И я, теряя последние силы, уже отчаялась освободиться, как вдруг Гастер буквально взвился в воздух и, отброшенный, как котенок, шлепнулся на усыпанную песком садовую дорожку. Задыхаясь, я подняла глаза — и увидела перед собой Чарли, его высокую фигуру, широкие плечи…

— Бедняжка моя, — проговорил он, сжимая меня в объятиях, — садись вот сюда… не бойся… Ну-ну, все в порядке, опасность миновала. Только обожди меня минутку: я сейчас вернусь, только сперва разберусь с этим…

— О, не оставляй меня, Чарли, не оставляй меня, — прошептала я, но он, не слушая, поднялся и решительно вышел из беседки. Мне теперь не было видно ни его, ни Гастера, но я ясно слышала их разговор.

— Мерзавец, — произнес голос, в котором я едва смогла узнать голос моего жениха, — так вот почему ты отправил меня к реке?

— Да, именно по этой причине, — небрежным тоном ответил швед.

— Это так ты привык платить за гостеприим-

ство, негодяй?!

— А что, собственно, произошло? Признаюсь: да, мы с мисс Андервуд приятно проводили время в вашей восхитительной беседке, но…

— «Приятно проводили время»!.. Только потому, что вы еще находитесь на моей земле, сэр, я удерживаюсь от того, чтобы поднять на вас руку, — но, клянусь небом… — Голос Чарли звенел от едва сдерживаемого гнева.

— Чем-чем вы клянетесь? И повторяю: в чем, собственно, дело? — с расстановкой произнес Октавиус Гастер.

— Если вы имеете наглость утверждать, будто мисс Андервуд…

— «Утверждать»? Я ничего не утверждаю, кроме очевидных фактов, которые готов объявить прямо, открыто и во всеуслышание: эта юная леди, кажущаяся столь невинной, внезапно проявила ко мне такое влечение, что…

Я услыхала глухой удар и звук падения.

Накатившая слабость не позволила мне подняться. Сил у меня хватило лишь на то, чтобы вскрикнуть от ужаса.

— Мразь. — Это был голос Чарли. — Повтори такое еще раз — и это окажутся твои последние слова.

После короткой паузы до меня донесся искаженный, хрипящий голос Гастера.

— Вы ударили меня, — прошептал он. — Вы пролили мою кровь!

— Да, и снова сделаю это, если еще когда-либо увижу вашу рожу здесь или в окрестностях. И не корчите гримасы, сэр! Вы думаете, это меня испугает?

Со мной творилось что-то неописуемо странное. Пересилив страх, я сумела встать и подойти к выходу из беседки. Теперь мне были видны они оба. Чарли замер в боксерской стойке, глядя на своего противника с горделивым презрением. А напротив него — Октавиус Гастер, похожий одновременно на паука и летучую мышь, только что поднявшийся с земли; он неотрывно, с ненавистью смотрел Чарли в глаза. Из разбитой губы шведа струилась кровь, обильно пятнавшая его изумрудного цвета шейный платок и белый жилет.

Как только я показалась в дверях беседки, он сразу заметил меня.

— О! А вот и причина нашего раздора! — воскликнул он, разразившись поистине демоническим смехом. — Да, вот и ваша невеста. Честь и хвала невесте! Да здравствует счастливая пара!

Честь и хвала счастливой паре!

Снова расхохотавшись, он повернулся — и прежде чем мы успели догадаться, что он намерен делать, исчез с наших глаз, мгновенным движением перескочив через окружающую сад высокую изгородь.

— О Чарли, — сказала я, когда мой жених подошел ко мне, — ты действительно пролил его кровь…

— «Пролил кровь»! Пожалуй, что да, хотя он заслужил куда большего. Идем отсюда, Лотти. Дорогая моя, как ты напугана… Он не причинил тебе вреда?

— Нет. Но я, кажется, вот-вот упаду в обморок.

— Пойдем же домой, милая. Вот так… потихоньку… обопрись на меня… Негодяй! Но рассчитал он все хорошо: сказал мне, что видел тебя на берегу реки, — и я, конечно, не усомнился. Однако по пути туда встретил Стокса-младшего, сына сторожа, возвращавшегося с рыбной ловли. Он и сказал мне, что на берегу нет ни души. Я тут же вспомнил кое-какие мелочи, которые и раньше замечал за Гастером, только поверить не мог, — и со всех ног помчался к беседке.

— Чарли, — сказала я, обнимая моего жениха, — я боюсь его. Да, я в самом деле боюсь, что он

найдет способ нам отомстить. О, как он сверкнул глазами, прежде чем перемахнуть через изгородь! Помнишь?

— Фью! — присвистнул Чарли. — Эти иностранцы всегда очень свирепы, когда сыплют угрозами, но не тогда, когда доходит до дела…

Мы уже подходили к Тойнби-холлу.

— И все-таки я боюсь его, — с дрожью в голосе произнесла я. — И поверь: все отдала бы за то, чтобы тебе не пришлось пролить его кровь.

— Я и сам охотно взял бы назад этот удар: как ни крути, мерзавец в тот момент еще продолжал оставаться гостем нашего дома. Но тут придется согласиться со словами повара из «Пиквика»: «что зажарено, того не сварить», сделанного не вернешь. Кроме того, такую наглость трудно перенести тому, кто считает себя мужчиной, а не тряпкой…

Теперь мне остается лишь бегло описать все, что произошло в течение нескольких следующих дней.

Для меня эти дни были временем ничем не замутненного счастья: когда Гастер исчез, с моей души будто свалился тяжелый камень. Те же чувства, как выяснилось, испытывали и остальные обитатели Тойнби-холла.

Ко мне снова вернулась та беззаботность, которую я ощущала до появления в усадьбе чужака. Даже полковник — и тот перестал жалеть об его исчезновении. Впрочем, теперь старого вояку больше всего интересовали грядущие состязания, одним из главных участников которых должен был стать его сын.

Пожалуй, в эти дни именно стрелковые состязания и были главной темой всех наших разговоров…

Многие держали пари за успех команды из Роборо — и никто не пал так низко, чтобы делать ставки на ее противников: во всяком случае здесь. Так что Джеку Дэйсби, придерживавшемуся особого мнения, пришлось тайком съездить в Плимут и заключить там серию пари среди военных моряков. Я вынуждена сказать, что абсолютно не разобралась в системе спортивных ставок, но судя по объяснениям, которые дал Джек, при выигрыше Роборо лично он мог проиграть совсем немного, от силы семнадцать шиллингов, а вот выигрыш нашей команды стал бы для него подлинным бедствием… Но тут его объяснения и завершались.

Мы с Чарли дали друг другу слово никогда не вспоминать имя Гастера и хранить в тайне все

происшедшее возле садовой беседки. Наутро Чарли послал в комнату Гастера слугу, поручив ему собрать все вещи гостя и доставить их в ближайший паб, где, по-видимому, тот вчера заночевал. Но оказалось, что вещи шведа уже исчезли из гостевой комнаты, хотя для всех слуг так и осталось загадкой, когда и каким образом это произошло.

VI

Стрелковое поле в Роборо — одно из красивейших мест, которые я когда-либо видела. В длину оно достигает полумили, поверхность его очень тщательно вымерена и размечена, так что мишени можно выставлять на самые разные дистанции от двухсот до семисот ярдов. Самые отдаленные из них кажутся крохотными белыми квадратиками, едва различимыми на зеленом фоне окрестных холмов.

Само поле как таковое является частью обширной равнины. По краям — там, где завершается разметка, — плавно поднимаются склоны невысоких холмов. Благодаря этой симметричности очертаний человеку с богатой фантазией может представиться, что весь стрелковый полигон — плод работы великана, аккуратно срезавшего

участок земли, как отрезают ломоть сыра, но тут же убедившегося, что этот сыр его совсем не привлекает.

Этот же человек с богатой фантазией мог зайти в своих предположениях и дальше: например, вообразить, что всю снятую землю великан стряхнул со своего сырного ножа на одну из окраин поля, как раз ту единственную, где вздымался холм заметно выше прочих. С него отлично просматривался весь полигон[49].

Именно на этом возвышении и был оборудован стрелковый рубеж и места для болельщиков. Сюда-то мы и направились в тот роковой полдень.

Команда противников прибыла раньше нас. С ними были и их болельщики: множество офицеров, флотских и армейских. А длинный ряд крайне разномастных экипажей подтверждал, что добрые граждане Плимута решили не упускать шанс и привезли в качестве зрителей всех своих чад и домочадцев.

На самой вершине холма помещалась трибуна

---

[49] Примечания: 49

Несколько «подправленное», но все равно узнаваемое описание главной спортивной площадки в окрестностях Саутси: правда, там главным образом проходили крикетные матчи, а не стрелковые состязания. При этом А. Конан Дойл был ведущим игроком местной крикетной команды — и в целом исполнял такую же роль, как Чарли в команде стрелков из Роборо.

для дам и почетных гостей. Она представляла собой не менее живописное зрелище, чем тенты, предназначенные для участников, и фуршетные столики.

Местные фермеры, собравшиеся тут в немалом количестве, азартно делали ставки на местных же чемпионов. Гарнизонные офицеры, разумеется, с не меньшей пылкостью поддерживали своих.

Чарли, Тревор и Джек без труда проводили нас сквозь громогласную разгоряченную толпу — до самой трибуны, откуда нам удобно было наблюдать все происходящее вокруг. А посмотреть было на что — и вскоре мы так увлеклись открывшимся нашему взору великолепным видом, что совсем перестали обращать внимание на болельщиков, принимавших ставки, переругивавшихся и обменивавшихся друг с другом едкими шуточками.

Далеко внизу, на юг от нас, в летнем безветрии поднимались к небу прозрачные дымки из труб Плимута. А за ними расстилалось море — бескрайнее и бесстрастное, лишь местами испещренное пеной случайных волн, словно бы протестующих против самой идеи абсолютного покоя, столь несвойственного природе. Прямо же

перед нами, будто на гигантской карте, простерлось все побережье Девона…

Я, как зачарованная, не могла оторваться от прекрасного зрелища, когда меня вдруг привел в чувство голос Чарли:

— Эх, Лотти! Тебе, я вижу, совсем неинтересно то, ради чего мы здесь собрались…

— О нет, любимый, мне очень интересно! — поспешила возразить я, защищаясь от еле уловимой нотки упрека, прозвучавшей в этих словах. — Но ты же видишь, какая красота открывается отсюда, а море ведь всегда было моей слабостью… Ну ладно, ладно, больше не буду! Расскажи мне про состязания все-все, как можно подробнее. А для начала объясни, как понять самое простое: ну, хотя бы кто побеждает.

— Да я уже, собственно, объяснил. Повторить?

— Ох, извини меня, дорогой. Ну, повтори, пожалуйста. Клянусь: теперь я буду самой внимательной слушательницей!

— Что ж, попробуем. С каждой стороны участвует по десять стрелков. Стрельба ведется поочередно: сначала один из нас, потом один из них — и так вся десятка… Это понятно?

— Да, пока что я не сбилась.

— Первая дистанция — двести ярдов. Там рас-

положена самая ближняя из мишеней. По ней мы даем пять выстрелов, потом пять по следующей, более удаленной, и снова пять — по мишени на рубеже в семьсот ярдов. Вон она, видишь, там, довольно высоко на склоне. Побеждают те, кто набрал больше очков. Это понятно тоже?

— О да, это не слишком сложно даже для меня.

— Хорошо. А знаешь ли ты, дорогая, что такое «яблочко» или «бычий глаз»?

— Нечто очень сладкое! — уверенно ответила я.

Чарли до глубины души был поражен моим невежеством.

— «Яблочко», оно же «бычий глаз» — это черная точка в самом центре мишени, как зрачок посреди радужной оболочки глаза, которая, в свою очередь, окружена белком. Если попасть точно в него, засчитываются сразу пять очков. Вокруг этой точки очерчен кружок, которого ты, милая, отсюда не разглядишь — да тебе, кажется, и не нужно. Это — центр мишени как таковой. Попадание в центр приносит четыре очка. Попадание в «радужину», мишень за пределами центра — три очка. Место попадания ты можешь определить по цвету диска, который поднимает вот этот человек — корректировщик. На него же

возложена обязанность следить за тем, чтобы не возникало путаницы, чья пуля и когда попала в цель.

— Да, теперь я и в самом деле все поняла! — радостно сообщила я своему жениху. — И знаешь, Чарли, что я сделаю? Я буду записывать результаты каждого выстрела! Таким образом у нас сохранится документ, определяющий судьбу Роборо.

— Отличная мысль! — Чарли одобрительно рассмеялся и поспешил присоединиться к своей команде стрелков, потому что как раз в этот момент прозвучал гонг, возвестивший начало состязания.

Я посмотрела на стрелковый рубеж. Команда Роборо в серых куртках опустилась на траву, изготовившись к стрельбе из лежачего положения. Справа от нее такую же позицию заняла армейская команда в красных куртках.

Бах! Прозвучал первый выстрел. Над травой поднялось еле заметное облачко дыма.

Фанни радостно вскрикнула, и я с не меньшим ликованием подхватила ее крик, потому что увидела белый диск, означавший попадание в «бычий глаз». Это был первый успех команды Роборо.

Мой восторг, впрочем, скоро был охлажден результатами следующего выстрела, принесшего пять очков армейцам. Новый выстрел, Роборо — снова «бычий глаз», и опять армейцы тут же взяли реванш.

Когда стрельба на ближнюю дистанцию была завершена, выяснилось, что обе команды держатся почти наравне: сорок девять очков против пятидесяти.

— Это становится интересно, — сказал Чарли, подходя к трибуне. — Ну, через несколько минут мы посмотрим, как они стреляют на пятьсот ярдов…

— Чарли, Чарли! — вне себя от волнения воскликнула Фанни. — Ради всего святого, не оплошай!

— Сделаю все, что в моих силах! — весело заверил ее брат.

— Ты ни разу не промахнулся мимо «бычьего глаза»! — заметила я.

— Да, но на бóльших дистанциях, когда придется задирать мушку, это не будет так легко. Однако я уже сказал: каждый из нас сделает все, что в наших силах. Хотя следует признать — у противников отличные стрелки на дальние дистанции. О! Гм… — На лице моего жениха вдруг появилось

выражение тревоги. — Лотти, ты не могла бы отойти со мной на пару слов?

— Что случилось, Чарли? — спросила я, когда он отвел меня в сторону.

— Опять этот тип… — недовольно прошептал он. — Какого дьявола он здесь делает? Я уже думал, что мы с ним никогда больше не встретимся!

— Какой тип? — Мой голос дрожал, а сердце, полное каких-то смутных предчувствий, забилось неровно.

— Да этот проклятый швед или кто он там… Октавиус Гастер.

Я проследила за взглядом Чарли — и замерла, обомлев. На склоне холма, совсем неподалеку от того места, где лежали стрелки, виднелся высокий, угловато-ломаный силуэт чужестранца.

Среди окружавших его крепких, приземистых, просто одетых фермеров он, безусловно, казался белой вороной. На него уже поглядывали, но Гастер, похоже, не обращал на это никакого внимания. Он медленно шарил по толпе взглядом, явно высматривая кого-то. Еще мгновение — и наши взгляды встретились.

Наверно, мне это почудилось (расстояние все же было слишком велико), но из глаз его букваль-

но выплеснулся луч торжествующей ненависти.

Мной вдруг овладело странное предчувствие. Обеими руками я схватилась за запястье любимого.

— Чарли! — закричала я. — Не отходи от меня! Придумай какой-нибудь предлог, откажись от продолжения соревнований — и поедем домой, прямо сейчас!

— Ну что ты, не говори глупости, малышка. — Он только засмеялся. — Нашла кого бояться!

— Ты не понимаешь! Он… Он может…

— Не паникуй, дорогая. Если он что-то «сможет» в таких условиях, то это вообще не человек, а как минимум полубог какой-то. О, вот и гонг. Ну, мне пора к своим.

— Хорошо, иди… — Я сделала несколько шагов следом за Чарли, не в силах отпустить его руку. — Тогда обещай мне, что не будешь к нему приближаться!

— Ладно, ладно, не стану…

Мне пришлось удовольствоваться этой уступкой.

VII

На пятисотярдовой дистанции борьба оказалась не менее напряженной. Сперва Роборо опередило противников на два очка, но потом лучшие из армейских стрелков сумели поразить «бычий глаз», и это склонило победу на их сторону. В результате наша команда уступила армейцам целых три очка. Этот результат был встречен шквальными аплодисментами плимутцев и полным унынием местных болельщиков.

Все это время Октавиус Гастер неподвижно и бесстрастно продолжал стоять на прежнем месте. Мне показалось, что самими состязаниями он подчеркнуто не интересуется. Он смотрел вроде бы в сторону мишеней, но на самом деле его взгляд был слепо устремлен куда-то вдаль.

Один раз мне удалось увидеть его сбоку. Почти уверена, что не ошибаюсь: его губы быстро двигались, будто шепча молитву. Впрочем, все-таки возможно, это был лишь обман зрения, вызванный поднимавшимся над землей горячим маревом. Как бы там ни было, но я готова утверждать под присягой, что видела шевеление его губ.

А состязания тем временем перешли на максимальную дистанцию. И именно этот результат должен был подвести окончательный итог.

Стрелки из Роборо приступили к делу с мрачной решимостью наверстать упущенные три очка. Но, конечно, и армейцы не собирались им уступать.

Снова, один за другим, над полем затрещали выстрелы. Волнение зрителей возросло до такой степени, что они подступили к стрелкам вплотную. А когда корректировщик показывал попадание в «бычий глаз» — встречали это известие лихорадочными аплодисментами.

Мы, тоже не вытерпев напряжения, сошли с трибуны и смешались с толпой, готовые терпеливо выдержать толкотню, лишь бы не упустить решающий момент, который может принести победу нашим чемпионам.

Военные пока набрали семнадцать очков, наши — шестнадцать. Болельщики из Роборо были в отчаянии, но на двадцати четырех очках счет сравнялся, а потом наши вышли вперед с тридцатью двумя очками против тридцати. Однако теперь еще предстояло отвоевать три очка, потерянные на средней дистанции.

Обе команды делали отчаянные усилия, стре-

мясь закрепить победу за собой. Но вот толпа содрогнулась, как один человек: последний из команды красных курток сделал свой выстрел. А у наших оставался в запасе еще один выстрел; армейцы пока вели с разрывом в четыре очка, но…

Даже мы, женщины (хотя нам, вообще говоря, положено быть равнодушными к спорту) не могли теперь думать ни о чем, кроме этого последнего выстрела. Выстрела, который должен был сейчас принести победу той или другой стороне.

Если последний из наших стрелков выбьет «бычий глаз», победа будет за нами! И лишь от финального выстрела зависит судьба призового кубка, честь всей стрелковой команды и, разумеется, многочисленные ставки…

Нетрудно понять, что испытала я, когда, изо всех сил вытянувшись и привстав на цыпочки, увидела: последний выстрел надлежит сделать Чарли. Он с величайшим хладнокровием передернул затвор, вложил в винтовку новый патрон…

Чарли, любимый! От твоего мастерства зависит честь Роборо!

Если бы не это, никогда бы я не нашла сил протиснуться через толпу и занять место в первом

ряду зрителей. Но я оказалась там и поэтому видела абсолютно все.

Справа и слева от меня, как башни, высились два дюжих фермера. Они переговаривались прямо через мою голову, и мне поневоле приходилось их слушать.

— Ну и харя у этого долговязого! — сказал один из них.

— Да уж. Что харя, то харя, — согласился другой.

— Не, ну ты только посмотри на него! Экий журавль! Ты раньше хоть видал его когда? Я, побожусь, ни в жисть не видал!

— Ей-ей, Джек, не божись: я и так тебе поверю. Не, глянь только: да у него же пена на губах! Точь-в-точь как та собачонка Ватсона[50] — помнишь, щенок бульдога, который взбесился да и подох? Ну просто псих!

Как ни ожидала я выстрела Чарли, но при этих

---

[50] Примечания: 50

Несмотря на то что Ватсон здесь не доктор, а кто-то из соседей этих фермеров (роль доктора в рассказе отдана совсем другому персонажу!) — перед нами первое для А. Конан Дойла упоминание фамилии будущего спутника Холмса. Эта фамилия тоже принадлежала реальному человеку, и именно доктору, но, в отличие от Тревора, Ватсон был не соучеником Конан Дойла по университету, а… одним из его коллег по Саутси. То есть очень возможно, что два молодых доктора свели знакомство как раз в те дни, когда один из них (разумеется, не Ватсон, а Конан Дойл) писал этот рассказ.

словах все-таки оглянулась, чтобы посмотреть, кого это простодушные сыны полей обсуждают с таким темпераментом. И сразу же увидела позади себя доктора Октавиуса Гастера, о котором успела совсем забыть.

Лицо его было обращено ко мне, но было совершенно ясно, что он не замечает меня: взгляд его неподвижно уставился в точку, находящуюся примерно на половине расстояния между стрелковым рубежом и дальней мишенью.

Никогда я не видела ничего, что могло бы сравниться с запредельной, нечеловеческой напряженностью этого взгляда. Глаза Гастера, буквально вылезшие из орбит, налились кровью, а зрачки сузились до величины булавочной головки.

По его лицу, сейчас не просто мертвенно-бледному, но прямо-таки трупному, обильно стекал пот. А в углах рта (фермер не ошибся!) действительно клубилась пена. Челюсти были сжаты так плотно, что я, казалось, могла слышать скрип его зубов. Я сразу почувствовала: Гастер сейчас напрягает свою волю до последнего предела.

Это страшное, отвратительное лицо я теперь буду видеть в ночных кошмарах весь остаток жизни…

Я вздрогнула всем телом и отвернулась, питая напрасную надежду, что фермер прав и все, секунду назад виденное мною, объясняется самой прозаической причиной: сумасшествием.

Чарли наконец перезарядил винтовку. Улыбнулся. Снова лег на траву и прижал приклад к плечу. Вокруг воцарилась благоговейная тишина.

— Все будет хорошо, мистер Чарльз, не волнуйтесь, — вдруг подал голос Макинтош, отставной сержант, старейший стрелок нашей команды. — Нужны только глазомер и твердость руки. А это у вас есть — и ваше дело в шляпе.

Чарли снова улыбнулся и начал целиться. Тишина вокруг сделалась по-настоящему мертвой. Казалось, можно услышать, как растет трава.

Он целился долго, не меньше минуты. И уже готов был нажать на спуск, но вдруг передернул плечами, встал на одно колено и выронил оружие из рук.

Все с изумлением уставились на Чарли. Он был бледен, точно мертвец, а по лицу ручьями струился пот.

— Макинтош, — странным голосом, словно задыхаясь, произнес он. — Кто это стоит между мной и мишенью?

— Между вами и мишенью?! Да нет там никого, сэр! — в крайнем недоумении ответил старый сержант.

— Да вон же, дружище, посмотри сюда! — крикнул Чарли, хватая его за руку и указывая на что-то. — Неужели не видите его? Прямо на линии выстрела?

— Там никого нет! — закричало сразу с полдюжины голосов.

— Как — никого нет? Ох, да, и в самом деле… Что-то мне такое померещилось… — сказал Чарли и провел рукой по лбу, смахивая пот. — Что за черт! Я ведь мог бы поклясться… Ладно, давайте винтовку.

Он снова лег на землю и плавно поднес оружие к плечу. Но тут же снова вскрикнул и вскочил на ноги.

— Ну вот же он! Я вижу его совершенно отчетливо. Человек в серой куртке нашей команды и вообще, кажется, похож на меня. Кто это тут собрался меня дурачить? Что за шутки — выставлять напротив мишени моего двойника! — Чарли в ярости обернулся к зрителям. — Ну, кто из вас скажет, что не видит вон там человека, похожего на меня? Человека, до которого сейчас всего-то двести ярдов?

Я бы давно уже вмешалась, но понимала, как тяжело сейчас будет Чарли принять женское заступничество. Особенно мое. И мне оставалось только одно: ждать…

— Я заявляю протест. — Какой-то армейский офицер сделал шаг вперед. — Этот джентльмен должен сделать свой выстрел. В противном случае состязание завершено и победа остается за нами.

— Но я же убью его! — Лицо Чарли исказилось.

— Что за ерунда! Стреляйте же! Стреляй, черт возьми! — зароптали уже многие зрители.

— Дело ясное, — сказал один из военных своему соседу. — У парня сдали нервы. Вот он и старается увильнуть.

Этот идиот, конечно, никогда не узнает, как близок он был к тому, чтобы прилюдно получить от моей руки звонкую пощечину.

— Да просто принимать натощак поменьше надо, особенно всякого этакого, трехзвездочной крепости, — вполголоса ответил тот. — Иначе не то что двойника — зеленого чертика увидеть можно! По себе знаю…

Смысл этой фразы был понят мною с большим запозданием; стало быть, очевидцу зеленых чертиков повезло — иначе он подвергся бы той же

опасности, что и его товарищ.

— Ну так что? Стреляешь? Будете вы сегодня стрелять или нет? — доносилось уже со всех сторон.

— Да! Да, я буду… — простонал Чарли. — Я выстрелю прямо сквозь него. Но знайте: это кончится убийством!

Я никогда не забуду безумного взгляда, которым он обвел жаждущую выстрела толпу.

— Я убью его, Макинтош, — прошептал Чарли, в третий раз поднося к плечу винтовку.

Все замерли в напряженном ожидании — и тут сверкнуло пламя выстрела. А грохота его почти не было слышно, он потонул в рукоплесканиях.

— Отлично! Превосходно! Молодец, парень! — восторженно ревели сотни глоток, когда белый диск возвестил попадание в «бычий глаз» и нашу победу.

— Славный выстрел, юноша! Этот молодой Пиллар из Тойнби-холла — стрелок что надо! Качать его, ребята! Отнесем его домой на руках! Да здравствует Роборо! Что там такое, сержант Макинтош? Что случилось? В чем дело?!

Толпа растерянно смолкла. Затем люди начали перешептываться. Кто-то горестно вздохнул.

— Не трогайте ее! Оставьте! Пусть уж бедняжка

поплачет…

И снова над стрелковым полем повисла тишина, нарушаемая лишь женскими стонами и плачем. Чарли, мой бедный Чарли лежал на траве мертвый, все еще продолжая сжимать ложе роковой винтовки.

Я, точно сквозь пелену, слышала, как кто-то пытается меня утешить. Слышала звенящий от горя голос лейтенанта Дэйсби, призывавшего меня держаться. Ощущала, как он медленно уводит меня прочь от тела моего возлюбленного…

Вот и все, что я помню; а потом — мрак забвения вплоть до того дня, когда я очнулась в Тойнби-холле. Рядом со мной была сиделка. Она мне и объяснила, что три недели я провела между жизнью и смертью, в горячечном бреду.

Неужели я больше ничего не помню?

Временами мне кажется — нет.

А порой как будто припоминается момент просветления среди долгих ночей непрерывного бреда. Я вижу, как сиделка выходит из комнаты… Как в окне появляется длинный, тощий бескровный силуэт… как я слышу голос…

И он говорит:

— Я свел счеты с твоим возлюбленным. Теперь мне только остается сделать это еще и с тобой.

Голос кажется мне знакомым. Кажется, я уже слышала его где-то… когда-то… Быть может, во сне?..

«И это все? — скажете вы. — И на таких шатких основаниях безумная истеричка позорит в газетах имя честного ученого? И на еще более шатком основании пытается выстроить против него несуразное обвинение в чудовищном преступлении?»

Да, это все. Я понимаю, что на вас, уважаемый читатель, описанные мною события не могут произвести такого впечатления, какое они произвели на меня. Но одно я знаю твердо. Если бы я находилась на середине моста и с одной стороны был бы Октавиус Гастер, а с другой — свирепейший из тигров индийских джунглей, я, не колеблясь ни секунды, бросилась бы к тигру, уповая на его защиту.

Моя жизнь разбита навеки.

Как и когда она оборвется — не имеет значения.

Мне нечего больше желать.

И только одно желание у меня еще сохранилось: может быть, эти строки сумеют хоть как-то помешать чудовищу в его дальнейших действиях. Может быть, они даже смогут спасти от него

чью-нибудь жизнь…

Эпилог

Через две недели после того, как был записан этот рассказ (правдивость его я клятвенно подтверждаю!), моя дочь бесследно исчезла.

Поиски ее не привели к какому-нибудь обнадеживающему результату.

Один из железнодорожных служащих ближайшей станции показал, что видел молодую леди, по описанию напоминающую мою дочь, которая садилась в вагон первого класса. Ее спутником был высокий и худощавый джентльмен.

Несмотря на это свидетельство, я не могу допустить, чтобы она отправилась в подобное путешествие по собственной воле. Тем более — спустя столь малый срок после перенесенной ею ужасной потери. А вдобавок еще и не сказав об этом ни слова мне.

Мы все-таки передали сыщикам эту информацию.

Возможно, они и сумеют отыскать след…

Эмма Андервуд

Перевод Марины Маковецкой и Григория Панченко

Редьярд Киплинг. Окопная Мадонна

Киплинг, как и Конан Дойл, хорошо известен современным читателям. «Окопная Мадонна» входит в поздний цикл его «масонских» рассказов, находящихся на стыке нескольких жанров — включая мистику, детектив и фантастику. Повествование ведется от первого лица, но сюжеты не связаны сколько-нибудь тесно, действующие лица (кроме доктора Кида, который фигурирует в двух из этих историй) тоже не совпадают, поэтому трудно понять, всегда ли рассказчик является одним и тем же человеком.

Масонские ложи у англичан в ту пору скорее играли роль клубов, так что сами по себе они не объясняют мистический колорит. Гораздо важнее другое: общим фоном этих рассказов служит Первая мировая война, уже несколько лет как отбушевавшая, но заставившая многих тянуться к встречам за гранью жизни. Это в полной мере касается и самого Киплинга, потерявшего на войне сына.

Что бы ни вздумал люд простой
О тех, кто выше поставлен судьбой,
Являли в веках они вновь и вновь
Величье души и без меры любовь.

О милая, счастье души моей!
Пусть нас разлучило течение дней,
Исчезла навечно ты, скрылась из глаз —

Но боги не сделают так еще раз!
Суинберн. Les Noyades[51]

После завершения войны ряды нашей «Ложи Инструкторов» (филиал ложи «Вера и Труд», исполнительный комитет № 5837), сильно поредевшие, начали пополняться в основном за счет бывших солдат. Чуда тут никакого не было: сейчас ведь, собственно, значительная часть человечества из таких солдат и состояла… А вот если бы у новичков, каждый из которых продолжал нести в душе груз фронтовых воспоминаний, получилось легко и просто наладить сотрудничество с остальными собратьями по ложе, это точно стало бы чудом. Но наш доктор — он же Первый

[51] Примечания: 51
Пер. Алины Немировой.

страж, он же просто брат Кид, энергичный крепыш с острой бородкой, вечно устремленной вперед, словно торпеда, — всегда был готов разобраться со всем, хоть мало-мальски имеющим отношение к нервному срыву. Так что я мог со спокойной совестью проверять кандидатов только на верность принципам ложи, а если мне что-то казалось сомнительным с медицинской точки зрения, то я отправлял новичков к нему. Кид не зря оттрубил два года военным врачом Южно-Лондонского батальона[52]. Разумеется, по этим самым причинам среди попадавших к нему на консультацию братьев по ложе часто оказывались фронтовые друзья и знакомые, но отзывы доктора во всех случаях были беспристрастны.

Клемент Стрэнджвик, рослый худощавый юноша, пришел к нам как раз из какой-то Южно-Лондонской ложи. Его работа не вызывала нареканий, собеседование тоже прошло успешно, но странный блуждающий взгляд молодого человека и его покрасневшие от бессонницы глаза

[52] Примечания: 52

Речь идет о так называемом «земляческом батальоне»: довольно характерная для Первой мировой (особенно начального периода) ситуация, когда жители городского района, большой улицы или небольшого поселка записывались в одно военное подразделение. После войны те из них, кто выжил, обычно продолжали поддерживать друг с другом тесные отношения.

все-таки наводили на мысль о нервной болезни. Так что я после некоторых колебаний отправил его к Киду. Тот сразу признал в новичке штабного ординарца своего батальона, поздравил его с тем, что тот не только жив, но и здоров, — после чего двое однополчан погрузились в воспоминания о совместно пережитом на Сомме[53].

— Надеюсь, я поступил правильно, Кид? — спросил я доктора, когда мы готовились к очередному заседанию ложи.

— О, вполне. Парень, кстати, напомнил мне, что мы уже встречались как врач и пациент.

— Во время битвы на Сомме?

— Нет, уже в восемнадцатом, при Сампуа[54]. Он и в ту пору был вестовым. Мне тогда, кстати, пришлось буквально собирать его по кусочкам — не телесно, слава богу, но именно в плане психики… а это тоже не сахар.

— Шок?

— Да как сказать… Нечто вроде того, но он тогда

---

[53] Примечания: 53

Один из наиболее кровопролитных эпизодов Первой мировой войны, продолжавшийся с июня по октябрь 1916 г.

[54] Примечания: 54

В отличие от Соммы, Сампуа (Sampoux) — вымышленное место: никаких «боев при Сампуа» история Первой мировой не знает. Видимо, Киплинг намеренно не захотел связывать действие своего рассказа с каким-либо реальным населенным пунктом.

мне не помог во всем разобраться, а, прямо скажем, мешал всеми силами. Причем о симуляции речь не идет: юноша был буквально на пределе, с ним случилось что-то весьма серьезное, но… Ну, сами понимаете: если бы пациенты говорили нам только правду, медицина, наверно, сделалась бы по-настоящему точной наукой.

Заседание мы провели успешно — но потом Кид попросил нас всех задержаться и прочитал нечто вроде импровизированной лекции о строительстве Храма Соломона, во время какового строительства и были сформированы первые ложи, причем входившие в них собратья в равной мере наслаждались работой и великолепными банкетами — и у меня создалось впечатление, что во всех этих процессах Кид выше всего ставит искусство заваривания чая, как и совместное курение сигар. По ходу лекции мы как раз и предавались табакокурению на фоне чаепития, все было пусть не слишком занимательно, но очень мило — однако Стрэнджвик в какой-то момент вдруг явственно занервничал, покраснел и вместе с креслом отодвинулся от стола. Ножки кресла завизжали по паркету — бывший ординарец рывком вскочил и с возгласом «О, моя тетушка! Нет, я больше не могу этого вынести!» под общий

смех выбежал из зала заседаний.

— Так я и думал, — шепнул мне Кид. — Идем за ним!

Мы настигли молодого человека в коридоре, истерически рыдающего и заламывающего руки; подхватив его под локти, довели, чуть ли не донесли, до небольшой комнаты, где у нас хранилась запасная мебель и парадные регалии ложи, используемые крайне редко; плотно закрыли за собой дверь.

— Не волнуйтесь, я… я в порядке, — жалобно произнес юноша.

— Разумеется, мой мальчик, — кивнул Кид.

Он раскрыл дверцу небольшого шкафчика, достал оттуда графин с водой, стакан и какой-то пузырек (если не ошибаюсь, еще вчера там ничего подобного не было, но, похоже, доктор заранее все припас), быстро смешал микстуру, дал Стрэнджвику выпить, усадил его на кожаный диван.

— Тут даже не о чем говорить. Я видел тебя в десятикратно худшем беспорядке. Но лучше все-таки расскажи, что тебя волнует.

Успокаивающе держа руку пациента в своих ладонях, он ловко подтащил ногой стул и уселся напротив дивана. Стул скрипнул.

— Нет! — буквально завизжал Стрэнджвик. — Я

не могу этого вынести! Ни скрипа, ни когда что-то со скрежетом тянется по полу, ни звука дверных петель — ничего! Как тогда эти короткие французские сапожки… из-под деревянного настила… а скрипит оно все вместе… Что мне было делать? Что я должен был сделать?

Кто-то деликатно постучал в дверь и негромко осведомился, нужна ли нам помощь.

— Нет-нет, все нормально, — ровным голосом произнес Кид. — Возвращайтесь в зал, а мы еще немного пробудем в этой комнате, хорошо? Оставьте нас здесь одних, пожалуйста…

Снаружи донеслись шаги, звук задергиваемых занавесок, приглушенные удаляющиеся голоса, потом мы услышали, как осторожно закрывается дверь в зал. Коридор опустел.

Стрэнджвик, давясь словами, невнятно бормотал что-то страшное: о насквозь промерзших мертвецах, чьи тела скрипят, как дерево на морозе.

— Он по-прежнему таится, — уголком рта шепнул мне доктор. — Все как в прошлый раз. Говорит о разной жути — лишь бы не проболтаться о том, что его *на самом деле* пугает.

— Почему же? — возразил я. — Человеческий мозг ведь и вправду с трудом выносит такое.

Помню, как-то у меня тоже был на фронте случай: конец октября, мороз…

— Тсс-с! Не спугните парня! Кажется, сейчас он действительно проговорится насчет адреса того ада, в котором… О чем ты сейчас думаешь? — Эту последнюю фразу Кид произнес в полный голос.

— Французский тупик, Мясницкий ров, — немедленно ответил юноша странным тоном.

— Да, кое-что там было, в Мясницком рву, — кивнул Кид. — Но не лучше ли взглянуть страху в глаза, чем позволить ему подкрадываться со спины?

Он взглядом попросил меня поддержать игру.

— Так что случилось во Французском тупике? — наугад поинтересовался я.

— Так у нас называли позицию, которую мы заняли после французской части, когда этой части… не стало, — совершенно спокойно объяснил доктор. — Как раз под Сампуа. То есть вся часть по-прежнему была там, но… Знаете, каждая нация в смерть уходит по-своему, так вот, французы делают это очень аккуратно. Они все лежали ровными рядами по ту сторону бруствера, и их тела образовывали дополнительную стену, удерживая собой полужидкий вал грязи и подтаявшего снега. Незадолго перед этим пришла оттепель, так

что почва в промерзших траншеях превратилась в кашу. Собственно, ничего особенного: нашим ребятам тоже довелось сложить из своих тел еще одну линию бруствера, не здесь, так где-то рядом. Но там нас не было, а были мы в Мясницком рву… так его у нас прозвали. Зрелище, конечно, было нелегкое. Джерри[55] держали наши позиции под таким плотным обстрелом, что даже и речи не могло зайти о том, чтобы убрать трупы. Счастье еще, что мы оказались в этом рву уже на исходе ноября… Ладно. Помнишь, как это было, Стрэнджвик?

— Боже мой, да! Помню! Они все лежали там несколько месяцев, совсем твердые! А потом, когда нам вот-вот предстояло подниматься из окопов в атаку, сверху набросали щиты из досок, как помост, — и мы ступали то по доскам, то по телам! И тела под сапогами скрипели точно так же, как доски!

— На мой взгляд, скорее как дубленая кожа, — невозмутимо заметил Кид. — И в самом деле действует на нервы.

— Действует на нервы?! — выдохнул Стрэндж-

---

[55] Примечания: 55

«Джерри» (от *German*) — прозвище, которым англичане именовали немецких солдат: нечто вроде привычного нам по Великой Отечественной войне прозвища «фрицы».

вик. — Да я до сих пор только эти звуки и слышу! Прямо сейчас — тоже!

— Отнюдь. Всему свое время — и сейчас время жизни. Еще год будешь слышать этот скрип, но все тише и тише… А потом — все. Ну-ка, мой мальчик, глотни еще вот этого снадобья — и сосредоточься на том, как утихает душевная боль. А потом для разнообразия постараешься не прятаться от правды, но посмотреть ей в лицо. Договорились?

Доктор снова открыл шкаф и осторожно добавил в стакан небольшую порцию какой-то темной жидкости.

— Так, отлично… Выпей залпом, полежи еще несколько минут, и будет порядок. Нет-нет, ничего не говори.

Отставив в сторону опустевший стакан, Кид повернулся ко мне. Задумчиво потеребил бороду.

— Да уж, Мясницкий ров — точно не то, что захочется увидеть во второй раз, — произнес он вполголоса. — И вспоминать об этом тоже… удовольствие из последних. Я вот сейчас изображаю из себя старшего, опытного, хладнокровного — но мне ведь тоже впору забиться в истерике, как этому юноше. Так что давайте поговорим о чем-нибудь другом. О другом… Хммм, как раз

тогда имел место один странный случай: был у нас во втором взводе сержант — убей меня бог, не вспомню его фамилию… такой пожилой дядька, явно преуменьшивший свой возраст из патриотических соображений, чтобы попасть на фронт. Но, пожилой там или нет, как сержант он был в высшей степени на своем месте: отличный служака, точный и опытный. Ему как раз предстояло отправиться в двухнедельный отпуск, но… В январе это было. До сих пор не понимаю, как он мог совершить такую ошибку… Эй, молодой человек, ты по-прежнему слышишь меня?

— Да, сэр.

— Помнишь тот случай? Ты ведь тогда состоял при батальонном штабе, правильно?

— Да, сэр. Ординарцем. — Стрэнджвик говорил невнятно, язык его, казалось, тяжело ворочался во рту: по-видимому, успокоительное снадобье уже начинало действовать. — Это случилось двадцать первого января, сэр.

— Ага, точно. Он отбыл из окопов, отметился в штабе, а потом, после наступления темноты, ему предстояло сесть на поезд до Арраса — забавный такой старенький паровозик с несколькими вагонами… Ну и поскольку у него еще было несколько часов, прежде чем отправиться к

станции, он, видимо, решил провести это время в тепле, а не на холоде. В общем, сержант зашел в небольшой пустовавший блиндаж, как раз во Французском тупике, и взял для обогрева две угольные жаровни, позаимствованные из какого-то разрушенного кафе. Как назло, это оказался единственный из уцелевших блиндажей, оборудованный для того, чтобы пересидеть в нем газовую атаку: с дверью, открывающейся внутрь и очень плотно прилегающей к косяку, все щели тоже плотно законопачены… Наверно, старик пригрелся и задремал, не заметив, как дверь случайно закрылась. Короче говоря, к отправлению поезда он не явился. Поиск был объявлен почти сразу: исчезновение взводного сержанта — не шутка. Но нашли его уже утром. Мертвого. Угарный газ внутри плотно закупоренного блиндажа столь же смертоносен, как боевые отравляющие газы снаружи. Кажется, на него наткнулся кто-то из пулеметчиков, да?

— Нет, сэр. Минометчик. Капрал Грант, сэр.

— Точно. Капрал Грант, у него еще на шее был такой приметный шрам…

— Бородавка, сэр.

— Да, она самая. Что ж, сынок, с памятью у тебя все в порядке, более чем. А как звали того сержан-

та — помнишь?

— Годзой, сэр. Джон Годзой.

— Верно. Я его осматривал наутро — окоченевшее тело между двумя жаровнями… Ну, они погасли, конечно, так что температура в блиндаже действительно опустилась ниже нуля, да и трупное окоченение тоже имело место, это-то у меня сомнений не вызвало. А вот что при мертвеце не оказалось, кроме официальных документов, ни клочка бумаги — вызвало. Ни начатого письма домой, ни писем из дома, ни блокнота, ни дневника… Честно говоря, это единственное, что заставило меня усомниться, точно ли произошел несчастный случай. А не… что-то другое.

Стрэнджвик слегка привстал на диване, окинул взглядом комнату и нахмурился, словно не вполне уверенный, где находится.

— Я ведь тогда все рассказал, сэр. Специально для вас. Отлично помню, как вы записывали мои показания… Он тогда догнал меня и спросил о дороге. Я указал ему тропку вдоль ряда столбов… Думал, он пойдет через траншею Пэррота, сэр, это ведь к станции и кратчайший путь, и самый удобный. До Французского тупика еще поди доберись: там после артобстрела целый завал из бревен был на пути.

— Ну да, ну да, теперь и я это вспомнил. Ты был последним, кто видел старину Годзоя живым. Это было двадцать первого января, говоришь? Именно так. А не припомнишь ли, когда Дирлоу и Биллингс привели тебя ко мне? Именно в тот момент ты ничего не соображал, но ведь позже, к вечеру того же дня, пришел в себя… так какого это было числа?

И Кид опустил руку на плечо Стрэнджвика — так, как в детективных историях победоносный сыщик кладет руку на плечо изобличенного злодея.

Юноша посмотрел на него в полном недоумении.

— Я попал к вам двадцать четвертого января, сэр, — пробормотал он. — Но… ведь вы же не думаете, что я причастен к смерти сержанта?

Я не мог сдержать улыбки при виде того, как сконфузился Кид.

— Тогда что, черт возьми, произошло с тобой двадцать четвертого? — рыкнул он, пытаясь яростью замаскировать смущение.

— Я же говорил вам, сэр. Это Мясницкий ров так на меня повлиял. Вы ведь сами знаете, как там все…

— Чушь! Ты соврал мне тогда, так не повторяй

то же самое сейчас! Именно потому, что я действительно знаю, «как там все». Мы оба солдаты, молодой человек, и на фронте были не первый день! Нет уж: случилось что-то совсем особенное! Может быть, даже в Мясницком рву. Но что-то такое, о чем ты мне не рассказал!

— Ой… Доктор, вы догадались еще тогда? — Стрэнджвик вдруг всхлипнул совершенно по-детски.

— Помнишь, что сказал мне, когда Дирлоу и Биллингс держали тебя за плечи?

— Что-нибудь о Мясницком рве?

— О нет! То есть и это тоже, много всего ты сказал о том, как промерзшие трупы скрипят под ногами, — но это все была «упаковка», в которую ты завернул свой вопрос о том, видел ли я телеграмму. Какую телеграмму? А когда ты спросил, какая польза бороться против зверей-офицеров, если мертвецы не встают, — это что имелось в виду?

— Я… Я сказал «зверей-офицеров»?!

— Именно. Не бойся, это не призыв к мятежу, а цитата из заупокойной службы. Слегка перевранная, но можно догадаться, о чем речь.

— Ну… Значит, я где-то слышал эту фразу. Как же иначе? — Стрэнджвик внезапно вздрогнул

всем телом.

— Наверняка. Вопрос только, где именно. И другой вопрос — где ты слышал тот гимн, который распевал до тех самых пор, как я сделал тебе укол. Что-то о милосердии и любви. Вспоминаешь?

— Сам гимн? Да… Во всяком случае, постараюсь вспомнить. — Юноша наморщил лоб, а потом процитировал, слегка неуверенно: — «Когда у кого-то есть в сердце Господь — да верует, верует в милость Его» — да, что-то в этом роде, кажется. Там дальше, точно, есть и про любовь еще. Но я уже забыл[56].

Он встряхнулся и пожал плечами.

— А от кого ты это слышал? — Кид был настойчив.

— Так от Годзоя же. — Стрэнджвик снова пожал плечами. — Двадцать пер…

Он осекся.

— Ох… Да, этого я вам тогда не рассказал, сэр, — после короткой паузы произнес он странно высоким голосом. — А зачем? Что бы вы с этим стали делать? Особенно раз уж она действитель-

---

[56] Примечания: 56

Это фрагмент евангелистского гимна. «Обычный» англичанин той поры, если он не слишком увлекался религией, действительно сохранял в памяти все строки этих гимнов лишь до тех пор, пока в детстве и отрочестве посещал воскресную школу, а к юности они уже понемногу начинали забываться.

но умерла…

— Кто умер?

— Те… Тетушка Арминий.

— Значит, в той телеграмме, насчет которой ты обмолвился, сообщалось о смерти тети? И ты, чтобы меня запутать, начал болтать о чем-то постороннем, изображая шок? Так?

— Не совсем, но… Доктор, ладно, у меня нет шансов обмануть вас. Но я только потом понял, что от тех жаровен может быть и… и такое тоже. Как я мог догадаться? Да мы все грелись у них! Вот я и решил, что дядя Джон тоже хочет там отогреться, прежде чем идти к поезду. Откуда мне было знать, что он имел в виду, когда сказал, мол, ему надо «подготовиться к дороге»…

Стрэнджвик резко, неприятно рассмеялся. А потом из его груди вырвались звуки, похожие на рыдания, вот только слез на глазах не было.

Кид, вновь обретший невозмутимость, терпеливо ждал, пока молодой человек успокоится тоже.

— Итак, продолжим. Значит, Джон Годзой был твоим дядей?

— Нет. — Стрэнджвик смотрел в пол. — Мы просто его так называли — я и сестренка. На нашей улице, сэр, все общались запросто. А я его всю

свою жизнь знал, да. С детства. Мой отец с ним был дружен — не разлей вода. Ну а тех, с кем па и ма дружат, у нас в квартале всегда зовут «дядя» или «тетя», что, нельзя разве?

— Можно, можно. Значит, дядя… Что он за человек был — можешь мне рассказать?

— Лучше не бывает. Он все деньги, что ему как сержанту следовали, домой отправлял, жене. У них маленький домик с палисадником, на стенах всякие индийские диковины развешаны — я с детства любил на них глазеть… Да и потом, во время войны, бывал там часто, это ведь на соседней улице. Дядя Джон сразу в армию отправился — а мне еще три года как срок не пришел. Его жена, она намного младше, меня в их доме принимала прямо как сестра, даже не как тетушка…

— Значит, она намного младше… А он как, разве не слишком стар был, чтобы попасть в действующую армию?

— О, сэр, если по-честному — у него ни единого шанса не было. Ему ведь сильно за полсотни. Но когда наш Южно-Лондонский батальон только формировался да проходил обучение — обучал нас как раз он, его должность значилась «сержант-инструктор». А когда нашим пришло время отбывать на фронт — он как-то сумел сделать

так, чтобы отправиться вместе с ними, просто сержантом. Писал с фронта моим родителям, и мне тоже. Предлагал, когда я войду в призывной возраст, подать заявление, чтобы попасть не куда-нибудь, а в наш земляческий батальон, в его взвод. И вот в начале семнадцатого года — мне тогда действительно пришел срок надевать форму[57], — ма сказала: раз так, то и вправду лучше к дядюшке Джону…

— Я и представить себе не мог, что вы с ним так хорошо знакомы, — буркнул Кид.

— Ну так, сэр, этого и вправду было не разобрать. Дядюшка Джон — он у себя во взводе любимчиков не заводил, хоть как ты будь с ним знаком. И поблажек мне по службе никогда не делал, да я от него и не ждал такого. Зато когда писал ма и па, обязательно рассказывал о моих успехах. О боже мой! О черт! — Стрэнджвик вдруг застонал. — Как же все перепуталось в этой кровавой каше — особенно когда между людьми такая разница в возрасте…

— Ну-ну, успокойся. — Кид не дал ему снова

---

[57] Примечания: 57

Если так, то, получается, битву на Сомме Киплинг ранее упомянул по ошибке: Стрэнджвик не мог в ней участвовать, т. к. боевые действия там завершились по меньшей мере за три с половиной месяца до того, как он попал в армию.

впасть в отчаяние. — Значит, он писал твоим родителям?

— Ага. У ма ухудшилось зрение во время этих воздушных налетов на Лондон — она то шила, то те же письма читала, когда приходилось из-за бомбежек в полутемные подвалы спускаться… В общем, последние письма она уже просила читать кого-нибудь из родных. Чаще всего — тетю Арминий.

— Ту, о смерти которой ты получил телеграмму? Постой: но разве…

— Ну да. Я говорил, что дядя Джон мне не дядя, по крови то есть, но вот его жена — она мамина младшая сестра. Ма тогда было крепко за сорок, а та — сильно младше. Когда дядя Джон ушел на войну, она осталась одна, но ни на секунду не потерялась — все делала, всем помогала, во всем разбиралась лучше всех, а ведь в те первые военные годы, сэр, даже самые опытные из старших растерялись, нам-то, подросткам, это было виднее всего… Чтоб не сидеть дома, пошла работать на армейский склад, да еще и нашу Сисси, это моя младшая сестренка, выхаживала, буквально спасла ее, когда та хворала корью. После этого мы с Сисси, если честно, больше у нее жили, чем у себя дома. Устроили там себе, как

это у нас называлось, «зайчиные логова»… Дело в том, что дядя Арми… э… дядя Джон — он столяр был, ну, знаете, «ремонт домашней мебели, установка встроенных шкафов и прочее», такие объявления в газетах; вот и у них в доме мебель была не покупная, всякие шкафчики встроенные, и еще как — играй там, прячься, живи… А ей, в смысле тете Арминий, тоже в радость. Она этого не говорила, но мы чувствовали. У них ведь, сэр, своих детей не было…

Молодой человек остановился и смущенно посмотрел на нас. Мы с доктором не знали, что сказать.

— Судя по твоему описанию, это была замечательная женщина, — после короткой паузы нарушил молчание Кид.

— Так и есть, сэр. А вдобавок еще и высокая, очень стройная и вообще по-женски красивая — мальцом я, конечно, этого не замечал, но к семнадцатому-то году был уже не такой и малец, чтобы… Имя ее было Белла, но мы с сестренкой всегда называли ее «тетушка Арминий». Понимаете?

— Вообще-то нет.

— Ну как же, сэр, в школьном учебнике есть

картинка Арминия[58] — молодой такой красавец в доспехах; так вот, она — вылитый он. Такая вся рослая и статная из себя. Сисси еще в шутку спрашивала: «Тетя, а куда ты свой шлем и броню запрятала, почему их не носишь? Они бы тебе так хорошо пошли, честно-честно!»

— Понятно… Значит, она читала твоей матери письма вслух. Письма от своего мужа, где шла речь о тебе. И, наверно, твои письма тоже… Так?

— Вот побожусь, сэр, что я это словно бы своими глазами вижу: как тетя Арминий каждый раз, получив очередное письмо, переходит через улицу, стучится в дверь нашего дома… Что хотите со мной делайте, да пусть меня хоть повесят: я тогда, на фронте, не *представлял себе* это, а именно *видел*, несколько раз, не знаю уж как! Это никакие не шутки, когда такое вот виденье обрушивается человеку на голову — и… и… и если мертвые действительно восстают, то что

---

[58] Примечания: 58

Арминий — германский вождь и полководец, в 9 г. н. э. сумевший нанести римлянам сокрушительное поражение в так называемой «битве в Тевтобургском лесу». С этого сражения принято отсчитывать если не историю, то предысторию появления «новой», послеримской Европы. Поэтому романтизированный образ Арминия был очень популярен во многих европейских странах: и в кайзеровской Германии, и в викторианской Британии, даже когда они воевали друг с другом. В английском языке это имя вдобавок созвучно вооружению, доспехам — что делает его особенно подходящим для подростковой шутки.

мне со всем этим делать — со всем, во что я верил в жизни… Вот кто скажет, что мне с этим делать дальше? Кто мне скажет?!.

Я даже отшатнулся почти в испуге. Но Кид не дрогнул.

— А тебе самому сержант Годзой показывал эти письма? — очень тихо спросил он. — Те, в которых он писал о тебе — твоим родителям, своей жене?

— Да там особенно нечего было, наверно, показывать, — с неожиданным равнодушием, равнодушием молодости, ответил Стрэндж-вик. — Сами знаете, как эти фронтовые письма сочиняются… В окопах, по правде, не до того. Но дяде Джону, конечно, спасибо: его письма обо мне были большим утешением для ма. Сам-то я писать не мастак… А вот письма из дома до дыр зачитывал, это да. Сохранил их все. Мои домашние тоже писать не очень — но каждые две недели от них что-нибудь да приходило. С этим мне точно повезло больше, чем чуть ли не всем остальным. За это тоже спасибо дяде Джону: без его писем так навряд ли бы вышло…

— Понятно. Но ты все же иногда и сам писал домой, разумеется. Сообщал новости о сержанте?

— Ну как, сэр… Скорее нет. Хотя должен бы,

само собой. Но вообще-то разве что про свои дела быстренько упомяну — и ладно… А вот он, дядя Джон то есть, всегда мне что-то зачитывал вслух из тех писем, что ему приходили, если там про меня было. Как-то раз пошутил: мол, если со мной — с ним! — что-нибудь случится, ты — я! — тетушку Арминий не оставь. А то, дескать, твоя (*моя* в смысле) ма пишет, что ты последний год все время в доме моей жены ночевал. А ведь взрослый уже парень. И родство не такое близкое, чтобы из-за этого было запретно вступать в брак, и разница в возрасте, мол, не больше, чем у нас с ней… то есть у дяди Джона с тетей Арминий, пускай в их случае старший он, а в нашем — она… Меня аж в жар бросило: я ведь, когда в отпуск приезжал, познакомился с одной девушкой, провожал ее до дома, записки в окно ей швырял — вот как далеко у нас с ней все зашло…

— И что же, ты женился на ней? — Кид остро глянул на своего собеседника. — Сейчас, когда вернулся домой?

— Нет! — Юноша прямо-таки содрогнулся при этом вопросе. — То есть… не потому, что дядя Джон сказал — но… Или все-таки потому? Клянусь, сэр, я же не мог о ней так даже подумать — ведь не мог, правда? Она настолько старше

меня, да и замужем, и мы вообще, что называется, дружили семьями — ну как же такое можно, ведь совсем нельзя, так? Тем паче что, когда я приезжал на побывку, перед Рождеством это было, она со мной говорила как с любимым племянником, и только! Сказала мне…

И тут голос Стрэнджвика изменился.

— …Сказала мне, — продолжил он, — «Ты ведь с моим Джоном, сержантом Годзоем, скоро увидишься?» — «Даже слишком скоро», — отвечаю: оно, конечно, кому бы не хотелось задержаться в отпуске еще хоть на денек-другой. «Тогда скажи ему, что к двадцать первому числу следующего месяца я, похоже, избавлюсь от всех моих проблем, — говорит, — и приду увидеться с ним». «Это как?» — не понимаю. «Так, что я умру, — говорит совершенно спокойно. — Все хорошо, ты только не волнуйся, и он тоже пусть не волнуется. Двадцать первого января или сразу после я с ним повидаюсь».

— Что с ней было? — спросил Кид, мгновенно превращаясь из самодеятельного следователя в профессионального врача.

— Да что-то с сердцем… Но она о своих телесных хворях никому не рассказывала. Никогда. Мы все думали — она и по части здоровья, что

называется, «в доспехах», как Арминий…

— Понятно. Да, такое бывает… — В голосе доктора сквозила грусть. — Ты точно запомнил ее слова?

— Да уж куда точнее. «Скажи дяде Джону, что к двадцать первому января я избавлюсь от всех моих проблем. То есть умру. И приду увидеться с ним, пусть он не волнуется». Я стою, челюсть отвесив, а она смеется: «Да ты наверняка все забудешь: у тебя ведь голова дырявая, мне ли не знать! Давай-ка я лучше это запишу. Отдашь ему сразу, как увидишься». Села за стол, написала какую-то короткую записку, вложила ее в то письмо, которое уже раньше подготовила для своего мужа, и закрыла конверт.

— А потом что?

— Потом она меня поцеловала в лоб и в щеку — я всегда был ее любимцем… не в том, конечно, смысле, вы же не думаете так, сэр?.. Дала мне то письмо, мы попрощались — и я отбыл к месту несения службы. Насчет моей дырявой памяти она, пожалуй, была права: разговор этот, такой странный, мне не то что совсем не запомнился, но так… как-то поперек соображения встал. Ну вот, на третий день, как вернулся на передовую, доставляю из штаба какой-то пакет минометчи-

кам, то есть капралу Гранту и его ребятам, — и вижу, что у них в блиндаже несколько человек из второго взвода. И сержант Годзой тоже с ними. Я взял и отдал ему то письмо. Что ж, мы немного посидели, погрелись возле жаровни — одной из тех, — и тут вдруг капрал Грант и говорит, не понижая голоса, на весь блиндаж: «Мне это не нравится». «Что?» — спрашиваем. А он, таким особенным своим голосом, вы же знаете: «То, как он читает письмо это. Твою могилу, папаша Джон, вижу на листе бумаги сей!» Ну, сэр, вы же знаете, как это бывало, когда Грант своим особенным голосом изрекал пророчества, или уж как их назвать… и что порой случалось потом… Ранкин, например, после такого вот предсказания решил, что ему дешевле будет застрелиться, чем ждать, пока все оно сбудется!

— Знаю, — подтвердил Кид и, взглянув на меня, объяснил: — Грант, что не так уж редко случается у горцев, обладал даром «двойного зрения»… но пользовался им, черт его побери, только чтобы пугать своих товарищей по окопной жизни. Через некоторое время после того случая он погиб — и, скажу по правде, лично я о нем не слишком сожалел. Ладно — так что же было дальше?

— Дальше… Дальше Грант прошипел мне: «Вот,

любуйся, проклятый англичанин: это твоих рук дело!» И кивнул в сторону сержанта Годзоя. А дядя Джон сидит себе, прислонившись к стене, и ничего такого вроде по нему не видно. Наоборот, выглядит он как-то торжественно, важно, словно только что побрился. И гимн мурлычет — тот, который я потом пытался вспомнить… Заметил, что мы на него смотрим, улыбнулся — а это с ним нечасто случалось! — и говорит: вот, мол, мне тут написали, что совсем скоро, двадцать первого, меня сюрприз ожидает. Аккуратно сложил письмо, спрятал его в нагрудный карман и вышел.

— Он при этом держался спокойно?

— Ну да. Совсем. В общем, похоже было, что капрал со своим предсказанием насчет могилы попал пальцем в небо. Я ему тогда сразу сказал, чтобы он поосторожней трепал языком: и про могилу, и про «проклятых англичан» — с нами-то ладно, а вот если кто из офицеров услышит… Как бы там ни было, вскоре я обо всем позабыл: это ведь, сэр, случилось одиннадцатого числа, а в те дни мне пришлось мотаться больше обычного. Джерри тогда попытались начать подготовку к наступлению — а мы, соответственно, делали все, чтобы им воспрепятствовать…

— Я помню, — сухо произнес Кид. — Рассказы-

вай о сержанте.

— С сержантом, дядей Джоном то есть, мы следующие десять дней и не виделись ни разу. А вот двадцать первого я доставлял в их взвод несколько извещений — ну и его имя там, помню, тоже значилось. Но вообще-то туда я только на обратном пути заглянул. Основное задание у меня тогда было — восстановить связь с батареей, что в Попугайчиковом овраге стояла, помните?

— В каком? А, в Малом Попугайном?

— И так тоже его называли. В общем, эта позиция то и дело оказывалась отрезана. Вот и двадцать первого джерри как начали садить тяжелыми минами, так и прервалось сообщение.

— Так минометный-то обстрел еще не самое худшее. Там у них за полуразрушенным домом располагалась пулеметная точка — специально по душу тех, кто станет к тому оврагу пробираться…

— Да, была такая. Четверо ребят из Варвикского полка незадолго до меня как раз и нарвались, один за другим. Открытое ведь пространство, хоть беги, хоть ползи… Но от канала тогда очень удачно потянулась стена тумана — вот я и проскочил. Другое дело, что потом, уже на обратном пути, в том тумане заплутал немного: там были

две неглубокие траншеи, очень похожие, мне бы по восточной пойти, а я двинулся вдоль западной. Вот меня и вывело к Французскому тупику. И тут — раз! — туман рассеивается, а я оказываюсь на виду у пулеметчиков. Ничего: успел залечь. Дальше уж путь один: ползком мимо старой котельной, потом через Зоопарк Скелетов — это где лошадей поубивало… пробрался под телегой, где довольно удобный лаз, только надо прямо по мертвецам ползти, их там на шесть футов навалено: в Зоопарке ведь поубивало не только лошадей…

Стрэнджвик умолк. Его тело содрогалось в ознобе.

— Я понимаю, это тяжело вспоминать… — начал было Кид.

— Тяжело? — Юноша чуть ли не отмахнулся. — Нет, холодно! Как раз в такие минуты если о чем-то думать в том смысле, что «тяжело» или там «страшно», — тут тебе и конец. Но пока я полз, морозом меня пробрало до самых костей, что правда, то правда. И вот в эту минуту вдруг вспомнил про тетю Арминий… сам не знаю, с чего вдруг. Почему-то мне это даже смешным показалось. Ладно, дальше уже местность закрытая от обстрела, встаю на ноги, иду… и все гадаю: а

почему это я именно сейчас о тете подумал? И тут — вижу ее…

— Что?!

— Не знаю… Вижу ее… или не ее: краем глаза, полсекунды… Обернулся — да нет, конечно, ничего, только мешки с песком стенкой сложены, и над ними клок тумана колышется, а сквозь него просвечивают какие-то лоскуты на колючей проволоке. И снова мне это смешным показалось: вот так я тогда чувствовал. Что ж, иду себе, иду: без спешки, осторожно, потому как сейчас вовсе нечего давать джерри лишнюю возможность себя ухлопать — и по Аллее Старых Грабель выхожу на позиции второго взвода. Передал пакет офицеру, дядю Джона в тот раз не увидел, потому что мне еще надо было спешить на левый фланг… Ну и дальше, до самого вечера, то ползком, то бегом: гелиограф[59] и полевой телефон — это, конечно, хорошо, но вестового они не заменят. В половине девятого, уже совсем никакой, прихожу в себя — и вижу, что последнее поручение снова занесло меня во второй взвод. Дядюшка Джон уже,

[59] Примечания: 59

Гелиограф — разновидность оптического телеграфа: сигнальный аппарат, передающий информацию при помощи световых вспышек. Продолжал играть значительную роль во время Первой мировой войны, когда полевые радиостанции были тяжелы, малонадежны и не очень широко распространены.

насколько мог, привел в полный порядок форму, умылся, тщательно отскоблил щетину, как настоящий денди: готов отправляться в Аррас и дальше в Лондон. А что ж, по всему выходило, ему там и быть уже назавтра — само собой, если джерри не начнут артобстрел ближнего тыла; тогда поезд к станции, конечно, не подадут. Но не было похоже, что у них в планах такой обстрел. «Пойдем вместе, — говорит, — нам больше полдороги по пути». Мы и тронулись понемногу. По старой траншее — помните, сэр, той, которая вела через Хэлнакер?[60] — мимо землянок, укрепленных шпалами… помните же, да, сэр?

Кид кивнул.

— Значит, идем мы — и дядя Джон заводит разговор о том, что вскоре увидит моих ма и па, спрашивает, не передать ли им чего… И тут, боже, дьявол, сам не знаю, отчего вдруг, я возьми и брякни, что прямо сегодня, недавно совсем, видел тетю Арминий. И добавил: мол, вот уж чего точно никак не ожидал — так это встретиться с ней здесь. А потом, дурак такой, рассмеялся.

---

[60] Примечания: 60

Хэлнакер — деревушка в Чичестере, графство Западный Сассекс; сейчас — почти дальний пригород Лондона, но во времена Киплинга это было глухое малонаселенное захолустье. Почему в честь нее назван какой-то участок обороны, понять трудно.

Кажется, это вообще был последний раз, когда я смеялся… «О! — говорит он самым обыкновенным голосом. — Правда видел?» — «Нет, конечно. Померещилось». — «А где?» — «Да мы как раз сейчас недалеко проходим», — отвечаю. И показываю ему: вот мешки с песком, вон обрывки материи на проволоке… тумана там уже нет, но все равно понятно — можно тут обмануться, особенно в сумерках… «Вполне вероятно», — говорит он и вроде бы совсем не волнуется: идет со мной рядом, следит, чтобы в грязь не вступить… Тут мы доходим до завала-баррикады перед Французским тупиком — он поворачивает и лезет через нее. «Да нет, — говорю, — нам же не сюда, это же я тут раньше проходил, когда мне померещилось». Он не обращает на меня внимания и исчезает за бревнами завала. Я, ничего не понимая, стою, жду… Через несколько минут дядя Джон возвращается оттуда с двумя жаровнями в руках.

— Теми самыми?

— Да, сэр. «Что ж, Клем, — говорит; а он, сэр, очень редко меня по имени называл, — не боишься?» Я смотрю на него — баран бараном, пытаюсь смекнуть, о чем это он. Вроде получается — о том, не попадем ли мы по пути в тыл под обстрел джерри. Так ведь нет же сейчас ни-

какого обстрела, и ясно, что по темноте вряд ли начнут… «Не боюсь, — мотаю головой. — Да и кто уж теперь чего-то боится…» «Я боюсь, — как-то совсем спокойно говорит он. — Боюсь, что кое-какие строки из письма могут обернуться не так». По-прежнему ничего не понимаю: он что, сейчас письмо думает писать, прямо здесь? А потом он что-то сказал насчет жизни, которая завершает свой круг… и те слова из заупокойной службы, которые я, сэр, так неправильно запомнил.

— «По рассуждению человеческому, — медленно продекламировал Кид, — когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают?»[61]

Стрэнджвик кивнул.

— Вот и все… — немного помолчав, продолжил он. — Затем дядя Джон с этими жаровнями прошел в Мясницкий ров — и я за ним. Там было очень холодно. Замерзшая грязь хрустела под ногами. И мне кажется…

— Не надо о том, что только кажется, — прервал его Кид. — Рассказывай лишь то, что видел своими глазами.

— Извините, сэр. Значит, дядя Джон идет по

---

[61] Примечания: 61
Цитата из «1-го послания к коринфянам» апостола Павла.

траншее, по Мясницкому рву то есть, держит в руках жаровни и бормочет гимн — тот, что я тоже не очень хорошо запомнил, но лучше, чем про зверей в Ефесе. Доходит до места, которое я ему раньше показывал, и спрашивает: «Где, ты говоришь, она, Клем? А то у меня глаза уже немолодые…» «Она в своем доме, в Лондоне, — отвечаю даже немного сердито, — по позднему времени, наверно, спит уже. И нам тут тоже нечего делать в такое время, идем дальше, у меня уже зуб на зуб не попадает!» «А я… — говорит он, — да, это я…» И тут я понимаю, что говорит это он не мне.

Юноша сглотнул. В воздухе повисла долгая пауза.

— «Что же это с тобой случилось? — говорит он, и я не узнаю его голос. — Как же это? Когда? Но раз так — хвала Господу, Белла, что нам довелось свидеться…» Мы стоим возле того самого блиндажа, где… где его и нашли потом. И да, где мне раньше тетушка померещилась. Я только глазами хлопаю. Вправо оглядываюсь, влево — нет никого, только мы двое в траншее. А потом… вот что хотите — но вижу ее, тетю Арминий. Стоит возле входа в блиндаж. Смотрит на нас. То есть на дядю Джона. Друг на друга они смотрят, глаза в

глаза. Вот тут у меня все в голове перемешалось. Все, что я знаю о том, что бывает и что нет; все, что понимаю о жизни… Вот я об этом вам ничего и не рассказал потом, когда вы меня расспрашивали. Никому ничего не рассказал. Думаете, я должен был рассказать, сэр?

Кид в затруднении пошевелил пальцами.

— Вижу, у дяди Джона начинает дрожать рука, — продолжил Стрэнджвик. — Наверно, от мороза все-таки: у меня ведь и у самого тогда зуб на зуб не попадал. И вот, сэр, можете считать меня сумасшедшим, но тетя Арминий протягивает ему свою руку. Это я тоже *вижу*, понимаете? Их пальцы соприкасаются — и его рука перестает дрожать. А потом тетя ему что-то говорит. Я это тоже *вижу*, но не слышу. А он слышит, и я слышу его ответ: «Да, Белла, за все эти годы мы виделись только один раз. И вот сегодня — второй». Потом вдруг делает такое движение, словно хочет снять с плеча винтовку. И останавливается. «Нет, Белла, — говорит, — не искушай меня. У нас впереди вечность. Проведем ее вместе. А час-другой уже ничего не решает».

— И что же было потом?

— Потом дядя Джон берет те жаровни, подносит их к самому входу в блиндаж. Ставит на

землю. Выливает на каждую немножко бензина — там, сэр, перед входом для этого специально бутылочка была припасена, если кто захочет погреться, — чиркает зажигалкой. Коротко кивает мне. Снова берет жаровни, открывает дверь блиндажа, смотрит на тетю Арминий — а она, сэр, все это время стояла там же, где я ее увидел, и рука ее была так же протянута вперед, как когда она коснулась дядиных пальцев, — и говорит ей: «Идем, дорогая»…

— А она?

— А она входит за ним следом. В блиндаж. И дверь закрывается за ними обоими. Плотно. Вот и все, сэр. Боже мой, да конечно я этого вам не рассказал — разве в такое можно поверить? Я и сам бы ни в жисть самому себе не поверил, если б не видел все собственными глазами!

Следующие несколько минут молодой человек посвятил очень эмоциональному повторению этого высказывания на разные лады, в нескольких формулировках, пусть и отличающихся друг от друга, но в равной степени окопных. Мы молчали. Наконец Кид спросил юношу, помнит ли он, что случилось дальше.

— Тут у меня некоторый провал, сэр. Что-то я делал, где-то был, куда-то шел… как-то добрел

до своей землянки… Меня уже утром разбудили, когда выяснилось, что сержант Годзой в поезд не сел — и кто-то вспомнил, что из взвода он ушел со мной вместе. Разбирательство длилось несколько часов. Ну, вы это, наверно, помните, сэр.

— Разумеется.

— А потом я вызвался доставить сообщение на передовую вместо Дирлоу. Он, знаете, стер большой палец на ноге: и смех и грех — в лазарет с такой ранкой не пойдешь, но… вестовому она, сами понимаете, может стоить жизни. Ну а я к перебежкам, переползанию и прочему в том же духе был готов не меньше, чем вчера. Оно, пожалуй, мне даже нужно было: чтоб не думать… не вспоминать о… Но я дядю Джона найти не успел, сэр. Грант его первым обнаружил. Вернее, так: когда я подошел к блиндажу, Грант уже стоял рядом и пытался его открыть. Это оказалось не так-то просто: дверь изнутри была подперта одним из тех мешков с песком. Специально, сэр. Там раньше у косяка оставалась маленькая щелочка — так вот этот мешок ее и закрыл. Пока мы там возились, я уже понял, что внутри никого живого не найдем. Это было как… не знаю… в общем, все равно что гроб открывать.

— Значит, вот как обстояло дело… — угрюмо

произнес Кид. — Почему же ни мне, ни другим офицерам никто ничего не сказал?

— Мы решили — так будет лучше для доброго имени покойного, — ответил Стрэнджвик. Голос его на сей раз был абсолютно тверд.

— А почему вдруг Грант там оказался?

— Он видел, как дядя Джон собрал уголь для этих жаровен и оставил его в мешочках возле той баррикады. Давно, еще за несколько дней. И Грант каждый раз, как проходил мимо, поглядывал: на месте ли мешочки? А вот в то утро их не оказалось. Ну и когда увидел, что дверь в блиндаж не открывается, все сразу понял. Мы с ним, сэр, когда дверь все-таки сдвинули, тот мешок с песком убрали. Вот оно потом и выглядело, как несчастный случай…

— Значит, Грант знал или догадывался, что на уме у сержанта Годзоя, — и не попытался этого предотвратить?

— Да, сэр. — Если Кид был по-прежнему мрачен, то и голос Стрэнджвика не сделался менее твердым. — Грант знал, что ничто на небе или на земле уже не может ни помочь, ни помешать сержанту Годзою. Так он мне сам сказал, сэр. И я ему верю.

— Понятно. — Доктор явно ощутил, что настой-

чивость в этом вопросе проявлять не следует. — И что же ты сделал потом?

— Вернулся в штаб. — Юноша пожал плечами. — А там мне вскоре передали телеграмму из Лондона. От моей ма. О том, что тетя Арминий умерла.

— Когда это случилось? — Кид тут же вновь переключился на роль детектива-любителя.

— Рано утром двадцать первого. Понимаете, сэр? Двадцать первого. Утром. Она умерла — и это его убило. У меня потом было время подумать, вспомнить… Когда мы стояли в самом Аррасе — вы же нам сами рассказывали, помните? Об ангелах Монса и прочее в том же духе…

— Гм… Помнить-то я помню. Но это, видишь ли, была лекция о галлюцинациях. Которые иногда возникают при переутомлении или… Ладно, сейчас не будем. Значит, говоришь, сержанта Годзоя подкосила смерть его жены?

— Да, сэр! Подкосила. Или это иначе называется. Может, он, наоборот, понял, что нет никакой смерти. То есть преграды между жизнью и смертью. А если она и есть, то через нее можно перелезть — вот как через ту баррикаду во Французском тупике. Я видел. Я все видел. А если уж мертвые возвращаются — то как вообще

говорить о том, что бывает и чего не бывает?!

Стрэнджвик вскочил с дивана и заходил по комнате, бурно жестикулируя.

— Я видел. Видел своими глазами, — повторял он. — Она ушла, потом явилась — и они ушли вместе. Он не стал убивать себя вот так прямо, а если не совсем прямо — то такая смерть, наверно, не разлучает. Их точно не разлучила. Я уверен, они вместе. Сейчас и навсегда. Ушли туда, в вечность, держась за руки. А я куда уйду? А мы? Вот вы двое, старшие, умные — вы можете сказать, во имя чего мы еженощно и ежечасно подвергаемся бедствиям?

— Бог его знает, — тихо сказал Кид: не то в ответ, не то самому себе.

— Может быть, нам лучше позвонить, вызвать помощь? — шепнул я ему. — Ведь парень сейчас окончательно потеряет контроль над своим рассудком!

— Нет-нет, не бойтесь. Это пик, через несколько секунд возбуждение начнет спадать. Уж поверьте, я такого в своей фронтовой практике навидался. О! Вот, кажется, сейчас…

— *Исчезла навечно ты, скрылась из глаз — но боги не сделают так еще раз!* — вдруг продекламировал Стрэнджвик хриплым, ломающимся,

даже не юношеским, а мальчишеским голосом. Глаза его закатились, он пошатнулся.

Доктор подскочил было к нему, чтобы поддержать, — но молодой человек вновь выпрямился.

— И, чтоб я был проклят, пусть она не говорит, что будет всегда со мной! — выкрикнул он в приступе безумной ярости. — Какая разница, кто кому кидал записки в окно! Если хочет — пусть подает в суд! Что она знает? Что она знает о жизни и смерти? А я? Я хоть что-то знаю? О том, как смерть перетекает в жизнь — да, даже слишком; а об остальном?! И все же, все же… Если идти вместе, через жизнь и смерть — то сперва я должен увидеть у нее такой же взгляд, как… как смотрела *она*, когда сумела прийти за тем, с кем прошла по жизни… прийти уже с другой стороны. А вот когда она, эта, сможет посмотреть так — тогда мы и пойдем рука об руку… И никакая смерть не разлучит нас: она вообще не разлучает, а соединяет! Но она не сможет так посмотреть, увидеть, пойти… Она никогда не сможет понять… О, будьте вы все прокляты, ступайте в ад, вы все — и родичи, и юристы, и ты, и я… Я всем этим сыт по горло — да!

Он снова покачнулся — и всю ярость будто бы сдуло с его лица. Кид наконец подхватил Стрэн-

джвика под локоть, помог удержаться на ногах, подвел к дивану. Юноша едва добрел туда — и рухнул пластом. Кид порылся в шкафу, вытащил оттуда одну из ярких мантий[62], накрыл ею Стрэнджвика, как одеялом.

— М-да. — Доктор покачал головой. — Что ж, вот теперь пик возбуждения действительно миновал. Мальчику нужно какое-то время полежать спокойно, а потом все будет в порядке. Между прочим, кто рекомендовал его в ложу?

— Если не ошибаюсь, один из тех, кто был на сегодняшнем заседании. Он, думаю, и сейчас еще в зале. Спросить?

— Тогда уж и позовите, пожалуйста. Не всю же ночь нам тут парня караулить…

Я пошел в зал — там действительно еще продолжалось чаепитие, а сигарный дым плавал под потолком такими густыми облаками, которые даже не снились строителям Храма Соломона, — и вскоре вернулся, сопровождаемый тем самым братом из Южно-Лондонской ложи. Это был худощавый пожилой джентльмен, очень корректный — и очень встревоженный.

— Мне чрезвычайно жаль, если что-то пошло

[62] Примечания: 62

Речь, видимо, идет о масонских плащах — том самом парадном, редко использующемся облачении, которое хранится в этой комнате.

не так. — Он начал извиняться буквально с порога. — Видите ли, у молодого человека были… серьезные проблемы. И я решил, что ему полезно провести время в неформальной обстановке, среди единомышленников… Как неудачно, что нервный срыв случился именно сейчас!

— Все в порядке. — Кид успокаивающе выставил ладони. — Как я понимаю, вашего протеже настигло прошлое. А уж извиняться за то, что могло произойти с человеком на войне, — это, право слово, излишне.

— Конечно-конечно. Я, строго говоря, имел в виду скорее послевоенные проблемы, но вы правы.

— Да какие уж после войны могут быть проблемы, — весело сказал Кид. — На работу не самую лучшую удалось устроиться? Отвычка от мирной жизни? Ничего, пройдет…

— С работой у него как раз проблем нет. Тут другое. — Пожилой джентльмен кашлянул. — Вы понимаете, конечно, сэр, что это между нами, но в данный момент над Клемом нависает угроза судебного обвинения. В нарушении обещания жениться, знаете ли… Гм.

— Ах, вот как…

— Да. Увы. Настоящая драма, я вам скажу. Замечательная девушка, лучшей невесты не

сыскать… Тут, конечно, молодым людям никто не советчик, но ведь они же друг друга любят, это всем их знакомым очевидно! И вдруг — такая вот неприятность. Внезапно, без какого-либо объяснения причин. Якобы девушка не может как-то *так* посмотреть, не может куда-то пойти… Это ведь не объяснение, верно?

— Пожалуй… — медленно произнес доктор.

— И что только творится в умах современной молодежи?.. — Наш собеседник скорбно поджал губы.

— Затрудняюсь ответить на столь общий вопрос. Впрочем, физически вот с этим конкретным представителем молодежи все более-менее нормально. Ему нужно немного отдохнуть — а потом забирайте его домой: вы ведь знаете, где он живет? Нет-нет, не стоит благодарности. Помогать людям — мой долг, брат…

— Арминий. Брат Арминий, — ответил пожилой джентльмен. — Да, я, конечно, знаю, где Клем живет. Ведь он же мой племянник. Точнее — племянник моей покойной жены.

Мы с Кидом обменялись быстрыми взглядами.

— С Клемом все-таки что-то серьезное? — встревожился брат Арминий.

— Нет, все хорошо. — Голос доктора был абсо-

лютно спокоен. — Просто ему нужно немного отдохнуть.

Перевод Григория Панченко

От переводчика

В данном рассказе загадки начинаются прямо с названия. Почему «Окопная Мадонна», если в самом тексте о «Мадонне» нет ни слова? Но современникам, пережившим Первую мировую, не надо было ничего объяснять. Так называемая «Окопная Мадонна» — один из персонажей военных легенд: загадочная женская фигура, которая якобы время от времени появляется перед окопами или даже в них самих и молится за всех солдат, вне зависимости от того, под какими знаменами они сражаются.

Следующая загадка связана с эпиграфом из поэмы Суинберна *Les Noyades* (во всем мире она известна именно под этим французским названием). Собственно *Les Noyades*, «нойяды» — один из самых ужасных эпизодов якобинского революционного террора 1793 года: депутат конвента Жан-Батист Каррье, представлявший якобинскую власть в городе Нант, даже не отправлял арестантов на гильотину, а набивал ими старые

баржи и топил в Луаре. Сам Каррье, в полном смысле слова «тыловая крыса» и вообще крайне отвратительная фигура, в поэме знаменитого английского поэта-романтика Элджернона Чарльза Суинберна (1837–1909) превратился в трагического злодея, который влюбляется в прекрасную аристократку, пытается спасти ее от репрессий своих же соратников — и в результате подвергается вместе с ней «революционной свадьбе». Такая «свадьба» — еще один тип расправы, которую якобинцы под его руководством будто бы творили в Нанте (правда, в отличие от вполне реальных «нойяд», это, похоже, страшная легенда: эпоха Французской революции порождала их не менее обильно, чем Первая мировая война). Описание ее выглядит так: «контрреволюционеров» связывали попарно, лицом к лицу, обнаженными — одежда пригодится революционному народу! — причем с революционным юмором пары старались составлять из мужчин и женщин; а потом сбрасывали их в Луару, даже без барж. В действительности Каррье был без всякой романтики отправлен на гильотину, причем в Париже и через год после завершения террора в Нанте, — но образ «смертной свадьбы» навсегда вошел в культурный багаж британских

ценителей Суинберна.

В число окопных легенд Первой мировой входит и история «ангелов Монса». Якобы 26 августа 1914 года в ходе жестокой битвы при Монсе (Бельгия) небольшой британский отряд, оказавшийся в безвыходной ситуации, был спасен благодаря вмешательству небесных сил: между ним и гораздо более многочисленными немцами внезапно встала шеренга ангелов — и германские войска, устрашившись, отступили.

Доктор Кид называет этот случай «галлюцинацией», сторонники аномальных явлений числят его по своему ведомству. На самом же деле первоисточником данной легенды послужила статья Артура Мэкена: автора, произведением которого (правда, другим) открывается этот сборник. Мэкен, тогда уже довольно известный журналист и писатель, в то время совершенно официально выступал как сотрудник пропагандистского отдела. Вся эта история сочинена им абсолютно «из головы» — но тем не менее вскоре начали публиковаться «воспоминания очевидцев», по их словам, бывших в тот день под Монсом и видевших ангелов своими глазами. Трудно сказать, что это было: слишком эмоциональные, с путаницей дат, воспоминания тех, кто читал или слышал в

пересказе историю Мэкена, или действительно порожденные ею галлюцинации, что вполне возможно в той обстановке непрерывного стресса, страха и боли.

Продолжая разговор о реалиях Первой мировой, скажем, что должность Стрэнджвика (батальонный ординарец) отнюдь не «штабная», а тем более не тыловая: такой ординарец находится при командном пункте батальона и исполняет функции вестового — то есть постоянно доставляет поручения командования на передний край, да и сам батальонный штаб обычно расположен фактически на передовой. Из-за необходимости постоянно перемещаться под обстрелом потери среди таких ординарцев были даже выше, чем среди обычных окопников.

«Двойное зрение» (*second sight* или, по-гэльски, *An Da Shealladh*), которым был наделен капрал Грант, — якобы имеющий место феномен предвидения. Традиционно считается, что в первую очередь он позволяет предсказывать смерть окружающим (но не самому провидцу: обстоятельства его собственной гибели от него сокрыты), причем если такое пророчество уже озвучено, то попытка что-либо изменить приведет к еще более трагическим последствиям; более того, если уж

обладатель «двойного зрения» рассказал о том, что увидел, — этим самым он не столько предупредил о беде, сколько ее накликал. Способность к «двойному зрению» приписывалась прежде всего кельтским народам, в том числе и горным шотландцам. А фамилия Грант — не просто шотландская, но и принадлежит одному из наиболее «упертых» горных кланов, многие члены которого даже в Викторианскую эпоху отказывались признавать себя британцами. Собственно, и в знаменитом романе «Дети капитана Гранта» (Жюль Верн перед его написанием специально изучил шотландскую специфику) сложность поисков связана с тем, что капитан Грант отправился в южные моря с целью основать колонию для недовольных английским владычеством шотландцев — и не уведомил адмиралтейство о своем маршруте.

Цитата из «1-го послания к коринфянам», которую Стрэнджвик сперва услышал так неправильно, что название города Ефес (*Ephesus*) запомнил как слово «офицеры» (*officers*), представляет собой одну из самых загадочных строк в «Деяниях апостолов». По-видимому, апостол Павел говорит о случае, когда его выставили на арену для растерзания дикими зверями, — однако, во-первых,

эта казнь, *damnatio ad bestias*, которой позже очень часто предавали первых христиан, обычно не применялась для римских граждан (а Павел такое гражданство имел), во-вторых же — непонятно, как ему в таком случае удалось спастись. Так или иначе, для христианского сознания эта формула — символ веры в вечную жизнь, ради которой можно вынести любую опасность…

А вот нарушение обещания жениться в описываемое время было серьезным противоправным поступком. Невеста или ее родители могли подать в суд и получить довольно крупную сумму в качестве компенсации морального ущерба — не говоря уж о том, что после такого суда репутация «нарушителя» оказывалась запятнанной. После Первой мировой эти нормы заметно ослабли, но по-прежнему оставались значимыми.

Август Хэйр. Встречи с призраками. Страницы из дневников

Август Джон Катберт Хэйр (1834–1903), с некоторой иронией называемый «последним викторианцем», был по праву рождения вхож в высшие круги. За свою жизнь он написал множество книг, но все они делятся на две группы: одни посвящены биографиям и связям его семейного клана, другие — описаниям его собственных путешествий по разным городам и странам.

Публикуемые здесь «Страницы из дневников» — именно выдержки из дневников, включенные в шестой том его автобиографии. Так что можем не сомневаться: в аристократических гостиных нечто подобное действительно обсуждалось (какова была связь этих разговоров с истиной — другой вопрос). Один из рецензентов-современников пришел к выводу, что «призраки мистера Хэйра описаны гораздо интереснее, чем его титулованная

родня или изредка встречавшиеся на его пути представители среднего класса».

Статуя Якова I и смерть леди Солсбери

Леди Солсбери показала нам дом, начиная с гостиной. Взгляд сразу же приковывала огромная бронзовая статуя Якова I, которая стояла над камином, ничем не фиксируемая, кроме собственного веса. Интересная история связана с этой статуей. Однажды тут устроили бал: музыка, танцы, шум, шампанское и все прочее, чем обычно сопровождаются подобные мероприятия. И вдруг одна из дам посреди танца случайно взглянула на Якова и увидела, как тот качает бронзовой головой в такт музыке. Визг, крики, топот… Словом, паника была ужасная, толпа так и ринулась по длинной галерее наружу, к экипажам. Правда, осталось непонятным, что видели остальные…

В одной из комнат висит великолепный портрет бабушки нынешнего лорда Солсбери работы Рейнолдса. Именно эта леди погибла при пожаре. Она любила после верховой езды сразу переодеваться к обеду, горничная уже была наготове, чтобы не бегать туда-сюда по нескольку раз.

После трапезы бабушка приказывала, чтобы ей читали при зажженных свечах, уходило на это обычно по два-три часа. Но однажды вечером покойный лорд Солсбери увидел, как полыхают окна в соседнем крыле здания; он тут же поднял тревогу, но спасти его матушку не удалось. Огонь был настолько силен, что даже прах не удалось бы опознать для захоронения, если бы не рубиновое кольцо, которое нынешняя леди Солсбери и носит. Кольцо опознала горничная, ответственная за одежду и украшения своей трагически погибшей хозяйки. Пепел, скопившийся вокруг того конкретного места, где лежало кольцо, был аккуратно собран в небольшую погребальную урну. Две ее любимые собаки тоже погибли в том пожаре, и пепел их, возможно, похоронен в той же урне.

Кстати, этот пожар был описан в романе Диккенса «Оливер Твист»: в эпизоде, когда Билл Сайкс бежит из Лондона.

В комнате самой леди Солсбери имеется портрет мисс Пайн, второй бабушки лорда Солсбери, сделанный сэром Джошуа, а также изображения графа и графини Вестморлендов с ребенком, которые тоже весьма любопытны.

— Она выглядит хорошо, но скучно, — заметила

мисс Палмер.

— Она выглядит умной, но будто бы не в себе, — сказал я.

— На самом деле она была очень злой женщиной, — улыбнулась мисс Палмер. — А все из-за своей непоколебимой религиозности. Именно она основала «богадельни леди Анны», они существуют до сих пор и по-прежнему зовутся ее именем. Эта женщина отправила своего семнадцатилетнего сына учиться в Вестминстер с указанием, что его разрешается сечь розгами за любые проступки. Испортила юному отпрыску всю жизнь. Кто бы до такого додумался, кроме фанатичной, насквозь религиозной женщины? Неудивительно, что потом сынок вел порочную жизнь и в конце концов плохо кончил. Он продал все, до чего мог добраться: драгоценности, старые фамильные тарелки, серебро. Только не смог продать старый уродливый подсвечник и шесть бра под красное дерево.

Может быть, поэтому старый лорд и слышал временами, как ко входу подъезжает нечто вроде призрачной кареты — а потом слышались постепенно затихающие звуки шагов, словно кто-то поднимается по лестнице. Лорд думал, что это приехали гости, одевался, выходил, а там…

никого.

Рассказ лорда Хоутона о генерале Радовице

Прибыл лорд Хоутон. У него весьма твердый характер, но при этом он хороший собеседник. Его всегда интересно слушать.

Он рассказывал о Бонапартах, о могилах Жозефины и Гортензии в Рюэле и о мадам Мер[63].

— Мне очень не хватало возможности увидеть мадам Мер, и мне очень жаль, что я этого не сделал, потому что это обошлось бы всего в скудо, — качал он головой, вспоминая. — Носильщик впускал людей за ширму, которая стояла у изножья кровати, стоило это как раз одну монету. Она очень долго умирала, и я подумал, что успею, времени много. Однако она умерла раньше.

После небольшой паузы он продолжил:

— Одна из самых красивых историй о привидениях, которые я когда-либо слышал, это история

---

[63] Примечания: 63

Речь идет о Жозефине Богарне (1763–1814), первой жене Наполеона Бонапарта, и Гортензии Богарне-Бонапарт (1783–1837), ее дочери от первого брака, королеве Голландии; мадам Мер — прозвище Летиции Бонапарт, матери Наполеона (1749–1836), пережившей сына на 15 лет и умершей в Риме. (*Примеч. ред.*)

генерала Радовица. Его назначили губернатором Франкфурта. Но, поскольку он не имел возможности выехать в город сразу, то послал слуг, знавших его вкусы и предпочтения. Надо сказать, они выбрали отличный дом с большим садом, даже с садовым лабиринтом и с видом на гласис[64]. Когда прибыл генерал с супругой, то первым делом спросил о соседях. Ему поведали, что рядом живет дама, которую во Франкфурте называют не иначе как *weisse Frau*[65], очень милая и доброжелательная особа, любимая горожанами. Однако старая дама потеряла память и совершенно ничего не помнила о своем прошлом. Память пропала после смерти ее возлюбленного на поле брани; она даже забыла его имя и на все вопросы о нем и ей самой отвечала лишь: *«Ich weiss nicht! Ich weiss nicht!»*[66] — причем всегда с какой-то печальной и нежной улыбкой. Жила она в этом месте так долго, что скончались все, кто знал ее историю. Но жизнь продолжалась, и надо было заниматься

[64] Примечания: 64

Гласис — крепостное укрепление в виде насыпи. (*Примеч. ред.*)

[65] Примечания: 65

«Белая дама» (*нем.*): одна из классических разновидностей привидений.

[66] Примечания: 66

Я не знаю! Я не знаю! (*нем.*)

не только прошлым, но и настоящим. Заниматься насущными делами: например, ходить на рынок и прочее в том же духе.

А со временем служанка генерала познакомилась и подружилась со слугами старушки, сады двух домов ведь соединялись, и семья Радовиц узнала историю «белой дамы». Что та всегда уважаема, всегда печальна и мила, но ничего о себе не помнит и всегда в белом.

Как-то раз *weisse Frau*, которой приглянулась горничная мадам Радовиц, пригласила ее на двенадцать часов следующего дня, якобы помочь с гостями. Горничная отпросилась у своей хозяйки, и та ответила, что пусть непременно идет, чтобы не обижать такую милую старушку. Та воспользовалась приглашением и на следующий день пришла в соседский дом, нашла там маленькую гостиную, торжественно украшенную, столик, накрытый для трех персон, и цветы вокруг. «Белая дама» была не в своем обычном белом платье, а в старинном костюме из дорогой парчи, которая, как поговаривали, предназначалась для ее свадебного платья. Она все говорила, что кого-то ждет, но на вопрос: «Кого?» не отвечала, погружалась в себя, выглядела расстроенной и сбитой с толку, говорила лишь: *«Ich weiss nicht!»* А

ближе к двенадцати часам вдруг сильно разволновалась, воскликнула: «Он идет!», распахнула окно настежь и, глядя на улицу, стала едва ли не выкрикивать: *«Er kommt! Er kommt!»*[67] Лицо ее просияло, разрумянилось, глаза заблестели — никто никогда не видел ее такой раньше. И когда часы пробили двенадцать, она вышла на площадку перед дверью, там словно обняла кого-то невидимого, потом вернулась обратно, произнесла: «Хоффман» — и упала замертво перед изумленной горничной. В последний момент жизни она вспомнила давно забытое имя. Похоже, призрак возлюбленного помог ей вспомнить…

Рассказы Германа Меривейла о встречах на море и суше

— Один мой знакомый капитан плыл в Америку на своем корабле с очень немногими матросами на борту, — начал рассказ мистер Герман Меривейл. — Однажды к капитану подошел один из них и сказал, что видел странного человека в его каюте, тот сидел спиной к двери

---

[67] Примечания: 67
Он идет! Он идет! (*нем.*)

и что-то писал за столом. Лица видно не было. Капитан очень удивился, ответив, что там никого не может быть. Попросил сходить проверить еще раз. Незнакомца в каюте не оказалось, но зато матрос принес лист бумаги с еще влажными чернилами, со странным посланием: «Держитесь прямо на юг». Капитан внял странному предупреждению и через некоторое время встретил корабль, который терпел бедствие. Капитаны кораблей разговорились, и выяснилось, что в экипаже найденного судна был весьма странный персонаж, тоже подобранный с заброшенного корабля. Матрос, который был ранее в каюте капитана, узнал в нем того, кто писал послание.

Меривейл поведал нам, что нечто подобное случалось и с ним самим. Он тогда останавливался в Харроу, а поздно ночью его вызвали в Лондон, причем крайне срочно. Когда часы пробили двенадцать, они с другом в спешке проходили мимо дома директора Батлера и были удивлены необычным зрелищем: наемная карета посреди ночи и мужская фигура в черном, входящая в дом. Ни стука дверного молотка, ничего. Поговорив об этом, оба согласились, что происшествие не просто загадочно, а необъяснимо. Увиденное настолько запомнилось мистеру Меривейлу,

что на следующий день он вернулся в Харроу и постучался в дом директора.

— Дома ли хозяин? — спросил у открывшего дверь слуги.

— Нет, — ответил тот.

— А приходил ли кто-нибудь накануне, в двенадцать часов?

— Нет. Ничего не было. Никто не приезжал. Только отец доктора Батлера умер как раз в этот момент в далеком графстве…

Тварь из Кроглин-Грейндж

Капитан Фишер рассказал нам эту действительно необычную историю, связанную с его семьей.

Фамилия Фишер может показаться плебейской, но эта семья весьма древнего происхождения и на протяжении многих, очень многих лет владела очень любопытной усадьбой в Камберленде, носящей странное название Кроглин-Грейндж. Отличительной чертой этого дома является то, что за все время своего существования он не имел больше одного этажа, зато был снабжен террасой, с которой открывался прекрасный вид и часть которой уходила в сторону церкви.

Когда Фишерам стало здесь тесно, потому что

они «переросли» Кроглин-Грейндж и как семья, и как финансовая независимая единица, у них хватило такта и мудрости не нарушить очарование этого места перестройкой здания, хотя им и пришлось уехать на юг, чтобы поселиться в Торнкомбе, что около Гилфорда.

Им очень повезло с жильцами, двумя братьями и сестрой, арендовавшими усадьбу. Их многие хвалили, они были добрыми и милосердными; со своей стороны, жильцы остались очень довольны своей новой резиденцией. Во всех отношениях Кроглин-Грейндж им подходил. Там они и перезимовали, ни на что не жалуясь.

А следующим летом выдался очень жаркий безоблачный день. Братья лежали с книгами под деревьями, работать в такую погоду было невозможно. Сестра сидела на веранде, а с наступлением вечера все они наслаждались прохладным воздухом и любовались закатом солнца, а потом восходом луны. Луна, поднявшись над полосой деревьев, отделявших дом от кладбища, заливала лужайку серебряным светом.

Когда они разошлись на ночь, удалившись в свои комнаты, сестра решила все-таки закрыть окно, потому что из-за дневной жары в спальне до сих пор было прохладней, чем снаружи. Откинув-

шись на подушки, она продолжила наблюдать за красотами летней ночи. Через некоторое время она осознала, что видит два огонька, мерцающих среди деревьев, которые отделяли лужайку от церковного двора, и, присмотревшись, обнаружила, что огоньки эти принадлежат темной субстанции, приближающейся с каждой минутой и увеличивающейся в размерах. Это было страшно.

Время от времени существо скрывалось в длинных тенях, тянувшихся по лужайке от деревьев, но по мере приближения становилось все больше. Сестру охватил неконтролируемый ужас, желание убежать, но дверь находилась близко к окну, и пока она ее открывала бы, стоя спиной к пришельцу, оставалась бы беззащитной. Девушке хотелось закричать, но язык будто к нёбу прирос, настолько ее сковал ужас от увиденного.

Потом ей показалось, что существо повернуло куда-то в сторону, будто оно собиралось обходить дом. Тогда сестра вскочила и бросилась к двери, но пока она отпирала засов, вдруг услышала позади странные звуки, словно кто-то царапал ногтем стекло. Повернувшись, девушка увидела отвратительное коричневое лицо с горящими глазами, смотрящими прямо на нее. Зачем-то

она бросилась обратно к кровати, но существо продолжало царапать окно. Ее слегка успокоило, что окно не поддастся напору, оно прочное и надежно заперто изнутри.

Внезапно царапанье прекратилось. Но тут же вместо него послышалось что-то, напоминающее клекот и постукивающие удары. Шум продолжался, и в комнату упало выдавленное стекло. Следом появился длинный костлявый палец, уверенно повернул ручку окна, оно открылось, и существо пролезло внутрь. Страшный пришелец придвинулся вплотную к девушке, запустил длинные костлявые пальцы в ее волосы, пригнул ее голову к краю кровати и… укусил за горло. Когда он это сделал, силы будто вернулись к ней и она закричала изо всех сил. Братья услышали, бросились на помощь, но дверь оказалась заперта. С помощью кочерги они взломали засов, на что ушло время — существо успело сбежать через окно. Один из братьев бросился следом, второй остался возле сестры, лежащей без сознания. Рана на горле выглядела не очень хорошо, девушка потеряла много крови. Существо сумело скрыться, исчезло за стеной на кладбище, и молодой человек вернулся обратно, к брату и сестре.

Девушка испытывала сильную боль, но трезво

смотрела на вещи, была не суеверна и, когда пришла в себя, сказала, что всему есть объяснения и, скорее всего, это сумасшедший, который сбежал из какого-нибудь городского приюта. Она быстро поправилась от нервного потрясения, рана зажила тоже скоро, так что девушка, казалось, полностью выздоровела, но доктор, который ее осматривал и лечил, не поверил, что она могла без психических и физических последствий перенести такой шок. Он посоветовал перемену обстановки, и братья увезли ее в Швейцарию для окончательного выздоровления.

Будучи девушкой разумной, любопытной от природы, она и в чужой стране нашла себе дело. Сушила растения для гербария, делала зарисовки, поднималась в горы, но с наступлением осени решила вернуться в Кроглин-Грейндж, объяснив это тем, что они там прожили семь лет и трудно будет сдать в субаренду дом высотой всего в один этаж.

— Тем более что сумасшедшие каждый день на волю не сбегают, — добавила она.

Братьям было трудно спорить, и семья вернулась в Камберленд.

Поскольку в доме не было верхних этажей, то сестра заняла ту же комнату, но теперь на ночь

закрывала и ставни, хотя, как и во многих старых домах, створки ставень оставляли верхнюю половину окон открытой. Братья решили быть начеку, заняли комнату напротив и всегда держали при себе заряженные пистолеты.

Осень и зима прошли спокойно. Потом наступил март.

Сестра внезапно проснулась от звука, который она слишком хорошо помнила, — кто-то опять царапал стекло. Подняв глаза, она увидела то же самое отвратительное сморщенное коричневое лицо с горящими глазами, смотрящими прямо на нее. Теперь она сразу закричала так громко, как только могла. Братья с пистолетами выскочили из своей комнаты и бросились на улицу. Существо уже бежало прочь по лужайке. Один из братьев выстрелил и попал ему в ногу, но рана, казалось, не особенно беспокоила загадочную тварь: она перелезла через стену и исчезла в старом склепе, некогда принадлежавшем семье, чей род давно прервался.

На следующий день братья созвали всех местных жителей и в их присутствии вскрыли склеп. Перед ними предстала ужасная картина: склеп был полон гробов, словно торговый склад — ящиков; многие взломаны, и их содержимое

рассыпано по полу. Целым оказался лишь один гроб. Братья подняли крышку. Внутри лежало коричневое иссохшее, мумифицированное, но целое тело того, кто заглядывал в окна к сестре. Со следом пулевой раны в ноге.

Братья с соседями сделали единственное, что могло окончательно упокоить вампира, — они сожгли его дотла.

Черная Леди и королева Тереза Баварская

Вчера леди Уотерфорд, мисс Линдси и я совершили долгую восхитительную прогулку по болотам и очаровательным лужайкам старого леса. Вернувшись домой, мы обнаружили, что прибыло семейство Блумфилд, и вечером леди Блумфилд рассказала любопытную историю.

— Я была очень близка в Вене с принцессой Ройсс, первым мужем которой был принц Ангальтский, и она же была племянницей Терезы, королевы Баварии. Она сказала мне, что ее тетя проезжала через Ашаффенберг по дороге в Мюнхен и остановилась там на день. Вечером вошла фрейлина и спросила королеву, не собирается ли та дать аудиенцию. Королева ответила отри-

цательно, добавив, что она не видела никого, ожидающего аудиенции. Фрейлина же заметила, что в вестибюле сидит дама, которая не желает уходить. Тут уж королева Тереза попросила своего брата выяснить, в чем дело и кто это такая. Через минуту он вернулся очень взволнованный, сказал, что это *sehr unheimlich* (очень жутко), потому что это была Черная Леди, но когда он подошел ближе, она исчезла. Молва гласит, что Черная Леди является перед смертью баварской королевской семье, как Белая Дама — прусской. На следующий день королева покинула Ашаффенберг, попросив секретаря забрать петиции, про которые она невольно забыла. Секретарь, войдя в ее комнату, вдруг увидел Черную Леди, стоящую у стола с бумагами, но тут же исчезнувшую, едва он приблизился. В ту ночь, когда старый кастелян из Ашаффенберга и его жена уже лежали в постели, большой колокол замка начал звонить, но такого быть не могло, поскольку ключ от колокольни имелся только у них. А в этот момент в Мюнхене умерла королева Тереза. Она приехала в город в три, в пять ощутила первые симптомы холеры, а в одиннадцать скончалась.

Каменщик Радикофани

Лорд Рейнвесворд встретил меня как любящий дядя любимого племянника, с такой сердечной добротой и радушием, что я и почувствовал себя его племянником, которым всегда мечтал быть. Лорд был человеком очень образованным, с превосходной памятью, мог легко цитировать классиков по тому или иному поводу. Он рассказал мне и порекомендовал записать следующую историю.

Она относится к давним временам Марии-Антуанетты. Следует помнить, что самым верным, самым преданным и храбрым из всех приверженцев Марии-Антуанетты был шведский граф де Ферсен[68]. Он был готов отдать жизнь за свою королеву, пройти через огонь и воду ради нее. И в свою очередь, если Мария-Антуанетта и была привязана к кому-то, кроме короля, всем сердцем, то это был граф.

Когда королевская семья бежала в Варенн, именно граф переоделся кучером и вел карету, и

---

[68] Примечания: 68

Здесь его фамилия озвучена на французский манер: в шведском варианте она звучит как «фон Ферзен».

когда неудача постигла их и он увидел, как один за другим гибнут на эшафоте его самые близкие друзья, то почувствовал, будто земля уходит из-под ног, будто жизнь прожита впустую. Он погрузился в состояние полной апатии, как душевной, так и физической, из которой, казалось, не было для него выхода, не было ничего, что могло бы его заинтересовать и вернуть к жизни.

Врачи сказали, что граф де Ферсен должен полностью изменить образ жизни, в частности, много путешествовать, что он должен покинуть Францию, уехать из Парижа, в котором ему все напоминало об ужасах кончины королевы и мадам Елизаветы[69]. Граф был вполне согласен: он не видел больше смысла здесь оставаться, и ему было все равно, куда ехать.

Он выбрался в Италию и в ноябре подъехал к гостинице Радикофани, на тот момент пустовавшей, выглядевшей странной и даже зловеще. Он не собирался там задерживаться, намереваясь лишь поменять почтовых лошадей, потому что всегда заботился о том, как будет двигаться дальше. Однако хозяин сказал:

---

[69] Примечания: 69

Елизавета Французская (1764–1794) — сестра короля Франции Людовика XVI, вместе с ним была заключена в Тампль и затем гильотинирована. (*Примеч. ред.*)

— Нет, двигаться дальше невозможно, уже поздно, надвигается шторм, и я не могу позволить своим лошадям переходить перевал Радикофани в такую погоду. Дождитесь утра.

— Я не простой путешественник, я — граф де Ферсен!

— Да мне плевать! — ответил владелец гостиницы. — Тут правила устанавливаю я!

— Вы не понимаете. Я готов заплатить любую сумму за лошадей и получить их сейчас, потому что мне необходимо прибыть в Рим как можно скорее!

— Лошадей не будет! — повторил хозяин. — Завтра вы можете их получить, но не сегодня вечером. А если моя гостиница не слишком хороша для вашей милости, то можете ночевать и в карете!

Граф сделал самое разумное в этой ситуации: он приказал поставить карету в сарай, а сам отправился в гостиницу. Через некоторое время он обнаружил, что тут не так уж и плохо, как ожидалось.

Само помещение напоминало барак, унылый и пустой, но зато комнаты оказались большими и довольно чистыми. Заказав на ужин яичницу, граф развел огонь в камине в одной из лучших

комнат. После ужина отправился спать, не забыв и о предосторожностях; придвинул маленький столик к изголовью кровати, положил два заряженных пистолета рядом, а также приказал кучеру ночевать напротив двери, но снаружи, как того требовали обычаи времени.

Посреди ночи граф вдруг проснулся с ощущением, что в комнате он не один. Он приподнялся на подушке и огляделся. Лунный свет, отражаясь в маленьком растрескавшемся зеркале, что висело на противоположной стене и находилось довольно высоко от пола, лился прямо в комнату, образуя в ее центре белый серебристый овал. Внутри овала стояла фигура человека, одетого в белую кепку, куртку и брюки, как было принято у каменщиков. Человек пристально смотрел на графа. Тот посмотрел в ответ и протянул руку за пистолетом, но неизвестный произнес:

— Не стреляйте, вы все равно не можете причинить мне вреда, а себе как раз можете. Я пришел кое-что рассказать.

— Что именно?

— Я мертв, мое тело находится под вашей кроватью. — Фигура оставалась на месте, в овале лунного света. — Я был каменщиком Радикофани и поэтому носил белое, в этом одеянии вы меня и

видите. Моя жена хотела выйти замуж за другого: за хозяина этой гостиницы. Они заманили меня сюда, напоили и потом убили, мое тело похоронено под тем местом, на котором стоит сейчас ваша кровать. Но я умер со словом «вендетта» на устах, тоска и жажда мести никогда меня не покинут, я не упокоюсь, пока не отомщу. Я знаю, что вы собираетесь в Рим. Когда туда прибудете, идите к комиссару полиции и расскажите ему о том, что видели. Он пришлет сюда людей, чтобы они осмотрели это место, мое тело будет найдено, и я наконец отомщу своим убийцам.

— Хорошо, я сделаю это.

— И вы думаете, я поверю вам на слово? — засмеялся дух. — Я приходил ко многим, и все говорили: «Я сделаю это», но после им казалось, что это все сон, галлюцинация. И прежде чем они достигали Рима, впечатление полностью исчезало и они ничего не предпринимали… Дайте мне руку!

Граф де Ферсен был поражен просьбой, но, будучи храбрым человеком, протянул руку вперед и почувствовал, как что-то коснулось его пальцев. Призрачная фигура исчезла. Остался только лунный свет, старое треснувшее зеркало на стене да шаткая мебель, едва различимая в полумраке.

Каменщика нигде не было, лишь за дверью раздавался громкий храп кучера.

До утра граф не мог уснуть. Смотрел, как белый лунный свет постепенно сменяется рассветом, тот превращается в день, — и думал, что образ этой комнаты навсегда врежется ему в память, настолько обостренно он тут все воспринимал. Также граф подумал: то, что произошло ночью, не что иное, как галлюцинация или просто сон, вызванный усталостью от переезда, переутомлением.

Поднявшись, он отправился умываться — и тогда увидел на одном из пальцев старое железное кольцо, которого там не было раньше. Задумался и понял: ночью случилось что угодно, но не галлюцинация.

Утром он уехал в Рим, а когда туда прибыл, то сразу пошел к шведскому послу, которым был тогда некий граф Левенельм. Того очень впечатлила вся история. Но гораздо больше оказался впечатлен младший брат министра, граф Карл Левенельм, поскольку у него имелась весьма любопытная и ценная коллекция крестьянских украшений разных эпох. Когда он увидел кольцо, то определил, что такие украшения изготавливают лишь в одном месте — в горах недалеко от

Радикофани.

Все втроем они направились к комиссару полиции. Выслушав их, комиссар тоже оказался поражен.

— Это очень необычная история, — сказал полицейский, — и я вполне склоняюсь к тому, что в этом что-то есть. Но ситуация такова, что я нахожусь на очень важном правительственном посту и не могу просто так послать людей в Радикофани, полагаясь исключительно на слова какого-то призрака. Однако если граф де Ферсен дополнит более существенными деталями свой рассказ, вернувшись в Радикофани, — то дело другое.

Графу не оставалось ничего иного, как отправиться обратно. С ним поехал и Карл Левенельм.

Хозяин и хозяйка были чрезвычайно взволнованы, когда увидели возвращающихся из Рима де Ферсена и Карла вместе с несколькими солдатами.

По приказу графа кровать в комнате отодвинули, доски пола убрали. И обнаружили труп: еще не полностью истлевшее тело каменщика, одетого в белую шапку, куртку и брюки — в таком же виде, как он и явился графу ночью.

Хозяин и его жена не отпирались, поняв, что провидение против них. Они во всем признались,

их доставили в Рим и после суда приговорили к смертной казни. Обоих обезглавили в Бокка-делла-Верита…

Граф Карл Левенельм присутствовал при казни, и именно он рассказал об этой истории маркизу де Лавалетту, тот поведал ее лорду Рейвенсворду, а тот уже мне.

Любопытен и такой факт[70]. Оба графа Левенельма были родными сыновьями герцога Судомании, который являлся одним из претендентов на корону Швеции во время политического кризиса, предшествующего избранию Бернадота. В ту ночь, когда он прибыл, чтобы завладеть короной, он был отравлен — врагов у него хватало. Да и сам граф де Ферсен в те дни трагически погиб. Он был очень непопулярен в Стокгольме, и во время

---

[70] Примечания: 70

Хотя Хэйру описываемые им в следующих строках события кажутся «любопытным фактом», на самом деле его изложение событий весьма бессвязно. Так или иначе, речь идет о династическом кризисе, в результате которого шведская династия осталась без признанных наследников. После того как очередной наследник престола Карл Август внезапно скончался от инсульта, граф Ферсен был ложно обвинен в его отравлении и во время торжественных похорон Карла Августа убит разъяренной толпой (пусть и буквально не при таких обстоятельствах); в итоге королем Швеции стал «посторонний» человек, наполеоновский маршал Бернадот. Применительно к теме рассказа интересно другое: невинноубиенный Ферсен, как считалось в Швеции, регулярно являлся на место своей гибели в виде призрака — и это прекратилось лишь в 1940-х гг., когда площадь была полностью вымощена заново и исчезли последние камни, «помнившие» убийство Ферсена.

публичной процессии по случаю похорон Карла Августа в 1810 году его растерзали, а именно — до смерти забили зонтиками…

Перевод Александра Голикова и Григория Панченко

Леди Уайльд (?). Баньши

Наиболее выдающимся произведением Джейн Франчески Агнес, леди Уайльд (1821–1896), несомненно, является ее сын, знаменитый писатель Оскар Уайльд. Но она и сама была талантливой писательницей, поэтессой (публиковалась под псевдонимом Сперанца, то есть «надежда»), собирательницей ирландского фольклора и, возможно, создательницей его литературных версий — иногда под своим именем, а иногда под разными псевдонимами или вообще анонимно. Такие сложности связаны с тем, что для нее и ее покойного мужа, сэра Уильяма Уайльда, все ирландские изыскания были формой общественной деятельности — на тот момент спорной и небезопасной. Супруги Уайльд были сторонниками «цивилизованного ирландского национализма», опирающегося на развитие культуры и не требующего обязательного разрыва с Англией. При этом они, несмотря на свое высокое обществен-

ное положение, буквально «ходили по тонкой нити», подвергаясь некоторой опасности со стороны британских имперцев и заметно большей — от ирландских радикалов.

Рассказ «Баньши» был опубликован анонимно. Вот уже долгое время считается, что его авторство (по-видимому, представляющее собой нечто намного большее, чем литературная обработка) с большой вероятностью принадлежит леди Уайльд. Однако это никогда не было доказано.

Она умерла в те месяцы, когда Оскар Уайльд отбывал срок наказания по статье, которая в цивилизованном обществе давно уже декриминализирована. Перед смертью леди Уайльд попросила хотя бы на день отпустить сына из тюрьмы для прощальной встречи — но в этой просьбе ей было отказано. Тем не менее, как говорят, их встреча в каком-то смысле состоялась: якобы ее «фетч», особый род призрака, принадлежащий еще живому человеку, появился в камере Оскара Уайльда, когда его мать доживала послед-

ние минуты. Правда, об этом рассказывал кто угодно, но только не сам Уайльд…

Из всех поверий прошлого или настоящего, распространенных среди коренных жителей Ирландии, нет ни одного настолько же причудливого, ни одного, распространенного столь же повсеместно, и ни одного столь же истово поддерживаемого, как вера в существование баньши. Есть очень мало людей, знающих о баньши лишь на уровне случайного упоминания; впрочем, все эти люди весьма далеки от ирландской жизни и ирландской истории. Однако, поскольку мнения и рассказы насчет этого странного создания разнятся, то, полагаю, небольшое пояснение относительно их внешности, занятий и привычек окажется полезным для моих читателей.

Итак, согласно преданиям, баньши — это нематериальные и бессмертные сущности, в незапамятные времена закрепленные за различными древними и уважаемыми ирландскими родами. Как говорят, баньши объявляется, дабы воплями и плачем возвестить о смерти любого члена того семейства, к которому она принадлежит. Она всегда является ночью, незадолго до смерти обреченного, устраивается снаружи, поблизости от

дома, и там начинает жалобно стенать и плакать, как правило, на неизвестном наречии, при этом голос ее имеет сходство с голосом человеческой женщины. Она продолжает являться еженощно, за исключением моментов, когда устает или чувствует скуку, пока оплакиваемый ею человек не умрет — а иногда, по слухам, она дежурит у дома еще несколько ночей после смерти. Временами она является в облике прекрасной юной барышни, одетой в очаровательный и элегантный наряд; но чаще она походит на низкорослую старуху, горбатую и немощную, одетую в саван или иное погребальное облачение, чьи длинные седые волосы ниспадают по плечам до самых пят. Иногда же она обряжается в средневековые одеяния — различные детали ее одежды сшиты из соболей и богатейших тканей. Она очень пуглива и легко раздражается, а когда утомляется или ей все надоедает, то улетает и не возвращается, пока не вырастет следующее поколение. Когда смерть человека, которого она оплакивает, возможна лишь при определенных обстоятельствах или зависит от непредвиденных случайностей, она необычайно волнуется, в облике ее сквозит беспокойство, а вопли особенно громки и печальны. Некоторые готовы поспешно провозгласить, что

этой странной сущностью движет чувство неприязни к роду, который она частенько навещает, и что она является к ним, дабы триумфально и радостно возвестить об их несчастьях. Это мнение, однако же, опровергается большинством людей, считающих ее наиболее преданным другом семейства, а также, в далекие времена, и членом рода, однажды возродившимся к прелестям земной жизни. Не каждой ирландской семье везет заполучить во владение баньши: эти существа трепетно передаются по наследству в древнейших родах, не имеющих к печальным духам ни малейших претензий. Похоже, на нее не влияет различие в климате или вероучениях (разумеется, если не существует иных препятствий), поскольку несколько протестантских семей норманнского и англосаксонского происхождения могут похвастаться собственными баньши, и в наши дни некоторые видные и благородные семейства графства гордятся тем, что за ними надзирает это мистическое существо. Ее также не волнуют классовые различия и достаток: она куда чаще является в крестьянские лачуги, нежели во дворцы лордов, владеющих тысячами душ. Даже семья низкого происхождения, к которой принадлежит автор этих строк, долгое время

может притязать на почетное дополнение в лице баньши; и, возможно, у моих читателей возбудит дополнительный интерес сообщение, что эта история связана как раз с последним появлением баньши в такой семье.

Пару лет назад в графстве Квинз возле Маунтраса жил фермер, чью фамилию по понятным причинам мы не станем нынче разглашать. Он никогда не был женат, и его единственными домочадцами были мальчишка-слуга и старая экономка, долгое время служившая этой семье и находившаяся у нее на иждивении. Он был рожден в семье католиков и получил католическое образование, но когда достиг зрелого возраста, то бог весть почему отрекся от догматов этого вероучения и принял доктрины протестантизма. Однако в поздние годы он разуверился, перестал посещать церковь и, если судить по тому, как он жил, склонялся к богоборчеству или же атеизму. Вел он себя грубо и холодно, а нрав у него был такой, что он частенько брюзжал и мало улыбался, и это, в сочетании с его хорошо известным пренебрежением церковными догмами, привело к тому, что знакомые и соседи его не любили. Однако в целом его уважали, никто ему не докучал, и оскорблениям он не подвергался. Его

также считали человеком честным и в целом безобидным, а поскольку он в юности прослужил несколько лет в артиллерийском полку и хорошо умел обращаться со стрелковым оружием и боеприпасами, то мало кто решался побеспокоить его, даже если очень хотелось. Он получил хорошее образование и выступал категорически против любых суеверий, а потому постоянно насмехался над старой экономкой, которая была крайне суеверной и, похоже, все знала даже о самомалейшей мелочи, относящейся к магии и волшебному миру. Он редко ходил в гости и почти никого не приглашал к себе; вместо этого свободные часы он обычно посвящал чтению, которое очень любил, или чистке оружия, к которому был привязан еще сильней, или же выслушиванию и высмеиванию жутких, леденящих кровь рассказов старой Мойи — а уж ее память хранила подобное в избытке. Так он прожил до того дня, с которого и начнется наше повествование. К тому моменту фермер дожил примерно до пятидесяти лет, а старая Мойя, его экономка, совершенно одряхлела и сгорбилась, став внешне уродливой и отвратительной. Неким утром в ноябре месяце, в 1818 году от Рождества Христова, этот человек встал еще до рассвета, вышел из спальни и очень

удивился, найдя старую Мойю на кухне. Она сидела, ворошила угли в очаге и курила трубку с крайне серьезным и вдумчивым видом.

— Вот так раз, Мойя, — произнес фермер. — Чего это ты вскочила с кровати в такую рань?

— Ай, да сама не знаю, — отвечала старая женщина. — Мне всю ночь что-то так тревожно было, глаз не могла сомкнуть, вот и решила встать и затянуться разок-другой — вдруг да улетучатся те горести, что у меня на сердце лежат?

— Да что ж тебя так мучит, Мойя? Заболела ты или как?

— Хвала Господу, нет! Я не больна, у меня лишь на сердце тяжко, и на душе такое бремя, что может разом сто человек уничтожить.

— Да тебе, небось, опять что-нибудь пригрезилось, — поддел ее хозяин, сочтя, что старуха, по своему обыкновению, страдает от очередного приступа воображения.

— Пригрезилось? — с горькой усмешкой передразнила его Мойя. — Ха, пригрезилось! Ай, да я Господа готова молить, чтоб мне *лишь пригрезилось*, но я жутко боюсь, что дела обстоят хуже некуда и ждут меня беды и страдания.

— И почему ты так решила, Мойя? — спросил фермер, не до конца сумев спрятать улыбку.

Мойя, прекрасно осведомленная о его предубеждении к любого вида суевериям, молчала, лишь кривила губы да пророчески кивала седой головой.

— Ты почему не отвечаешь, Мойя? — вновь спросил мужчина.

— Ай, — фыркнула Мойя. — У меня сердце болит оттого, что должна это вам рассказывать, и я знаю, что вы надо мной лишь посмеетесь; да только говорите что хотите, но беда идет за мной по пятам. Баньши всю ночь возле дома шаталась и чуть с ума меня не свела своими криками да рыданиями.

Мужчина знал о том, что баньши уже долгое время наведывается к его семье, однако часто с презрением отзывался об этом как о суеверии. Но все же, хотя прошло уже несколько лет с тех пор, как он в последний раз слышал о визите баньши, он оказался не готов к леденящему кровь сообщению старой Мойи. Побледнев, точно смерть, он затрясся всем телом, и наконец, собравшись с силами, произнес с вымученной улыбкой:

— Да откуда тебе знать, что это была баньши, а, Мойя?

— Откуда мне знать? — саркастически переспросила Мойя. — Да разве ж я за ночь не слышала

и не видела ее несколько раз? Более того, разве ж я не слыхала, как мертвая повозка[71] на этой неделе каждую полночь кружила поблизости и заезжала во двор, сотрясая дом до основания?

Мужчина выдавил из себя слабую улыбку. Он испугался, но стыдился признать это. Он задал следующий вопрос:

— А ты когда-либо раньше видала баньши, Мойя?

— Да, — отвечала Мойя, — и частенько. Разве ж я не видала ее, когда ваша матушка умерла? А когда ваш братец утонул? Да и вообще, не было случая за последние шестьдесят лет, когда кого-либо из семьи прибирал Господь, а я не слыхала и не видала ее.

— А где она появилась и как выглядела сегодня ночью?

— Я увидала ее сквозь маленькое окно, что возле моей кровати. Все вокруг дома залило красноватым светом, я выглянула — и увидала ее бледное старческое лицо и остекленевшие глаза, что глядели на дом. Она раскачивалась

---

[71] Примечания: 71

Dead-coach или же *Cóiste Bodhar* — «мертвая повозка» из ирландского фольклора. Ее появление предвещает чью-либо смерть. Она запряжена четырьмя черными лошадьми и управляется Дуллаханом, безголовым кучером. Увидеть или услышать ее предвещает неминуемую гибель.

взад-вперед, заламывала иссохшие тонкие руки и рыдала так, словно сердце ее разбивалось на мелкие осколки.

— Что ж, Мойя, это у тебя разыгралось воображение. А теперь иди и приготовь мне завтрак. Я сегодня собираюсь в Мэриборо и хочу пораньше оттуда вернуться.

Задрожав, Мойя умоляюще поглядела на хозяина и попросила:

— Во имя всего святого, Джон, не уезжай сегодня! Выбери другой день, и да благословит тебя Господь! Если же поедешь сегодня, то, клянусь, что-нибудь мерзкое сведет тебя в могилу!

— Что за чушь, женщина! — воскликнул фермер. — Ну-ка, давай пошевеливайся и приготовь мне завтрак.

Мойя со слезами на глазах отправилась готовить еду, а пока она этим занималась, Джон начал собираться в путь. Закончив приготовления, он сел за завтрак, а затем собрался было уходить. Мойя же, громко плача, выскочила за дверь, упала на колени и возопила:

— Джон, Джон, послушай моего совета! Послушайся меня, не езди сегодня никуда! Я знаю о мире куда больше твоего и ясно вижу, что если ты поедешь, то никогда больше не войдешь живым

в эту дверь.

Устыдившись того, насколько сильно подействовала на него околесица, которую несла старая карга, мужчина оттолкнул ее. Зайдя в конюшню, он оседлал лошадь и был таков. Мойя следила за ним, пока могла разглядеть, а когда он скрылся из виду, села у огня и горько заплакала.

На дворе стоял собачий холод, и когда фермер закончил дела в городе, он уже продрог до самых костей, а потому зашел в паб пропустить стаканчик пунша и накормить лошадь. Там он встретил старого друга, и, поскольку они не виделись много лет, тот наотрез отказался расставаться, пока они не выпьют еще по стаканчику и не поболтают. За стаканчиком последовал еще один и еще, и когда Джон подумал о том, что пора бы домой, уже почти стемнело, а учитывая, что до дому было почти десять миль, то вернулся бы он уж совсем глухой ночью. А друг все не отпускал и не отпускал его, уговаривая выпить еще хмельного, так что глухая ночь наступила еще до того, как они расстались. Впрочем, лошадь у Джона была хорошей, и поскольку он накормил ее досыта, то не жалел плети и шпор, мчась во весь опор сквозь мрак и тишь зимней ночи. Он миновал уже пять миль и был далеко от города, когда на безлюдном

участке дороги из кустов внезапно прозвучал выстрел, прервав его бренное существование. Двое подозрительных бродяг, выпивавших с Джоном в одном пабе в Мэриборо, заметив, что у него есть деньги, сговорились убить и ограбить его. Ради осуществления своего отвратительного замысла они вызнали, каким путем он будет возвращаться, и устроили ему засаду в этой глуши.

Бедняжка Мойя той ночью совсем не ложилась спать, а сидела у огня, с нетерпением ожидая, что хозяин вот-вот возвратится. То и дело она вслушивалась в звуки за дверью, пытаясь уловить топот лошадиных копыт. Но тщетно: до ее ушей доносились лишь печальные завывания ветра, порывы которого пригибали к земле высокий кустарник, окруживший старый дом, да еще сердитое рокотание маленькой речки, чьи темные воды текли по долине, расположенной неподалеку. Утомленная ожиданием, она наконец задремала подле очага; но сон ее был прерывистым и беспокойным. Внушающие трепет ужасающие картины то и дело представали перед ее внутренним взором.

В конце концов наступило хмурое утро. Тучи, быстро бегущие по небу, то и дело затмевали солнечный свет. Мойя вновь открыла дверь и выглянула наружу. Ее обуял непередаваемый

ужас, когда она обнаружила лошадь без седока, стоявшую возле дверей конюшни. Все седло было испачкано запекшейся кровью. Мойя издала душераздирающий вопль, на который сбежались все соседи, предположившие, что горемыку Джона ограбили и убили. Группа всадников немедля отправилась на поиски, и когда они достигли рокового места, то обнаружили труп, лежащий на спине в придорожной канаве. Голова Джона была пробита выстрелом, а тело его буквально плавало в луже крови. Когда его осмотрели, то выяснилось, что все деньги исчезли, а из кармана испарились дорогие золотые часы на цепочке. Останки его отвезли домой и, справив положенные поминки, в свой срок отнесли в склеп его предков, расположенный на маленьком, утопающем в зелени сельском кладбище возле церкви.

Законных детей у Джона не было, так что всю собственность унаследовал ближайший родственник — брат, который жил в Лондоне и работал столяром-краснодеревщиком. Брату было направлено соответствующее письмо, где сообщалось о печальном происшествии и высказывалась просьба приехать, дабы вступить во владение собственностью; а охранять дом до его приезда были назначены двое мужчин.

Эти двое, которых отрядили в качестве охранников — или, как их официально именовали, «хранителей», — были старыми друзьями и сослуживцами покойного. Они знались с ним еще со времен службы в артиллерийском полку. Джек О'Малли был католиком. Широкоплечий, плотно сбитый, статный мужчина мог для каждого найти доброе слово. Из него ключом били веселье, жизнерадостность и беззаботность, которыми так славятся ирландские католики-простолюдины. Ему к тому времени исполнилось сорок пять лет, он был ярым приверженцем своей религии и всегда отличался революционными и антибританскими идеями. Он был храбрее льва и не праздновал труса ни перед одной живой душой; однако хотя *живых* людей он совершенно не боялся, но ужасно робел перед людьми *мертвыми* и мог сделать крюк в десять миль, лишь бы не наткнуться на «холмы» или «зачарованный куст»[72].

Гарри Тейлор, напротив, был убежденным протестантом. Он отличался высоким ростом, одевался элегантно, манеры у него были горделивыми и властными, а вел он себя сдержанно

[72] Примечания: 72

В ирландском фольклоре «зачарованный куст» — это куст, в котором водятся фэйри, «народец холмов».

и высокомерно — естественные последствия убежденности, характерной для современных протестантов-простолюдинов, в их господстве как политическом, так и религиозном, а также в превосходстве протестантского образования и образа мыслей над прочими. Гарри, как и Джек, был не дурак выпить, но характером обладал куда более мирным, однако поскольку он получил хорошее образование и слыл человеком эрудированным, то решительно выступал против суеверий и с презрением относился к самой идее о существовании призраков, гоблинов и фэйри. Таким образом, Джек и Гарри во всем, кроме любви к выпивке, были прямо противоположны, однако не пропускали ни единой возможности побыть вместе, и хотя в ходе политических и религиозных дебатов они нередко расквашивали друг другу носы, но всегда потом шли на мировую и друг без друга жизни себе не мыслили.

Шла шестая или седьмая ночь их одинокого дежурства, и ее Джек и Гарри, как обычно, проводили на кухне убитого. Ярко горел в очаге большой кусок торфяника, а возле огня на просторной соломенной постели мертвым сном спала старая Мойя. Друзья сидели друг напротив друга за маленьким дубовым столом, находив-

шимся у очага, а на столе стояли большой графин с виски, кувшин вскипяченной воды и сахарница; а также, дабы показать, что друзья здесь не просто так отдыхают, а охраняют имущество, на одном конце стола вызывающе располагались внушительного вида мушкетон и перевязь с латунными пистолями. Джек и его приятель то и дело прикладывались к бутылке, смеялись, болтали и с таким энтузиазмом вспоминали проделки молодости, словно стены дома, в котором они нынче веселились, никогда не видали ни крови, ни рыданий по покойнику. По ходу дела Джек упомянул странное явление баньши и выразил надежду, что этой ночью она не явится и не помешает пирушке.

— Черт подери! — вскричал Гарри. — Баньши! Какой же вы, паписты, суеверный народ! Хотел бы я взглянуть в харю тому, кто осмелится заявиться сюда ночью, и не важно, жив он или мертв!

Схватив мушкетон и насмешливо поглядев на Джека, он завопил:

— Клянусь Геркулесом, содержимое этой штуки вышибет дух из любого, кто посмеет беспокоить нас!

— Так-то оно так, да только лучше тебе собственную мать зарезать, чем выстрелить в

баньши, — заметил Джек.

— Ха! — фыркнул Гарри, пренебрежительно взглянув на товарища. — Старые ведьмы и их укрытия интересуют меня куда меньше, чем мысли о том, чтоб опрокинуть стаканчик! — И, подтверждая слова делом, он осушил еще один наполненный до краев стакан виски, а затем попросил: — Джек, раз уж мы сейчас в таком добром расположении духа, может, споешь?

— Да я всем сердцем за, — сказал Джек. — А о чем спеть?

— О чем хочешь, мне все будет в радость, — отвечал Гарри.

Откашлявшись и выбив трубку, Джек сильным и мелодичным голосом затянул грубые куплеты, носившие название «Королевская пташка». Хотя в них не было ни малейшей внутренней ценности, но они все же были враждебны по отношению к Британии и британскому правительству и прославляли королевский дом Стюартов, а потому пользовались популярностью среди ирландского простонародья, исповедовавшего католицизм; среди протестантов же она, напротив, считалась оскорбительной и предательской. Гарри, однако, слишком любил своего товарища, чтобы возражать против песни, а потому терпеливо

дожидался ее окончания, и как только последний куплет отзвучал, сказал:

— Браво, Джек! Ты нигде ни разу не сфальшивил!

— Во имя короля, теперь я вправе желать, чтоб ты спел мне другую песню, — отвечал Джек.

Гарри без малейших колебаний признал право друга требовать ответной любезности и тут же завел глубоким, звучным и приятным голосом такие куплеты:

Меня послушайте, друзья,
Про реку Бойн[73] *спою вам я,*
Про битву славную спою —
Вы песню слушайте мою!
Восславим берега реки,
Где вражьи полегли полки!

Да, на тех славных берегах
Отцы врагов повергли в прах,

---

[73] Примечания: 73

Битва на реке Бойн, произошедшая 1 (11 по новому стилю) июля 1690 г., — крупнейшее сражение в истории завоевания Ирландии английскими войсками. Протестантские войска англичан одержали победу, вследствие которой король Яков II был деморализован и покинул своих союзников — католиков-ирландцев. Можно сказать, это был переломный момент войны, приведший впоследствии к окончательной потере Ирландией независимости и победе Вильгельма III Оранского.

Победа трудно им далась —
Из ран их кровь в песок лилась,
Но рабство, цепи и беда
Теперь с врагами навсегда!

Король Вильгельм велел стрелять
В фанатиков кровавых рать,
И суеверья их рассечь
Сумела добрая картечь,
А дьявол им не смог помочь —
И монстры побежали прочь.

Так будем пить во славу тех,
Кто даровал нам тот успех!
Еще за Джорджа-короля,
И чтоб при нем цвела земля.
И так как он король теперь —
Папистов выставим за дверь!

На лице Джека с самого начала песни отображалось глубокое отвращение к ее словам, однако, когда он услыхал поношение своего дражайшего «папизма», то чаша его терпения переполнилась. Он схватил один из лежавших на столе пистолей и приставил его к голове товарища, с пеной у

рта клянясь, что раздробит тому череп, если тот «немедля не прекратит этот мерзкий оранжистский пасквиль».

— Полегче, парень, — промолвил Гарри, аккуратно оттолкнув поднятое оружие. — Я пару минут назад тебе ни единым словечком не возразил. Кроме того, последние строфы тебе скорей придутся по нраву, нежели разозлят.

Джек, похоже, успокоился, и Гарри вновь затянул:

Стакан наполним до краев
И пьем, не тратя лишних слов,
За тех, кто встать всегда готов
За вольность наших островов.
Коль спас Британию от бед —
Достойней человека нет!

Будь он язычник иль папист,
Иль иудей, иль индуист,
Белее снега, чернокож,
Желтей желтка — скажу: ну что ж,
Не значит это ничего,
Давайте выпьем за него!

Джеку настолько понравилась дружеская нота,

на которой закончилась песня Гарри, что он с радостью опустил руку с пистолем и даже начал подпевать заключительному куплету.

Огонь в очаге догорал, бутыль виски почти опустела, и два стража, вконец осоловев, потушили свечу и задремали, свесив головы. Утихли песни, смех и остроты, и тишину нарушало лишь мерное тиканье часов во внутренней комнате да глубокое тяжелое дыхание старой Мойи, спящей в углу у очага.

Неизвестно, сколько времени они проспали, но старая карга проснулась с диким воплем. Она выпрыгнула из кровати и сжалась в комок между двумя хранителями. Те вскочили и спросили, что стряслось.

— Ой! — вскричала старуха. — Баньши, баньши! Господи, смилуйся над нами! Она вновь вернулась, и я раньше никогда не слышала, чтоб она так бесилась и неистовствовала!

Джек О'Малли с готовностью поверил в рассказ старой Мойи. Гарри тоже, но он счел, что это может быть грабитель, вторгшийся в дом. Они чутко вслушивались, но ничего не услышали; тогда они открыли дверь кухни, но все было тихо; они выглянули наружу — стояла ясная тихая ночь, и в темно-синих небесах мерцало бесчисленное

множество звезд. Друзья осмотрели двор и сеновал, но всюду было тихо и безлюдно. Ни один подозрительный звук не достиг их ушей — лишь где-то у соседей брехала шавка, да издалека доносилось ленивое журчание мелкой извилистой речки. Удостоверившись, что все в порядке, они вновь возвратились домой, подбросили дров в угасающий огонь и присели, дабы прикончить виски, что еще оставалось в бутыли.

Не прошло и пары минут, как снаружи раздался дикий потусторонний вой.

— Опять баньши, — едва слышно произнесла Мойя.

У Джека О'Малли сердце ушло в пятки, а Гарри вскочил и дернул на себя мушкетон. Джек перехватил оружие:

— Нет, нет, Гарри, не надо! С нами ничего не случится, нечего бояться.

Гарри сел на место, но все еще крепко сжимал мушкетон в руках. Джек закурил трубку, а старая женщина била себя в грудь и страстно молилась, стоя на коленях.

Вновь раздались жалобные стенания, причем еще громче и неистовей, нежели раньше. То казалось, что они слышны из окна, то они доносились от двери. Временами они удалялись,

а потом приближались вновь, да так, что чудилось, будто завывания несутся из дымохода или даже с пола под ногами. То они походили на низкий жалобный плач женщины, попавшей в беду, а через миг повышались до долгого пронзительного визга, громкого и яростного, казалось, исходящего из тысяч глоток; тихое и печальное песнопение могло в одну минуту смениться демоническим смехом, громким и прерывистым. Все это, с небольшими перерывами, продолжалось около четверти часа, а затем сгинуло, сменившись звучным скрипением, какой мог бы издавать большой фургон. Среди этого шума также слышался громкий цокот лошадиных копыт, которому вторили сильные порывы ветра. Странный экипаж обогнул дом дважды или трижды, а затем свернул в узкую улочку, ведущую к дороге, и более его уж не было слышно. Джек О'Малли застыл в ужасе, и даже Гарри Тейлор — заядлый скептик с уравновешенным взглядом на жизнь — был потрясен и напуган.

— А ночка-то выдалась жутенькой, Мойя, — наконец сказал Джек.

— Да уж, — откликнулась та. — Это мертвая повозка. Я ее частенько раньше слыхала, да и видала пару раз.

— Видала, говоришь? — произнес Гарри. — Нука, опиши ее, прошу тебя.

— Отчего ж нет, — отвечала старая ведьма. — Она похожа на любую другую повозку, только вдвое больше, сверху обтянута черным сукном, на крыше закреплен черный гроб, а везут ее безголовые черные лошади.

— Да защитят нас небеса! — воскликнул Джек.

— Все это очень странно, — отметил Гарри, а Мойя продолжила:

— Только вот она всегда появляется перед тем, как кто-нибудь умрет, так что я понять не могу, чего ее сюда нынче занесло. Разве что вместе с баньши приехала.

— Может, она прибыла за тобой? — промолвил Гарри с кривоватой, но все же мягкой улыбкой.

— Нет, нет! — отвечала старуха. — Я не из этой семьи, совсем не из нее!

Несколько минут царила мрачная тишина, и люди подумали было, что все позади, как внезапно в их ушах снова зазвенел чудовищный плач.

— Открой дверь, Джек, — велел Гарри, — и выпусти Гектора.

Гектор был мастифом, принадлежавшим Джеку О'Малли, собакой огромной и крайне свирепой. Куда бы Джек ни пошел, Гектор следовал за ним.

Джек открыл дверь и попробовал было выпустить собаку, но бедное животное отказывалось выходить, хотя хозяин и пытался заставить его, громко и жалобно упрашивая.

— Тебе придется выйти, — рявкнул Гарри, поймал мастифа и вышвырнул его за створку двери[74]. Стоило бедному псу коснуться лапами земли, как неведомая сила взметнула его обратно в воздух и он упал на землю уже бездыханным, а его кровь и потроха разметало по почве.

Увидев это, Гарри совсем потерял рассудок. Он вновь ухватился за мушкетон и воскликнул:

— Джек, приятель, идем! Хватай свои пистоли и следуй за мной. Мне нечего терять, кроме собственной шкуры, и я поставлю ее на кон, чтоб попытаться свернуть шею этому адскому отродью!

— Я последую за тобой хоть к адским вратам, — отвечал Джек, — но даже за все блага мира не стану стрелять в баньши.

Мойя ухватила Гарри за полу куртки.

— Не выходите! — вскричала она. — Не троньте

---

[74] Примечания: 74

Тут, как и во многих других случаях, очевидна авторская ирония: собаку, которую можно поймать за шкирку и выбросить за дверь, причем так, что ее лапы не сразу коснулись земли, явно нельзя назвать «огромной и крайне свирепой».

ее, пока она не трогает вас. Век не видать удачи тому, кто осмелится досаждать баньши.

— Поди прочь, женщина! — рявкнул Гарри, с презрением отталкивая беднягу Мойю.

Итак, парочка друзей выскочила из дома. Жуткий плач все стоял в воздухе. За домом на сеновале стояли скирды сена; казалось, звуки идут оттуда. Мужчины обошли дом и остановились. Плач раздался вновь, и Гарри поднял мушкетон.

— Не стреляй, — сказал ему Джек.

Гарри не ответил, лишь насмешливо покосился на Джека, а затем положил палец на спусковой крючок, и из дула с громовым раскатом вырвался шквал картечи. Потусторонний вой усилился в десять раз, став куда страшней, чем тот, что они слышали ранее.

Волосы на головах друзей встали дыбом, по лицам потекли струи холодного пота. Вокруг скирд засиял ослепительный красновато-синий свет, издалека вновь послышалось громыхание быстро приближающейся мертвой повозки. Она подъехала к дому, влекомая шестью безголовыми вороными лошадьми, и друзья увидели, как к ней с сеновала быстро бежит иссохшая старая карга, окутанная синим пламенем. Баньши запрыгнула в зловещую карету, и та с устрашающим

звуком сдвинулась с места. Она проломилась сквозь высокие заросли кустов, окружавших дом. Перед тем как исчезнуть, старая карга бросила на двух мужчин пронзительный злой взгляд и мстительно замахнулась на них бесплотными руками. Вскорости повозка скрылась из виду, но потустороннее скрипение колес, топот лошадей и жуткие вопли баньши продолжали звучать в ушах приятелей еще какое-то время после того, как все закончилось.

Смельчаки вернулись в дом, вновь заперли дверь и перезарядили оружие. Однако более никто и ничто не беспокоило их ни в ту ночь, ни в последующие. Через несколько дней из Лондона прибыл брат покойного, освободив их от нудного задания.

Старая Мойя не зажилась после этого на свете: та знаменательная ночь подорвала ее силы, и ее останки со всем почтением захоронили на церковном кладбище, рядом с последним земным пристанищем той самой дорогой ее сердцу семьи, которой она так долго и преданно служила.

Оскорбленная баньши с тех пор ни разу не возвращалась, и хотя уже несколько членов этой семьи закончили с тех пор свой земной путь, но ее предупреждающий плач ни разу еще не зву-

чал. Похоже, обиженный дух не посетит древние пенаты до тех пор, пока каждый из нынешнего поколения не «упокоится вместе с праотцами».

Джек О'Малли и его приятель Гарри прожили еще несколько лет. Их дружба оставалась столь же крепкой; подобно Тэму О'Шантеру и сапожнику Джонни[75], они продолжали любить друг друга «подобно братьям», и точно так же, как та жизнерадостная парочка, наши приятели, выпив лишку, «не раз под стол валились оба». Частенько, опрокинув бутылку-другую, они смеялись над своим мистическим приключением с баньши. Однако сейчас, увы, их тоже нет: их земной путь окончен, и они ныне «обитатели могил».

Перевод Валерии Малаховой

[75] Примечания: 75

Персонажи юмористическо-мистической поэмы Роберта Бернса «Тэм О'Шантер», повествующей о выпивохе, внезапно очутившемся посреди шабаша.

VI. Принять на веру

Эдит Уортон. Отшельник и Дикарка

Эдит Уортон (1862–1937) в 1921 году стала первой женщиной среди лауреатов Пулитцеровской премии, а за несколько лет до того — не первой, но одной из очень немногих в то время женщин, награжденных орденом Почетного легиона: так правительство Франции отметило ее заслуги во время Первой мировой войны. Современники понимали ее бурную натуру, кажется, лучше, чем потомки: сейчас многим трудно представить, как в одной личности могут соединяться свободомыслие и консерватизм.

Основную славу писательнице принес роман «Эпоха невинности», до сих пор постоянно переиздаваемый, но вообще-то в «активном фонде» англоязычных читателей около дюжины ее романов, часть из них экранизирована. А вот большинство рассказов забыты — что абсолютно несправедливо!

Американка по рождению, Эдит Уортон большую часть своей жизни провела во

Франции. Поэтому место действия в ее основных произведениях — Европа, современная (для нее) или средневековая.

I

Отшельник жил в пещере на склоне холма. Ниже раскинулась долина, где среди ольховых и дубовых рощ тек ручей, а если пересечь эту долину — что заняло бы примерно полдня пути, — можно было достигнуть другого холма, крутого и высокого, у подножия которого расположился обнесенный стенами городок: гибеллинские «ласточкины хвосты»[76] глядели в небеса.

Когда Отшельник был еще совсем юн и жил в городе, зубцы на стенах были прямоугольными и на главной башне развевался штандарт лорда-гвельфа. Но однажды закованные в железо воины пересекли долину, взобрались на холм

---

[76] Примечания: 76

Гибеллины — одна из враждующих партий в Италии в XII–XIV веках. В противостоянии папы римского и императора гибеллины выступали за императора, а их противники гвельфы — за усиление влияния папы на светскую жизнь. Принадлежность к той или иной партии могла выражаться во множестве деталей, вплоть до покроя одежды или манеры резать хлеб (пресловутые тупоконечники и остроконечники тоже могли бы быть гибеллинами и гвельфами). Были различия и в форме крепостных стен: у гвельфов они увенчивались прямоугольными зубцами, у гибеллинов — «ласточкиными хвостами».

и атаковали город. С крепостного вала летели камни и лился греческий огонь, на улицах щиты ударялись о щиты, в узких проходах и на лестницах звенели клинки, с пик и копий капала кровь на груды тел, и весь город, до того такой уютный, превратился в огромное кладбище. Юноша бежал оттуда в ужасе. Он уже видел, как его отец ушел и не вернулся, видел, как упала замертво его мать, которую застрелили из аркебузы, когда она слишком далеко высунулась из-за зубца на башне, и как его сестренка упала прямо в церкви, на ступенях, ведущих к алтарю, с перерезанным горлом. И он бежал, чтобы спасти свою жизнь, по скользким от крови улицам, мимо еще не остывших тел, многие из которых еще конвульсивно подергивались, проскальзывая между ног у пьяных солдат, бежал прочь от ворот, мимо пылающих ферм, потоптанных полей, садов, разоренных и вырубленных, бежал, пока не очутился в тихом лесу и не упал, уткнувшись лицом в землю, которую никто никогда не возделывал и которую не искалечила война.

Возвращаться у него не было никакого желания. Все, чего он хотел, — это прожить всю жизнь уединенно, вдали от людей. Отыскал в скале нору, соорудил перед ней некое подобие крыльца,

скрепив лапник тонкими прутьями. Питался он орехами, кореньями и форелью, которую ловил руками в ручье.

Отшельник с детства был тихим мальчиком, любил сидеть у ног матери и смотреть, как распускаются цветы на ее вышивке, в то время как капеллан читал жития отцов-пустынников — большой том с серебряной застежкой. Ему бы лучше было вырасти писарем, нежели рыцарским сыном: более всего он был счастлив, когда ранним утром прислуживал капеллану во время мессы, и сердце его взмывало все выше и выше, будто жаворонок, покуда вовсе не растворялось в горних высях блаженства. Почти так же хорошо ему было, когда он смотрел, как работает заезжий художник, приехавший из-за гор, чтобы разрисовать стены часовни. Мальчик видел, как кисть художника заставляет божественно прекрасные лица оживать на стене, как будто сеет волшебные семена, прорастающие дивными цветами, когда на них глядят. После того как появлялось новое лицо с золотым нимбом, у мальчика возникало такое чувство, будто он обрел нового друга, который придет ночью, склонится над его постелью и отгонит мерзкие видения, преследующие его: монстров, обгладывающих кости у паперти, ле-

тучих мышей и драконов с искаженными злобой мордами, гигантских червей и крылатых кабанов, поросших густой колючей щетиной, — всю ту дьявольскую стаю, что ночами выбиралась из каменных барельефов, разбредалась по городу и набрасывалась на согрешивших детей. Роспись на церковных стенах росла, и ангелы, закованные в сияющую броню, обступили постель мальчика так тесно, что между их крыльев не прорвался бы ни один клык, ни одно рыло, а подушка была такой мягкой и ласковой, как будто ее усеял пух из этих крыльев.

Теперь, в пещере, выдолбленной в камне, эти мысли вновь овладели им. Казалось, тишина обняла его своими крыльями, укрывая от мира и наполняющего его зла. Он никогда не испытывал беспокойства или раздражения. Напротив, он любил свои долгие, ничем не заполненные дни, один похожий на другой, как жемчужины в хорошо подобранных бусах. Более всего ему нравилось, что теперь у него достаточно времени, чтобы заниматься спасением своей души. За свою душу он беспокоился с тех пор, как через

город прошла толпа флагеллантов[77], выставляя напоказ свои изнуренные, исполосованные тела. Они призывали людей оставить удобные одежды и изысканную пищу, радости брака, заботы о приумножении богатств, танцы и развлечения, а думать лишь о том, как избегнуть когтей дьявола и огромной огненной бездны преисподней. Много дней видение огненной бездны не покидало мальчика, маячило на краю сознания, подобно видению горящего города на краю большой равнины. Оказывается, его окружало множество ловушек, которых следовало избегать; так много вещей, на вид безобидных, оказались порочны. Разве мог разобраться в этом маленький мальчик? Он не смел думать ни о чем другом. И бойня, от которой он бежал, воплотила то кровавое видение, придала ему форму и наполнение. Ад — вот такой, только в миллион миллионов раз хуже. Теперь он знал, как выглядит плоть, когда дьявольские клещи разрывают ее на части, как звучат крики грешников, как пахнут тела, поджариваемые на огне. Разве мог христианин после

[77] Примечания: 77

Флагелланты верили, что спасение возможно, только если максимально изнурять плоть, поэтому они постоянно занимались самобичеванием — флагелляцией. В рубище, питаясь весьма скудно, они ходили по миру и проповедовали свои убеждения.

этого хоть на миг отвлечься от бесконечного сражения за то, чтобы оказаться в безопасности, когда на землю обрушится великий гнев Господень?

Постепенно ужас прошел, уступив место спокойной радости от постоянного следования праведному пути. Здесь ему не приходилось видеть зло, и в благословенном одиночестве своей новой жизни он все больше сосредотачивался на красоте святости. Он стремился быть хорошим человеком, жить в любви и сострадании к ближним, но как это сделать иначе, чем бежать от них подальше?

На первых порах ему жилось тяжело, потому что зимой было трудно найти пропитание, к тому же случались ночи, когда небо напоминало железный свод, а яростный ветер пригибал дубы в долине, и сердце Отшельника наполнял страх, худший, чем любой холод. Но со временем горожане и окрестные крестьяне прознали, что он ушел от людей и посвятил себя Богу, и тогда главные трудности отступили, потому что набожные люди стали приносить ему в дар масло и сухофрукты, а одна добрая женщина отдала семена из своего сада, другая же сделала ему

домотканый гаун[78]. Ему приносили бы какую угодно еду и одежду, если бы он не отказывался принимать все, кроме самого необходимого. Та добрая женщина, что дала ему семена, научила его, как разбить сад на южном склоне холма, и в первый год Отшельник все лето таскал туда землю от ручья, а во второй — носил к своему саду воду, чтобы тот зазеленел. После этого страх одиночества вовсе оставил его, ведь он был так занят весь день, что ночью ему приходилось тратить немало сил, дабы отогнать демона сна, которого святой аббат Арсений[79] назвал главным врагом отшельника. В его памяти хранилось, помимо длинных отрывков из литургии и других служб, множество молитв и литаний[80], и он отмечал время, читая их. По воскресеньям и праздникам ветер доносил до него звон колоколов из его род-

---

[78] Примечания: 78

Гаун — верхняя одежда XV–XVI веков. Мужской гаун представлял собой плащ на меховой подкладке, с меховым воротником и откидными до локтя рукавами.

[79] Примечания: 79

Арсений Великий (354–449) много лет вел отшельнический образ жизни.

[80] Примечания: 80

Литания — молитва, состоящая из множества коротких воззваний, повторяющихся в определенном порядке. Например, часть литании может выглядеть так: «Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, внемли нам. Христе, услышь нас».

ного города, и это помогало ему присоединиться к молитвам праведников, а также следить за течением литургического года. И так, таская в гору воду из ручья, копая землю в саду, собирая хворост для костра, молясь и непрестанно думая о спасении своей души, Отшельник не знал ни минуты праздности.

Сперва во время своих ночных бдений он испытывал страх перед звездами: ему казалось, что они злобно наблюдают за ним, выведывая немощность его сердца и измеряя его ничтожность. Но однажды странствующий монах, которому он дал приют на ночь, объяснил ему, что, по мнению наиболее видных докторов теологии, на звездах обитают души блаженных, и это известие принесло Отшельнику огромное утешение. Даже зимними ночами, когда орлиные крылья хлопали над горами, а в долине протяжно выли вспоминавшие об овчарне волки, он не испытывал более страха и думал лишь, что эти звуки долетают до него из наполненной злом мирской жизни, и, обхватив себя руками и согреваясь в собственных объятиях, чувствовал себя защищенным в уединении пещеры. Иногда, чтобы не уснуть, он сочинял псалмы, восхваляющие Христа и святых, и эти псалмы так нравились ему,

что он боялся их забыть, так что после долгих споров с самим собой решил попросить знакомого священника из долины, изредка его навещавшего, записать их. Священник записал его псалмы на красивой овечьей шкуре, которую Отшельник выдубил и приготовил собственными руками. Увидев их записанными, Отшельник полюбил их еще больше, так, что испугался впасть в грех гордыни, если будет слишком часто на них смотреть, поэтому спрятал их между двумя гладкими камнями в своей пещере и дал обет доставать лишь раз в году, на Пасху, когда Господь воскрес и все христиане должны радоваться. И свой обет он ревностно блюл, но вышло так, что вскоре он стал ждать этого светлого праздника не столько из-за Воскресения Господня, сколько из-за того, что можно будет развернуть овечью шкуру. Тогда он дал другой обет: что не взглянет на свои псалмы, покуда не окажется на смертном одре.

И так много лет Отшельник жил во славу Господа в миру с собой и смирении.

II

Однажды он решил отправиться в гости к Святому-со-Скалы, живущему по другую сторону

горного хребта. Путешественники рассказали Отшельнику об этом человеке, живущем святой аскетичной жизнью в пустыне среди холмов, где всю зиму лежит снег, а летом нещадно палит солнце. Святой сей дал обет укрыться от мира в месте, где нет ни тени, ни воды, дабы избежать искушения жить, наслаждаясь уединением и не думая ежеминутно о Создателе; но куда бы он ни шел, везде или росло раскидистое дерево, или звонко журчал ручей, так что наконец он забрался в горы, туда, где ничего не растет, а вода появляется лишь весной, когда тает снег. Там он отыскал скалу, вздымавшуюся над плато, и голыми руками выдолбил в ней углубление — на это у него ушло пять лет, и он стесал пальцы до костей. Затем он уселся в этом углублении, глядевшем на запад, чтобы зимой солнце давало ему мало тепла, зато жарило летом, и сидел там, не сдвигаясь с места, вот уже много лет.

Отшельника потрясли рассказы о таком аскете, с которым он, в смирении своем, и не мечтал соревноваться, однако ради спасения своей души хотел поразмыслить о сем подвиге и восславить его. Так что однажды он обул сандалии, вырезал посох из ольховой ветки и отправился к Святому-со-Скалы.

Стояла дивная весенняя пора, когда прорастают семена, а на деревьях набухают почки. Отшельник беспокоился о том, что его растения засохнут без поливки, но зимой он не мог путешествовать из-за снега, а летом его сад еще больше пострадал бы без него. Поэтому он отправился сейчас, молясь, чтобы в его отсутствие пошел дождь, и надеясь вернуться через пять дней. Крестьяне, работавшие на полях, оставляли работу и подходили к нему за благословением, и очень многие готовы были даже идти за ним, но он сказал, что совершает паломничество к Святому-со-Скалы, и лучше ему идти одному, как затворник к затворнику. Крестьяне отнеслись к его желанию с уважением, и он пошел дальше и достиг леса. Через лес он шел два дня и спал там две ночи. Он слышал вой волков, слышал, как лисы шныряют в чаще, а однажды в сумерках лохматый человек с коричневым лицом уставился на него сквозь листву и унесся прочь, негромко стуча копытами. Но Отшельник не боялся ни зверей, ни злодеев, ни даже фавнов и сатиров, которые еще остались в неосвященной лесной глуши, где никогда не воздвигали креста. Он говорил: «Если я умру, смерть моя будет во славу Господа, а если останусь жить, то рано или поздно меня ждет

тот же конец». Лишь одна мысль заставляла его страдать: что он может умереть, не увидев снова свои псалмы. Но на третий день он благополучно добрался до другой долины.

Затем он начал подниматься в гору, сперва шагая через березовые и дубовые рощи, затем — через сосновый бор и заросли ракитника, и наконец карабкаясь по уступам из красного камня, где лишь изредка встречался мастиковый кустарник да покрывал камни мох. Он уже думал, что достиг цели, но еще два дня перед ним была вся та же картина, а над головой нависало небо, и где-то далеко внизу зеленела долина. Бывало, часами он видел перед собой лишь посверкивающий косогор, изредка поросший чахлыми кустиками, и тяжелые синие небеса нависали так низко, что казалось, их можно коснуться рукой. Затем тропа вильнула и скалы расступились, открывая длинное ущелье, поросшее соснами, а за ним — лес, волнами спускающийся в низину, где виднелись города, а вдали, в многих днях пути, — еще одна горная гряда. Для чьих-нибудь глаз это было бы ужасное зрелище, напоминающее путнику, как далеко он ушел от себе подобных, сколько опасностей подстерегает его в пустынных местах и как беззащитен перед ними человек. Но Отшель-

ник так сроднился с уединением и испытывал такую любовь ко всем созданиям Божьим, что ему и голые скалы пели о своем Создателе, а раскинувшиеся просторы свидетельствовали о Его величии. Так что слуга Его продолжил свой путь не убоявшись.

Но однажды утром, преодолев множество крутых уступов, на очередном изгибе тропы он внезапно остановился и замер, потому что внизу не увидел равнины, где бы сверкали огнями города, а лишь серебряная гладь колыхалась до самого края мира. Отшельник понял, что это море, и страх охватил его: жутко было смотреть, как колышется пространство до самого горизонта, и чем больше он глядел, тем больше ему казалось, что и земля под его ногами качается. Но он тут же вспомнил, как Христос ходил по воде, и даже Мария Египетская, бывшая раньше великой грешницей, пересекла реку Иордан, не замочив ног, когда шла к святому Зосиме за причастием; и сердце Отшельника успокоилось, и, спускаясь с горы, он запел: «Море восславит тебя, Господи».

Весь день море то виднелось вдали, то исчезало из виду, но к ночи он добрался до расселины и улегся спать в сосновом бору. Его путешествие длилось уже шесть дней, и он все чаще с тревогой

думал о своем саде, но потом сказал себе: «Что с того, если сад мой увянет, если я увижу святого человека и вместе с ним восславлю Господа?» И более он не унывал из-за этого.

Встал он еще до рассвета и в свете звезд вышел из леса, давшего ему ночлег. Теперь ему предстояло карабкаться по склону высокого утеса, хватаясь голыми руками за уступы в скале, и чем выше он забирался, тем дальше выдвигалась скала, нависая над ним и словно бы пытаясь его столкнуть. Он стер ноги и рассек руки до крови, но к тому времени, как солнце уже опускалось в море, добрался до маленького плато и в красном закатном свете увидел скалу с выдолбленной в ней дырой, где сидел святой.

Отшельник упал на колени, вознося хвалу Господу, затем поднялся и побежал к скале. Добравшись до нее, он смог рассмотреть, что святой уже очень стар, у него длинная седая борода и облачен он в козью шкуру. Старик сидел без движения, сложив руки на коленях, и его покрасневшие глаза были обращены в сторону заходящего солнца. Возле него стоял мальчик, одетый в шкуры, и отгонял от его лица мух, но те постоянно возвращались и садились на его щеки, мокрые от слез.

Казалось, он не видел и не слышал, как подошел Отшельник, а лишь сидел недвижимо, покуда мальчик не сказал:

— Отче, здесь паломник.

Тогда он заговорил и сердито спросил, кто явился сюда и чего ищет.

Отшельник ответил:

— Отче, слава о твоей святости дошла до меня, хоть я и живу далеко отсюда, и я, сам живущий в пустыни, хоть и недостойный сравнения с тобою, подумал, что мне стоит пересечь горы и встретиться с тобой, чтобы мы могли сесть вместе и побеседовать, вознося хвалу уединенной жизни.

Святой отвечал:

— Глупец, как могут двое сидеть вместе и возносить хвалу уединению, если, делая так, они разрушают то, что собрались восхвалять?

Отшельник был невероятно пристыжен этими словами. Он всю дорогу думал, что скажет святому, и повторял придуманное много раз, но теперь собственные слова казались ему такими же бессмысленными, как треск хвороста, сгорающего под котлом.

И все же он собрался с духом и продолжил:

— Истинно так, отче; но разве не могут двое грешников, сидя рядом, вознести хвалу Христу,

давшему им вкусить блаженство одиночества?

Однако в ответ прозвучало лишь:

— Если ты воистину вкусил блаженство одиночества, то не станешь растрачивать его на праздные скитания. — Отшельник не знал, что ответить, и святой продолжил: — Если два грешника встретятся, лучше всего они могут восславить Господа, пойдя каждый своей дорогой и не разомкнув уста.

Сказав это, он умолк и продолжал сидеть недвижимо, пока мальчик отгонял мух, норовивших сесть ему на глаза. Отшельник упал духом и сейчас впервые ощутил все тяготы пути, который преодолел, и то немалое расстояние, которое отделяло его от дома.

Он хотел посоветоваться со святым о своих псалмах и о том, не лучше ли вовсе уничтожить их, но теперь у него не хватало мужества заговорить снова, так что он просто повернул назад и стал спускаться с горы. Почти сразу он услышал, что за ним следом кто-то бежит, и мальчик, приблизившись, сунул ему в руку соты, полные меда.

— Вы прошли долгий путь и, должно быть, голодны, — сказал он и, прежде чем Отшельник успел поблагодарить его, поспешил назад.

Отшельник спустился и добрался до леса, где ночевал накануне. Здесь он снова устроился на ночлег, но перед сном перекусил. Сердце его изголодалось больше, чем желудок, и мед стал горше от пролитых на него слез.

III

На четырнадцатый день он достиг долины, над которой возвышалась его скала, и увидел на фоне неба стены родного города. Он сбил ноги, на сердце у него было тяжело, оттого что паломничество принесло ему лишь усталость и поругание, к тому же за это время не выпало ни капли дождя, так что он ожидал увидеть свой сад погибшим. Из последних сил он вскарабкался по косогору и добрался до пещеры как раз к тому времени, как городские колокола возвестили время «Ангелюса»[81].

Однако его ожидало великое чудо. Те крохи земли, которые были на склоне холма, высохли и растрескались, но почва в саду оказалась напоена влагой, а растения выросли так, как никогда

---

[81] Примечания: 81

«Ангелюс» — молитва, обращенная к Деве Марии. Читается трижды в день — утром, днем и вечером, о чем возвещает колокольный звон, также называемый Ангелюс.

раньше, и свежая листва на них лоснилась. Еще удивительней было то, что за его дверь ухватились усики тыквы, а опустившись на колени, он увидел, что земля между овощными грядками разрыхлена, на каждом листке блестят капли воды, как будто только что прошел дождь. Отшельник подумал, что зрит чудо, но, сомневаясь в своих достоинствах, отказался верить своим глазам, полагая себя недостойным такой милости, и пошел к дверям, собираясь поразмыслить, что же случилось. И обнаружил, что на его постели из камыша спит молодая женщина в чужеземных одеждах, со странными амулетами на шее.

Это зрелище привело Отшельника в ужас: он вспомнил, как часто демоны, искушая отцов-пустынников, им на погибель принимали обличье женщины. Однако вид этой женщины, загорелой до черноты и исхудавшей в своих странствиях, не доставлял ему никакой радости, и он подумал, что ничем не рискует, глядя на нее. Вначале он принял ее за кочевую цыганку, но, присмотревшись, увидел среди языческих талисманов на ее груди агнца Божия[82], и это так поразило его, что он наклонился к ней и разбудил.

---

[82] Примечания: 82

Агнец Божий — ладанка или образок с изображением агнца, который символизирует Христа.

Она вскочила в испуге, но, увидев одеяние и посох Отшельника и разглядев его лицо, склонившееся над ней, успокоилась и сказала, обращаясь к нему:

— Я каждый день поливала твой сад, чтобы отплатить за масло и бобы, которые съела.

— Кто ты и как попала сюда? — спросил Отшельник.

— Я Дикарка, — ответила она, — живу в лесу.

Но он настаивал, чтобы она объяснила, почему искала приюта в его пещере, и она рассказала, что в ее краях, на юге, хозяйничали солдаты и банды мародеров, заливая все кровью и пьянея от вседозволенности. Об этом Отшельник знал — слыхал на обратном пути. Дикарка же продолжала рассказывать о том, как пьяные вооруженные люди, ландскнехты с севера, в варварской одежде и говорящие на варварском языке, гнали ее по лесам, будто дикого зверя, и как она, измученная и оголодавшая, наткнулась на пещеру и укрылась в ней.

— Ведь я, — говорила она, — не боюсь ни диких зверей, ни лесного народа, не боюсь углежогов, цыган, странствующих менестрелей и торговцев; даже разбойники с большой дороги не трогают меня, потому что я бедна и черна лицом. Но эти

солдаты, опьяненные кровью и вином, страшнее волков и тигров.

Сердце Отшельника смягчилось: он вспомнил сестренку, лежащую на ступенях церкви с перерезанным горлом, кровь, заливающую улицы, и ненасытных грабителей, — все то, от чего сбежал. Поэтому он сказал, что остаться жить в его пещере она, конечно, не сможет, но он пошлет весточку в город в долине и будет молить набожную женщину, живущую там, дать ей кров и работу у себя в доме.

— Я вижу святой образ у тебя на шее, — сказал он, — который говорит мне, что ты не дикая язычница, а дитя Христа, хоть и заблудшее.

— Да, — ответила она, — я христианка и знаю столько же молитв, сколько и ты, но нога моя не ступит за городские стены, иначе меня поймают и отошлют обратно в монастырь.

— Как?! — вскричал Отшельник. — Ты беглая монашка?

Он осенил себя крестом и снова подумал о демоне.

Улыбнувшись, она отвечала:

— Я и правда была когда-то заточена в монастыре, но по своей воле не вернусь туда снова. Теперь, если хочешь, можешь прогнать меня, но

я не уйду далеко: я поранила ногу, карабкаясь на скалу с водой для твоего сада.

И она показала ему глубокую рану на ступне.

Невзирая на страх, Отшельник испытал жалость к ней, промыл и перевязал ее рану, и пока делал это, в голову ему пришла мысль, что, возможно, эта женщина была послана ему не для того, чтобы погубить его душу, а чтобы спасти ее собственную. И стремление помочь ей в спасении охватило его.

Но ей совсем не годилось оставаться в его пещере, поэтому, напоив ее и дав горсть чечевицы, он помог ей подняться, дал свой посох, чтобы она опиралась на него, и провел к небольшой пещере на этой же скале, недалеко от своей собственной. Пока они шли, зазвонили колокола к вечерней молитве, и он начал читать «Ангелюс». Она присоединилась, сложив руки и не пропуская ни слова, и в голосе ее звучало великое благочестие.

И все же мысль о том, что она может быть порочна, тяготила его, потому назавтра, принеся ей еды, он попросил ее рассказать, как вышло, что она столь тяжко согрешила. И вот что она поведала.

IV

Я родилась (говорила она) в северной стране, где зимы долги и холодны, порой в долинах выпадает снег, а в горах он не сходит месяцами. Замок моего отца расположен в зеленом лесу, где ветер всегда шелестит в кронах высоких деревьев и река несет свои холодные воды через ледяные заторы. К югу от нас лежит большая жаркая равнина, а над нами — каменистые ущелья, где гнездятся орлы и воют бури. Зимой мы согреваемся огнем, что гудит в больших каминах, и даже летом с ледников всегда веет прохладой. Но когда я была совсем еще ребенком, моя мать отправилась на юг, чтобы оказаться в свите императрицы, и взяла меня с собой. Наше путешествие продлилось много дней, мы пересекали горы и равнины, видели Рим, где в золотом дворце живет папа, и множество других городов и наконец прибыли ко двору императора. Года два или, может быть, дольше мы жили в веселье и роскоши, ведь двор оказался чудесен, там было множество мимов, фокусников, философов и поэтов; фрейлины императрицы, одетые в светлые шелковые наряды, проводили дни в увеселениях, слушая музыку и

музицируя, прогуливаясь в розариях и купаясь в огромном мраморном бассейне, покуда евнухи охраняли вход. О, отче, какой это был бассейн! Бывало, я лежала без сна всю жаркую южную ночь и мечтала о нем до тех пор, пока не гасли последние звезды и не занимался рассвет. Мы ведь тогда жили в очень жаркой стране, и я тосковала по высоким деревьям в зеленом лесу и по холодному ручью в долине моего отца; и, охладив свои члены в бассейне, я весь день лежала в скудной тени кипариса и мечтала о следующем купании.

Моя мать тоже тосковала по прохладе, а потом умерла. Императрица отдала меня в монастырь, и все забыли обо мне. Монастырь этот располагался на склоне голого желтого холма, где пчелы непрестанно жужжат в зарослях тимьяна. Внизу миллионами бликов сверкает море, а вверху раскинулся слепящий небесный свод, отражающий солнечный свет, словно гигантский стальной пояс. Монастырь был выстроен на месте дома для развлечений, который благочестивая государыня отдала нашему ордену, и часть дома осталась, а с ней — двор и сад. Монахини застроили весь сад, но оставили кипарисы, растущие по центру, и длинный мраморный бассейн, где когда-то купались принцесса и ее фрейлины. Но, как ты

понимаешь, бассейн больше не использовали в качестве купальни, потому что омывать свое тело — роскошь, запретная для дев-затворниц. Наша аббатиса, известная своим аскетизмом, похвалялась, что, подобно святой монахине Сильвии, никогда не касалась воды, кроме как для омовения кончиков пальцев перед принятием святых даров. Имея перед собой такой пример, монахини были вынуждены соблюдать это правило, и многие из тех, кто вырос в монастыре с детства, думали об умывании с ужасом и не испытывали никакого желания смыть с тел своих грязь; но я, ранее купавшаяся ежедневно, привыкла к ощущению свежести, приносимому чистой водой, и чахла от его недостатка, как растения в твоем саду чахнут от жажды.

Окна моей кельи выходили не в сад, а на утес, по которому вилась тропа для вьючных животных. Весь день солнце палило так, словно хлестало этот утес огненными бичами, и весь день я видела лишь обливающихся потом крестьян, тащившихся по тропе следом за своими изнывающими от жажды ослами, да ноющих нищих, расчесывающих свои язвы. О, как я ненавидела глядеть сквозь зарешеченное окно на этот пылающий мир! Обычно я в отвращении отворачивалась от

него и лежала на своей жесткой постели, часами разглядывая потолок кельи. Но там ползали сотни мух, и жужжание, которое они издавали, было еще хуже слепящего света. Иногда, когда за мной точно никто не следил, я срывала с себя одежды и занавешивала ими зарешеченное окно, чтобы не видеть сноп жаркого света на потолке и пыль, танцующую в нем, как жир танцует на сковороде. Но темнота душила меня, и я едва могла дышать, как будто лежала не в келье, а на дне глубокого каменного мешка. Тогда я поднималась, стаскивала одежду с окна, падала на колени перед распятием и молила Господа даровать мне святость, чтобы я могла избежать нескончаемых костров преисподней, представление о которых мне давала эта жуткая жара. Ведь если я не в силах перенести жару летнего дня, разве могло мне хватить силы духа хотя бы подумать о пламени, которое не перестает?

Стремление избежать адского пламени привело меня к мысли о том, что нужно жить праведно, и я подумала, что, если немного облегчить телесные страдания, я смогу с большим усердием предаваться бдениям и аскезе. И тогда я сказала настоятельнице, что спертый воздух кельи так давит на меня, что я постоянно сплю, и умолила

ее перевести меня в ту часть здания, где окна выходили в сад.

Несколько дней в моей душе жила радость, потому что вместо запыленной горной дороги и потных крестьян с их ослами перед моими глазами были темные кипарисы и овощные грядки, на которых едва появились первые всходы. Но вскорости оказалось, что облегчения это мне не принесло. Когда пришла середина лета, в саду, окруженном со всех сторон строениями, стало так же душно, как в моей келье. Вся зелень увяла и засохла, остались лишь борозды голой красной земли, на которую кипарисы отбрасывали так мало тени, что монахини, искавшие там облегчения от жары, не могли найти его. И я стала с сожалением вспоминать свою прошлую келью, где время от времени дул морской бриз, слабый и горячий, но он был, и к тому же там я могла смотреть на море. Но хуже всего было не это. Когда пришли самые жаркие дни, я обнаружила, что в определенный час солнце отбрасывало на потолок отражение ряби на поверхности бассейна, стоявшего в саду. Невозможно найти слова, чтобы рассказать, как я страдала, глядя на эти блики! Смертной мукой было смотреть, как свежая вода плещется над моей головой, но не ощущать ее

прикосновения. Я чувствовала себя бронзовым изваянием, лежащим на дне колодца. Но изваяние не испытывает страданий, если не может охладиться, а каждый дюйм моего тела трепетал, мучимый жаждой, и каждая жила моего тела молила о капле воды, как тот богач, у ворот которого умер нищий Лазарь[83]. Ах, отче, как описать тебе мои тяжкие муки? Порой я так боялась смотреть на эту ложную рябь над головой, что зарывалась лицом в раскаленную постель и лежала так, пока не уверялась, что положенное время прошло и рябь больше не видна; но в пасмурные дни, когда эти блики не появлялись вовсе, жару было еще сложнее переносить.

Днем я почти никогда не смела выйти в сад, потому что там гуляли монахини, и однажды, особенно жарким днем, они нашли меня склонившейся над бассейном и погнали прочь, крича, что я пытаюсь погубить себя. Скандал достиг ушей аббатисы, и она вызвала меня к себе и принялась расспрашивать, что за демон овладел мною; когда же я расплакалась и сказала, что мечтаю омыть свое раскаленное тело, она страшно

[83] Примечания: 83

Отсылка к притче, рассказанной в Евангелии от Луки (16:19–31), где богач после смерти испытывает адские мучения, а нищий утешается в раю.

разгневалась и вскричала: «Неужто ты не знаешь, что это грех столь же великий, как и прочие, и все величайшие святые осуждали его? Монахиня призвана прожить всю жизнь в самосозерцании и тоске о собственном несовершенстве, а это желание потакать своему жалкому телу — одна из плотских страстей наряду с любострастием и прелюбодеянием». И приказала мне в течение месяца спать в тяжелом одеянии, закрыв лицо покрывалом.

Отче, я думаю, именно это наказание привело меня к греху. Стояла самая жаркая пора, именуемая «собачьими днями», и моя плоть была не в силах это вынести. На третью ночь, когда привратница уже закончила вечерний обход и огни были погашены, я поднялась с постели, сорвала одежду и покрывало и упала на колени у окна, почти без сознания. Стояла безлунная ночь, небо было усыпано звездами. Сначала в саду я видела лишь тьму, но вглядевшись пристальней, заметила слабое мерцание между кипарисов и поняла, что это свет звезд отражается в бассейне. Вода! Вода! Она была так близко — нас разделяли лишь несколько засовов и решетка.

Привратница всегда спала крепко, а я знала, куда она вешает ключи: на гвоздь сразу за

дверью кельи. Я проскользнула туда, открыла дверь, схватила ключи и босиком прокралась по коридору. Засовы монастырской двери были тугими и тяжелыми, и я тянула их, пока не почувствовала, что у меня вот-вот лопнут жилы в запястьях. Тогда я провернула ключ, и раздался громкий скрежет. Я замерла, вся дрожа от страха, что петли тоже окажутся скрипучими, но этого не случилось, и я открыла дверь и выскользнула наружу. В саду было душно, но по крайней мере здесь хватало места, чтобы раскинуть руки; и, отче, как же прекрасны звезды! Камни, которыми была вымощена дорожка, ранили мои ноги, но я думала о той радости, что охватит меня, когда я опущу их в бассейн, и эта мысль делала раны сладостными… Отче, я слышала об искушениях, которые во времена прошлые одолевали святых отшельников в пустынях, заставляя их потакать прихотям плоти; но вряд ли что-нибудь может сравниться с наслаждением, испытанным мною, когда вода коснулась моих конечностей. Чтобы продлить удовольствие, я опускалась в бассейн медленно, держась руками за край; я улыбалась, глядя, как мое тело погружается в воду, волнуя ее черную поверхность и разбивая на осколки отражения звезд. А вода, отче, — вода, казалось,

тосковала по мне так же, как я по ней; вокруг меня она шла рябью, сперва осторожно касаясь, а затем заключив в объятия и увлекая вниз, пока наконец не коснулась моих губ, словно покрывая их поцелуями. Не открытый приятель, как бассейны из моего детства, но сокровенный сообщник, сочувствующий моим страданиями и утоляющий их наложением ласковых рук. Впервые тогда я подумала об этой купальне как о соучастнице моих преступлений — шепот воды как будто обещал мне хранить тайну, если я взамен пообещаю ей свою любовь. И я возвращалась снова и снова, отче; весь день я жила одной лишь мыслью об этом, и каждую ночь прокрадывалась туда, влекомая свежей жаждой…

Но наконец старая привратница умерла и ее место заняла юная келейница. Она спала чутко и слышала любой шорох; я знала, что вторгаться в ее келью опасно. Я знала это, отче, но как только стемнело, я ощутила, что вода зовет меня, влечет к себе. Первую ночь я выиграла сражение и сдержалась, но на вторую прокралась к ее двери. Она не шевельнулась, когда я вошла, но затем поднялась с постели и тайком шла за мной, а назавтра сообщила обо всем аббатисе, и они вдвоем настигли меня, когда я стояла у купальни.

Я понесла множество ужасных наказаний: меня бичевали, лишали воды и еды. Аббатиса была потрясена тем, как я упорствовала в своем грехе, и решила, что моя участь должна стать примером для прочих. Целый месяц я претерпевала адские муки, а потом на наш монастырь напали пираты-сарацины. В один миг ночная тишина осветилась огнями и окрасилась кровью; но пока другие монахини бегали, цеплялись за ноги аббатисы или визжали на алтарных ступенях, я выскользнула через потайную дверь, не охраняемую никем, и побежала в горы. На следующий день на пирующих нехристей нагрянули солдаты императора, обойдя их с тыла и спалив их корабли, вытащенные на берег; аббатиса и монахини были спасены, монастырские стены отстроены, и в святых стенах вновь воцарился покой. Об этом мне рассказала пастушка; она нашла меня там, где я спряталась, и принесла мне воды и меду. В своей простоте она предложила проводить меня обратно в монастырь, но когда она уснула, я сняла апостольник и скапулярий[84], украла ее плащ и сбежала, пока она меня не выдала. С тех пор я в одиночестве странствую по миру, живу в лесах и

[84] Примечания: 84
Монашеская одежда: плат и наплечник.

иных уединенных местах, часто голодаю, часто мерзну и порой боюсь; однако любые тяготы мне нипочем, и я готова встретиться с любой опасностью, если только имею возможность спать под открытым небом и смывать пыль со своего тела прохладной водой.

V

Отшельника, как можно догадаться, очень взволновала эта история. Он пришел в смятение оттого, что на его жизненном пути встретилась такая закоснелая грешница. Первым его порывом было прогнать женщину, ведь он знал, сколь греховно пристрастие к воде, и помнил, как и святой Иероним, и святой Августин, и прочие отцы церкви учили, что тот, кто заботится о чистоте своей души, не должен тратить свои силы на такую суетную заботу, как чистота тела; однако, памятуя, как его самого влекло к псалмам, он не посмел судить свою сестру во Христе слишком строго.

Более того, его тронула история Дикарки о тяготах, которые ей довелось перенести, и о том, что ей пришлось скитаться среди безбожников — цыган, трюкачей, бандитов и даже колдунов, владеющих нечистым знанием, пришедшим

с Востока, и доселе отправляющих свои темные ритуалы среди простонародья в холмах. Однако она не хотела, чтобы он думал обо всех этих бродягах так уж плохо, в конце концов, они давали ей еду и заботились о ней, а наибольшую угрозу для нее представляли, как он узнал с превеликим стыдом, «джироваги» — странствующие монахи, позорящие христианство своими пороками. Они несли сквернословие и праздность от одного монастыря к другому, усеивая свой путь злом, не чураясь воровства, кутежей и еще чего похуже. Пару раз Дикарка едва не попала к ним в лапы, но спаслась благодаря собственной находчивости и умению ориентироваться в лесу. Она уверяла Отшельника, что однажды нашла приют у фавна и его самки. Они кормили ее и укрывали в своей пещере, где она спала на постели из листьев вместе с их мохнатыми младенцами. В этой пещере она видела не то изрезанную колоду, не то деревянного идола, очень древнего, и когда лесные создания думали, что она спит, то клали перед этой деревяшкой гирлянды из цветов и мед диких пчел.

Еще она рассказала ему о деревне ткачей высоко в горах, где прожила несколько недель и обучилась их искусству, чтобы, работая, за-

платить им за приют; в ту деревню приходили странники, называясь сапожниками, углежогами или козопасами, и по ночам несли в бедные хибары странное учение. Она не могла толком объяснить его суть, лишь рассказала, что они верили, будто каждая душа может общаться с Тем, Кто ее создал, напрямую, без посредства священников и святых заступников; еще от некоторых их последователей она слышала, что есть два Бога, один добрый, другой злой, и у злого Бога имеется свой трон в папском дворце в Риме. Однако, если позабыть об этих темных вероучениях, были они кротким и сострадательным народом, добрым к беднякам и странникам, и потому она скорбела, когда однажды в деревне объявился монах-доминиканец в сопровождении солдат, и часть ткачей схватили и бросили в темницу, а иные вместе с женами и детьми бежали в зимние леса. Она бежала с ними, боясь, что ее тоже обвинят в ереси, и несколько месяцев они скрывались. Те, кто был слишком стар и слаб, заболевали от нужды и болезней. Собратья самоотверженно ухаживали за ними, и они умирали, свято веря, что попадут на небеса.

Обо всем этом она рассказывала просто и сдержанно, не так, как говорил бы человек, на-

слаждавшийся жизнью во грехе, но как тот, кто был ввергнут в это испытание в результате злоключений. Еще она упомянула, что каждый раз, когда до нее долетал звук церковных колоколов, она непременно читала «Богородицу» или «Отче наш», а ночами, лежа в полуночной темноте посреди леса, утишала свои страхи, повторяя стихи из вечернего богослужения: «Сохрани меня, Господи, как зеницу ока, под кровом крыл Твоих Ты покроешь меня»[85].

Рана на ее ноге заживала медленно, так что Отшельник каждый день приходил в ее пещеру, утешал ее словами любви и сострадания и убеждал вернуться в монастырь. Однако она упорно отказывалась это сделать, так что из опасения, что она сбежит прежде, чем заживет нога, и тем обречет себя на голод и страдания, он пообещал не выдавать ее и не предпринимать никаких мер к ее возвращению.

Он и в самом деле стал сомневаться, имелось ли у нее призвание для уединенной жизни, однако ее кротость и простодушие внушали ему мысль, что ее можно вернуть к жизни в святости, если не посягать на ее свободу. Он много раздумывал и

---

[85] Примечания: 85
Строки из шестнадцатого псалма.

спорил сам с собой (ведь его обещание не давало ему возможности посоветоваться с кем-нибудь по ее поводу) и наконец решил оставить ее жить в пещере, пока на него не снизойдет озарение, как же правильнее поступить. И вот однажды, когда он пришел к ней на «Час девятый»[86] (он уже привык читать вечернюю службу с ней вместе), то обнаружил, что она хлопочет над маленьким козопасом, который во внезапном припадке свалился со скалы чуть выше ее пещеры и упал, бесчувственный и окровавленный, прямо к ее ногам. Отшельник с удивлением смотрел, как умело она перевязала его раны и привела его в чувство, дав ему испить отвара из собранных здесь же, на горе, трав. Мальчик открыл глаза и возблагодарил Бога за чудесное спасение. Однако про этого мальчика было давно известно, что он страдает припадками, похожими на одержимость, и не раз уже он падал замертво, выпасая свой скот, и Отшельник, памятуя, что лишь величайшие святые и нечистые некроманты могут изгонять демонов, испугался, не использовала ли Дикарка нечестивые заклинания. Но она объяснила, что болезнь козопаса вызвана единственно жарой и

[86] Примечания: 86

Час девятый — традиционное богослужение, совершаемое около трех часов дня.

что такие припадки — обычное дело в жарких странах, где она ранее жила, и одна мудрая женщина научила ее лечить их отваром из крестовой травы, иначе называемой волчец благословенный, сваренным на третью ночь растущей луны, однако же без всякой магии.

— Но в любом случае, — продолжала она, — тебе не нужно бояться, что я навлеку позор на твой благочестивый приют, ведь благодаря умениям, полученным мною от той же мудрой женщины, я достаточно вылечила свою рану, так что сегодня на закате отправлюсь странствовать дальше.

У Отшельника стало тяжело на сердце, когда она сказала это, и ему показалось, что она и сама сожалеет о сказанном. И вдруг все его сомнения развеялись и он увидел, в чем заключается Божья воля относительно Дикарки.

— Зачем же, — сказал он, — тебе уходить из этого места, где ты свободна от нечестивых приставаний и можешь искать спасения? Или ноги твои истосковались по дороге, а душа твоя — по мирскому пустословию?

Она отвечала, что не стремится путешествовать и не питает отвращения к уединению.

— Однако я должна идти, чтобы добывать себе хлеб, прося подаяния, — объяснила она, — ведь

здесь никто, кроме тебя, меня не накормит. К тому же, когда станет известно, что я вылечила козопаса, сплетники и любопытствующие могут отыскать меня, узнать, откуда я пришла, и водворить меня обратно в монастырь.

В ответ Отшельник сказал ей:

— Во времена первохристиан бывали святые женщины, бежавшие в пустынь и жившие там в уединении во славу Господа и в назидание другим женщинам. Если ты решишься жить в аскезе, удовлетворяясь лишь тем, что можно добыть в этих диких местах, и проводя дни свои в молитве и бдениях, может быть, ты искупишь свой великий грех и будешь жить, а затем умрешь в мире и с Господом нашим в сердце.

Он говорил это, понимая, что, если она оставит его и вернется к скитаниям, голод и страх могут толкнуть ее к новому греху, тогда как жизнь в покаянии и затворничестве может открыть ей глаза на ее проступок, и душа ее будет вырвана из лап дьявола.

Слова его тронули ее, и она, как он видел, уже готова была согласиться вести святую жизнь, но вдруг затихла, глядя вниз, на долину, раскинувшуюся у подножия холма.

— В долине течет ручей, — сказала она. — Ты

запретишь мне купаться в нем в летнюю жару?

— Не я запрещаю тебе, дочь моя, но законы Божьи, — сказал Отшельник, — но погляди, как чудесно небеса защищают тебя от греха: в жаркую пору, когда тебя будет снедать эта страсть, наш ручей пересыхает и не сможет искушать тебя. Более того, здесь, наверху, не так жарко, зато перед рассветом и во время «Ангелюса» всегда дует прохладный ветерок, который охлаждает в точности так же, как вода.

Поразмыслив над этим и вновь заручившись его обещанием не выдавать ее, Дикарка согласилась вести жизнь затворницы, и Отшельник, упав на колени, возблагодарил Господа и возрадовался при мысли, что если ему удалось спасти сестру свою от греха, возможно, и его испытания на этой земле будут сокращены.

VI

Два года Отшельник и Дикарка жили бок о бок, по праздникам встречаясь для совместной молитвы, а все остальные дни проводя порознь и предаваясь благочестивым занятиям.

Сперва Отшельник, зная слабость женщины и ее малую готовность жить в одиночестве, боялся,

что она будет докучать ему, однако Дикарка благочестиво следовала его указаниям, не попадаясь ему на глаза, за исключением праздничных дней, а при встрече вела себя так скромно и набожно, что душа его радовалась. И со временем он стал получать удовольствие от мысли, что где-то рядом есть человек, в те же часы, что и он сам, совершающий те же ритуалы; ухаживал ли он за садом, перебирал ли четки или вставал в свете звезд прочитать полуночную молитву, — во всех его трудах и устремлениях у него был товарищ.

Со временем распространилась молва о том, что святая женщина, изгоняющая бесов, поселилась на утесе Отшельника, и многие больные из долины разыскивали ее и уходили, излеченные ею. Эти бедные паломники приносили ей масло и муку, и она своими руками разбила сад, похожий на сад Отшельника, и засадила его зерном и чечевицей. Но она никогда не ловила форель в ручье и не принимала в дар лесную дичь, пойманную в силки, говоря, что во время скитаний сдружилась с лесными тварями, и как она сама спала рядом с ними в безопасности, так и им не видать беды от нее.

На третий год пришла чума, смерть выкашивала города, и множество бедных крестьян бежали

от нее в холмы. Там Отшельник и Дикарка ухаживали за ними, и так велики были умения Дикарки, что слава о них достигла города, и оттуда явились люди с богатыми дарами, упрашивая ее прийти и избавить их от болезни. Отшельник хотел сопровождать ее в этом опасном деле, но она уговорила его остаться и позаботиться о тех, кто искал спасения в холмах. Много дней он молился за нее и боялся, что следующий беглец от чумы принесет весть о ее смерти.

Но в конце концов она вернулась, утомленная, но невредимая и осыпанная благословениями горожан, и с тех пор слава о ней как о святой распространилась так же широко, как и об Отшельнике.

Видя, как упорно она придерживается избранного пути и как далеко продвинулась в нем, Отшельник подумал, что настало время увещевать ее вернуться в монастырь. Он снова и снова принимал решение поговорить с ней, но отступал. Наконец он подумал, что, не выполняя то, что почитал своим долгом, вредит своей душе, и во время следующего же праздника, когда они встретились, напомнил ей, что, невзирая на все свои добрые дела, она все еще живет во грехе и отлучении от церкви, и теперь, когда

она уже вкусила сладость благочестия, ее долг — исповедаться в своем грехе и вернуться, чтобы настоятельница определила меру ее наказания.

Она смиренно выслушала его, но ничего не ответила, лишь расплакалась, и, глядя на нее, он тоже заплакал и не стал больше ничего говорить. Они помолились вместе и разошлись по своим пещерам.

Чума отступила в середине зимы, а весна и раннее лето выдались дождливыми и жаркими. Когда Отшельник навестил Дикарку на праздник Пятидесятницы, она показалась ему такой слабой и изможденной, что, когда они прочитали «Приди, Дух Святой»[87] и положенные псалмы, он укорил ее, что она слишком изнуряет себя аскезой; она же отвечала, что не аскеза виной ее слабости, что она вернулась от больных горожан уже не вполне здоровой, а изменчивая погода усугубила ее состояние. Ливни продолжали лить, в основном по ночам, а днем нещадно парило и жара была почти невыносимой. Даже Отшельник стал вялым и насилу мог дотащить воду из ручья. Поэтому он взял за привычку спускаться в долину еще до первых петухов, сразу после того,

---

[87] Примечания: 87
Секвенция, предназначенная именно для мессы Пятидесятницы.

как читал заутреню, ведь к этому времени дождь обычно уже стихал и дул свежий ветерок. Из-за дождей ручей не пересох, и вместо того, чтобы наполнять свой кувшин, подставляя под едва капающую струю, Отшельник просто опускал его в воду. И вот однажды, спускаясь по косогору в долину, он услышал шорох в чаще и увидел, что листва колышется, как будто кто-то прошел мимо нее. Он прислушался, но было тихо и листья больше не шевелились, однако в сердце его поселилась тревога, потому что ему почудилось, что он видел существо, похожее на человека, такое, каким бывают лесные люди. Его встревожила мысль, что в долине появились нечестивцы.

Прошло еще несколько дней, и, спускаясь к ручью, он снова увидел в чаще фигуру, и еще больший страх охватил его, но он отогнал тревожные мысли и лишь стал истово молиться за тех, кого одолевают искушения. На праздник Семи Маккавеев, что приходится на первое августа, он снова заговорил с Дикаркой и просил ее оставить аскезу и позволить ему ухаживать за ней, поскольку была она так слаба, что вид ее испугал его. Однако она мягко отвергла его помощь, ответив лишь, что просит у него одного: молиться за нее.

Перед праздником Успения Пресвятой Богородицы дожди прекратились, и чума, проявившаяся было снова, ушла; но жара еще усилилась, и холм Отшельника раскалился, как печь. Никогда в этих местах не было такой жары, но люди не роптали, потому что с прекращением дождей был спасен их урожай и отступила болезнь, и в значительной мере они приписывали эти милости Господни молитвам и заступничеству двух святых отшельников. Поэтому в канун Успения Пресвятой Богородицы они прислали к Отшельнику гонца с известием, что, когда наступит завтрашний день, горожане и жители долины придут, возглавляемые епископом, несущим папское благословение для них двоих и полным решимости отслужить мессу в пещере Отшельника. Тот немало возрадовался, сочтя это знаком, что молитвы его услышаны и он вымолил прощение не только себе, но и Дикарке. И всю ночь он молился, чтобы назавтра она смогла исповедоваться и вместе с ним причаститься Святых Даров[88].

Перед рассветом он прочитал положенные

---

[88] Примечания: 88

Перед причастием необходимо исповедоваться, то есть без исповеди нет причастия, которое очень важно для верующих; соответственно, отказываясь от исповеди из страха рассказать о своем побеге из монастыря, Дикарка отказывалась и от причастия, чем усложняла, согласно христианскому вероучению, спасение своей души.

псалмы, оделся, обул сандалии и отправился в долину встречать епископа.

Спускаясь, он видел, что горы светлы, как днем, и подумал, что никогда не видел, чтобы рассвет был так ярок. Небо от горизонта до горизонта было необычайно светлым, свет проникал даже в лесистые расселины в долине — точно так, как благодать Божия освещала все уголки сердца Отшельника. Дул утренний ветер, и Отшельник слышал лишь звук собственных шагов и журчание ручья, уже не такого полноводного, но все еще текущего между скал; однако, спустившись в долину, он услыхал далекие отзвуки песнопений и понял, что паломники уже близко. Сердце Отшельника радостно затрепетало, а ноги сами понесли его вперед, но на берегу ручья он внезапно остановился, увидев там, где вода все еще была глубока, светлые очертания женского тела, а на камне у берега — одежду и сандалии Дикарки.

Страх и гнев обуяли Отшельника, и он стоял, как громом пораженный, не в силах вымолвить ни слова, лишь прикрыв глаза, чтобы не видеть непотребное. Однако пение паломников приближалось, и он, взяв себя в руки, крикнул Дикарке, чтобы она выходила и укрылась от людей, ибо была она нагой.

Она не ответила, однако он увидел в полумраке, как ее руки колышутся вместе с колыханием воды, а глаза глядят на него, словно бы насмехаясь. И когда он увидел это, слепой гнев охватил его, и он по камням добрался до глубокого места, где она лежала, и схватил ее за плечо. В тот миг он готов был удушить ее собственными руками, так отвратительно ему было касаться ее тела, но когда он закричал на нее, осыпая бранью, она продолжала, не дрогнув, глядеть ему в глаза, и тогда он вдруг понял, что она мертва. И гнев и страх его отступили перед острой болью, пронзившей его, ведь работа его не была окончена, и та, кого он любил во Христе, пала жертвой греха, невзирая на все его труды.

Жалость охватила его, но потом он подумал о том, что вот-вот люди обнаружат его склонившимся над телом нагой женщины, которую он представлял им как святую, и они вполне могут счесть ее тайным орудием его падения; он увидел, как одним лишь прикосновением она разрушает тот храм святости, который он так долго возводил вокруг себя, и ввергает его душу в бездну, и земля завертелась вокруг него, а все вокруг окрасилось красным.

Первые паломники уже вошли в долину, и в ти-

шине громко зазвучало «Славься, Царица». Когда Отшельник снова открыл глаза, воздух освещало множество свечей, отбрасывавших отблески на священническое облачение и на сияющую дароносицу под балдахином, и лицо епископа, склонившегося над ним, было совсем близко.

С превеликим трудом Отшельник встал на колени.

— Отец мой во Христе! — воскликнул он. — Взгляни, за грехи мои ко мне был послан демон…

Но тут он понял, что люди, столпившиеся вокруг, более не обращают на него внимания, а епископ и весь его клир пал на колени у ручья. Поглядев туда же, куда глядели они, Отшельник увидел, что темные воды укрывают тело Дикарки, будто покрывалом, а над ее головой сияет яркий свет; и от паломников, даже от тех, кто стоял совсем вдали, раздались молитвенные песнопения, потому что среди них было много тех, кого Дикарка вылечила и выходила и кто благодарил Господа за это чудо. А Отшельник ощутил новый страх: что он бранил умирающую святую, что поносил ее перед всеми; и этого очередного страха его слабеющее тело уже не смогло вынести, силы оставили его, ноги подкосились, и он снова упал на землю.

Все вновь пошло кругом перед глазами, и опять он видел склоненные над собой лица; но, пытаясь слабым голосом говорить о своих прегрешениях, он ощутил благодать отпущения грехов, и священный елей лег на его глаза и губы, провожая его в последний путь. Тогда к нему вернулось спокойствие, а с ним — неистовое желание увидать наконец свои псалмы, ведь он так мечтал сделать это в свой последний час. Но он уже был слишком близок к кончине, чтобы высказать это желание, а потому постарался отогнать мысль о нем. Однако оно одолевало его, и слезы катились по его лицу, а для чего-либо еще он был слишком слаб.

Лежа так, он чувствовал, как земная твердь выскальзывает из-под него, а вместо нее его принимают божественные объятия, и услышал пение множества голосов, раздававшееся с небес и смешивающееся с пением толпы паломников; и слова, которые они пели, были словами его собственных псалмов, которые он так долго держал в тайне. И его душа возрадовалась этому пению и вместе со звуками его воспарила к Божьему престолу.

Перевод Марии Великановой

Уилла Катер. Как Волкопес чуть не украл Рождество

Уилелла (для публикаций она несколько сократит свое имя) Катер (1873–1947) была писательницей очень американской, не только по рождению, но и по судьбе. С детства она очень увлекалась устными историями, но о занятиях литературой не думала: была уверена, что хочет стать врачом. Однако в семнадцатилетнем возрасте, уже проходя обучение в Университете Небраски, она написала небольшое эссе для студенческой газеты, которое так понравилось ее профессору, что он отправил его в одну из городских газет. Текст, опубликованный там, произвел на девушку, как она потом вспоминала, «гипнотический эффект» — ее стремления изменились: она станет писателем!

Катер выполнила данное себе обещание. Она стала хорошей писательницей, получила Пулитцеровскую премию сра-

зу вслед за Эдит Уортон. Тематика ее романов и рассказов обширна: жизнь американской глубинки, красота природы, детство и взросление, разрыв связей с друзьями юности… Есть у нее и «модернизированные» религиозные сюжеты, как серьезные, так и полушуточные. С одним из них мы и знакомим читателей этого сборника.

Но в какой-то момент описываемый ею мир начал уходить в прошлое. А для современных литературоведов и издателей, время от времени устраивающих показательные извлечения из небытия полузабытых имен, Катер, похоже, недостаточно «своя»: не хватило ей какой-то скандальной нотки в личной жизни (практически отсутствующей) или активности гражданской позиции.

Это рассказ о мрачном, горьком северном крае, где мороз вечен, а снега никогда не тают, где широкие белые равнины простираются на многие мили, лишенные деревьев и кустарников, а ночные небеса становятся невыразимо прекрасными от дрожащих сполохов северного сияния, и зе-

леные айсберги плывут в царственном величии вниз по темным течениям голодного полярного моря. Это пустынная местность, где нет весны, а в короткое лето лишь редкая чахлая россыпь карликовых берез зеленеет вдоль скалистых протоков, через которые тающий снег течет чистой и холодной водой. Единственное, что радует глаз во всей этой пустыне, — то, что далеко за полярным кругом, прямо на краю бесконечных снежных равнин, находится большой дом из серого камня, где круглый год светят огни в окнах, а широкие залы согреты пылающим пламенем. Потому что это дом всеми любимого святого Николая, которого дети всего мира величают Санта-Клаусом.

Каждый ребенок знает, что этот дом прекрасен, и прекрасен он потому, что это одно из самых уютных мест в мире. Сразу за входной дверью расположен большой зал, где каждый вечер после окончания работы Санта-Клаус сидит у бушующего в камине огня и беседует со своей женой Мамой Санта-Клаус и Белым Медведем. Позади расположены столовая и комната, где спят Папа и Мама Санта, далее — мастерские, где изготавливаются все замечательные игрушки, и, наконец, спальня для Белого Медведя — ведь Белый Медведь должен спать в постели из чистого

белого снега каждую ночь, и поэтому его комната находится вдали от отапливаемой части дома.

Но большинство мальчиков и девочек мало что знают о Белом Медведе, потому что, хотя он действительно очень важный персонаж, биографы Санта-Клауса им странным образом пренебрегают. Так часто поступают все историки: они сосредотачиваются на одной важной фигуре места или времени и забывают упомянуть всех прочих, не менее важных. Затем, через некоторое время, кто-то вспоминает людей (или, как в данном случае, не совсем людей), которых историки оставили в темноте забвения, и пытается отдать им должное. Я бы посчитал это вполне достаточной целью в жизни и значительным достижением, если б смог рассказать о Белом Медведе в соответствии с исторической правдой и убедить мир в его важности. Он вовсе не похож на медведей, которые утаскивают в лес непослушных ребят, и уж совсем не принадлежит к потомкам одной из двух медведиц, сожравших четыре десятка детей, что издевались над лыси-

ной пророка Елисея[89]. Напротив, этот медведь — самый ласковый и добрый зверь, и он любит мальчиков и девочек больше, чем кто-либо другой в мире, кроме самого Санта-Клауса, конечно. Он живет с Папой Санта с незапамятных времен, помогая ему в мастерской, где разрисовывает лошадок-качалок, растягивает кожи для барабанов и клеит желтые парики на пупсов. Но его главная обязанность — забота о северных оленях, тех быстрых, сильных, ретивых молодых скакунах, без которых лошадки-качалки, куклы и красные барабаны никогда не доберутся до маленьких детей по всему миру.

Однажды вечером 23 декабря — точное время не имеет значения — Папа Санта сидел у огня в большом зале, выдувая дым трубки из ноздрей, в то время как румяное круглое лицо его сияло сквозь клубы, как полная луна через туман. Он находился в более приподнятом настроении, нежели обычно, поскольку занимавшая его весь год работа на складе подарков завершилась, последний гвоздь был забит, а последний слой

[89] Примечания: 89

4 Цар. 2:23–24 — «Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: иди, плешивый! иди, плешивый! Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка».

краски высох. Все великое множество игрушек готовилось отправиться в сумки из тюленьей кожи и погрузиться в сани.

Напротив него сидела Мама Санта, дошивая последние стежки изящного кукольного платья для маленькой больной девочки, живущей где-то далеко. Мама Санта никогда не вникала, где жили разные дети: адресной книгой занимались Папа Санта и Белый Медведь. Ей хватало того, что адресаты ее подарков были хорошими детьми, и она не желала знать больше.

У ее кресла сидел Белый Медведь и ел собачью колбасу. Белый Медведь всегда был голоден, даже между завтраком, обедом и ужином, и потому Мама Санта держала тарелку его любимой колбасы в кладовой, которая, поскольку там не имелось очага, служила холодильником.

Когда Папа Санта наклонился, чтобы снова зажечь свою трубку, он заговорил с Белым Медведем:

— Олени все в хорошей форме, не так ли? Ты видел их сегодня вечером?

— Я дал им корм и растер их час назад, и я никогда не видел их более резвыми. Завтра вечером они будут мчаться, как птицы. Однако, когда я уходил, мне показалось, что Волкопес шастает по

округе, так что я запер стойла.

— Это правильно, — сказал Папа Санта одобрительно. — Он пробродит там всю ночь напрасно… во всяком случае, надеюсь на это. В прошлом году он испортил упряжь, подрезав ее так, что четыре постромки порвались прежде, чем я достиг Норвегии.

Мама Санта отправила иголку через тонкий батист, который она шила, и сказала с негодованием так решительно, что маленькие белые кудри под ее чепцом затряслись:

— Я не могу понять извращенную злобность этой твари. Что она имеет против тебя, вечно беспокоя своими выходками? Или против детей — детей всего мира, бедных, маленьких, невинных, которых Волкопес вечно пытается обидеть, обделить их рождественскими подарками? Он, безусловно, самое подлое существо отсюда и до самого полюса.

— Он таков и есть, — кивнул Папа Санта. — У него нет особых причин для подобного поведения. Но Волкопес ненавидит все, что не так подло, как он сам.

— Я уверена, Папа, что он никогда не успокоится, пока не доведет дело до серьезной беды. Может быть, сегодня Медведю стоит получше

присматривать за оленьими стойлами?

— Я буду спать там ночью и следить, если ты так прикажешь, — сказал Белый Медведь, дробно постукивая по полу мохнатым хвостом.

— О, в этом нет необходимости, — качнул головой Папа Санта. — Мы все должны хорошо выспаться этой ночью, потому что завтра нам предстоит тяжелая работа и долгое путешествие. Я уверен, что олени сами могут позаботиться о себе. Пойдем, Мама, пойдем, нам пора отдыхать…

Папа Санта вычистил пепел из трубки и задул свечи, а Белый Медведь отправился к себе и растянулся на чистом белом снегу.

Когда в доме стало тихо, снаружи от стены отделилась тень мощного пса, столь косматого и чудовищного, какого только можно представить. Его шерсть была огненно-красной, а глаза ярко горели, как зловещее пламя. Огромные зубы выступали изо рта, словно ножи, а с губ все время стекала пена, будто внутри страшной твари непрерывно клокотала ярость. Но хвост пса был поджат, ибо его обладатель в равной степени отличался и злобой, и трусостью.

Это и был тот самый Волкопес, который ненавидел всех: зверей и птиц, и Санта-Клауса, и Белого Медведя, но больше всего — маленьких детей.

Ничто так не бесило его, как понимание того, что в мире действительно есть хорошие дети, маленькие дети, простые и добрые, которые любят друг друга и радуются всему, что живет, дышит ли оно или цветет. В течение многих лет он разными путями пытался прервать путешествия Санта-Клауса, чтобы дети не получили от него прекрасных подарков. Ибо Волкопес ненавидел Рождество, каким бы непостижимым это ни казалось. Он являлся воплощением Зла, а Рождество — это день рождения Добра, и каждый год в канун празднества ярость в темном сердце зверя снова разгоралась.

Он тихо подкрался к окну оленьих стойл и заглянул внутрь. Быстроногие невысокие олени стояли, каждый в своем теплом деннике, нетерпеливо переступая копытами. Ибо в такие славные лунные ночи олени никогда не спят: они тоскуют по дому, который для них — не стойла, а свободный бег по бескрайней белизне снежных равнин.

— Эй, маленькие олешки, — тихо позвал Волкопес, и все северные олени насторожились. — Маленькие олешки, это прекрасная ночь…

Все олени тихо вздохнули. Они знали, ах, как хорошо они знали это!

— Маленькие олешки, луна сияет так же ярко, как солнце летом, северный ветер дует свежо и несет прохладу, гоняя по небу крохотные облака, подобные птицам белого моря. Снег затвердел, на него можно ступить без боязни, и ваши братья, свободные существа, давно уже мчатся по белому насту. И звезды, ах, звезды, мои маленькие братья, они сияют по всему небу, как миллион драгоценных камней, и сверкают, как сосульки…

Олени нетерпеливо топтались в своих тесных стойлах. Слушать подобные слова им было тяжко.

— Послушайте меня, маленькие олешки. Позвольте мне рассказать, почему все ваши братья бегут сегодня вечером к Полярному морю. Этой ночью северное сияние вспыхнет, как никогда раньше, и величавые полосы красного, фиолетового и пурпурного станут трепетать в небе, пока все люди в мире не увидят их… Такого никогда не бывало прежде. Слушайте меня, маленькие олешки: это ночь для бега, долгого свободного бега, без постромок, путающихся под ногами, и без тяжелых саней за спиной. Давайте же поспешим навстречу сиянию, а после вы вернетесь домой, и ни одна живая душа не узнает об этом.

Гром (так звали одного из оленей) гневно топ-

нул копытом. Он не хотел больше слушать, что говорил Волкопес.

— Нет, нет, мы не можем, мы не пойдем с тобой! Завтра мы должны развезти игрушки для детей всего мира…

— Но ты вернешься ранее, чем наступит завтра. Едва только первый свет коснется верхушек айсбергов и окрасит свежий снег в багрянец, ты помчишься назад. Ах, это будет прекрасная пробежка, ты увидишь огни, которые никогда не светили прежде. Разве ты не хочешь ощутить ветер прямо сейчас, маленький олешек?

— Давай, Гром, давай пойдем с ним сегодня вечером! — Другие олени, Амур и Молний, больше не могли противостоять заманчивым словам Волкопса. — Прошло так много времени с тех пор, как мы последний раз видели северное сияние… И мы ведь обязательно вернемся вовремя!

Они хорошо знали, что им не следует уходить, но олени не похожи на людей, и иногда то, что они хотят невыразимо сильно, как раз и является тем, чего они не должны делать. Мысль о свежем ветре и столь милых их сердцу всполохах северного сияния, о залитом лунным светом снеге сводила их с ума, потому что северные олени любят свободу больше, чем другие животные,

любят скорость бега и свободу ветров.

Итак, пес открыл дверь (он не смог бы сделать это снаружи, но северные олени помогли ему, надавив на нее изнутри), и все они выскочили под ясный лунный свет и устремились на север, бездумно, как подобает скорее зайчатам, чем оленям из упряжки Санта-Клауса. «Мы вернемся к утру», — сказал Амур. «Мы вернемся», — сказал Гром. Бедные олени, они так любили снег — и они не могли подумать, что нарушат свое слово.

О, как хорошо снова нестись во весь опор, чувствуя, как ветер пронизывает густую шерсть! Они подставили рога свежим порывам ветра, а их копытца звенели по твердому насту. Они пробегали многие мили, не уставая и не переставая радоваться. Их ноздри раздувались, а глаза сияли.

— Помедленнее, помедленнее, маленькие северные олешки, потому что я отстаю — а я ведь должен быть впереди, вести вас. Без меня вы не найдете место, где собрались все остальные звери! — воскликнул Волкопес.

Но олень не может бежать медленно, как мальчик не может стоять спокойно, когда мимо проносится пожарная машина. Они пустили Волкопса в центр своей группы и, приподняв, понесли его на себе. Они скакали по обширным

снежным равнинам, которые сверкали так же ярко, как небо над головой. Быстрый и Перескоч, летящие впереди, громко кричали от радости.

Наконец перед ними предстала бескрайняя гладь Полярного моря. Она была темна, тиха и таила столько же загадок, как и сам полюс, а он будет хранить свои тайны вечно. Там и тут, где разошлись льдины, сквозь трещины виднелась черная вода, и огромные ледяные стены блестели, как пламя, когда северное сияние простирало свои красные знамена по небу и опрокидывало их огнем на айсберги.

Олени остановились на мгновение, охваченные высшей радостью. Они не заметили, что Волкопес оказался позади.

— Лед безопасен, старый пес? — спросил Юркий.

— Пока да, маленький олешек, пока да. Но поторопись! — хрипло прорычал Волкопес.

И маленькие беспечные олени бросились вперед, по-прежнему не замечая, что Волкопес остался на берегу. И лишь когда они отбежали далеко, вдруг услышали жуткий треск, с которым ломается лед.

— На берег, братишки, на берег! — воскликнул Гром, но слишком поздно. Злой Волкопес, стояв-

ший на твердой земле, увидел, как ломается и крошится коварный лед и как головы маленьких оленей уходят под темную воду. Он развернулся и побежал прочь; несся по снегу, поджав хвост. Удирал изо всех сил, ибо был слишком труслив, чтобы смотреть на собственную черную работу.

Что же до северных оленей, то темный поток поймал их, закрутил и уволок под льдины: всех, кроме Грома, Быстрого и Перескоча. Они вынырнули на поверхность и подняли головы над водой.

— Плывите, братишки, мы еще можем добраться до берега, — прошептал Гром.

И три храбрых оленя стали бороться за жизнь. Они плыли к берегу, который казался таким далеким, пробирались среди обломков льда, которые резали их при каждом соприкосновении, как ножи. Огромная льдина ударила Перескоча в грудь, он застонал и исчез под водой. Затем Быстрый тяжело задышал и начал отставать, а когда Гром повернулся, чтобы помочь, тот прохрипел: «Нет, нет, брат, я уже не могу бороться. Не пытайся помочь мне, или мы оба утонем. Расскажи обо всем Белому Медведю. Прощай, брат, нам больше не мчаться вместе сквозь белоснежные поля». И с этими словами он тоже погрузился в темную

воду, оставив Грома в одиночестве.

Когда последний олень добрался, измученный, до берега, он был не просто обессилен, но вдобавок сильно изранен и буквально истекал кровью. Однако Гром не мог терять время. Истерзанный и окровавленный, он отправился в обратный путь через морозную равнину.

Поздно ночью Белый Медведь услышал, как кто-то постучал в окно. Он встал — и увидел стоящего снаружи бедного Грома, шерсть которого была унизана кровавыми сосульками.

— Выходи, старший брат, — прохрипел тот. — Все остальные мертвы, они утонули, остался только я. В эту ночь к нам пришел коварный Волкопес, заманчивыми словами соблазнил нас пойти с ним к полюсу, обещая показать северное сияние прекрасней, чем мы когда-либо видели. Но вместо этого черной смертью предстало перед нами дно Полярного моря.

— О горе! — вскричал Белый Медведь. — Кто расскажет об этом Санте и кто завтра будет везти его на санях, чтобы нести дары маленьким детям? Пусты будут рождественским утром чулки, развешенные у кроваток, а сердце Санты будет разбито.

Тогда несчастный Гром опустился на снег и

заплакал.

— Не отчаивайся, — сказал Белый Медведь. — Мы должны пойти ночью на ледяной торос, где встречаются звери, чтобы устроить свои рождественские праздники. Можешь ли ты пробежать еще немного, бедный олень?

— Я буду скакать, пока не умру, — храбро ответил тот. — Садись мне на спину, и мы помчимся.

Неохотно Белый Медведь взгромоздился на спину Грома, потому что медведи не умеют бежать сами, во всяком случае, с такой скоростью, как олени. И они помчались к большому ледяному торосу, где обитатели Севера собираются, чтобы отметить свое Рождество.

Ледяной торос — огромная гора льда и снега прямо под Полярной звездой. На торосе и рядом с ним все уже пили пунш и желали друг другу счастливого Рождества. Туда прибыли тюлени, морские выдры, белые горностаи, киты, медведи, множество нигде более не виданных птиц и желтые лапландские собаки, способные тянуть упряжку, как лошади. Но Волкопса не было видно среди них.

Белый Медведь, не обращая внимания на зверей, поднялся на самый верх огромного ледяного тороса. Затем он встал во весь рост и прорычал:

— Звери и птицы Севера, слушайте меня!

Все перестали веселиться и посмотрели на ледяную вершину, где стоял Белый Медведь, очень странно выглядевший в свете звезд все еще с ночным колпаком на голове.

— Выслушайте меня, — прогремел Белый Медведь, — и я расскажу вам историю о злобе и предательстве, которых никогда не было среди нас прежде. Этой ночью подлый Волкопес, черное сердце которого полно злобы на невинных детей всего мира, пришел к оленям Санта-Клауса и обманными словами завлек их на север, пообещав показать им прекраснейшие огни, какие никогда не светили прежде. Но черной смертью встретило их дно Полярного моря…

Затем Белый Медведь указал зверям на истекающего кровью Грома и поведал, как утонули маленькие северные олени, загубленные подлостью Волкопса. Все животные возмутились и устыдились, что кто-то из их числа оказался повинен в подобном. И большой кит взмахнул хвостом, и все медведи зарычали.

— Слушайте, о, звери, — продолжал Белый Медведь, — кто из вас пойдет со мной и отвезет детям сани, полные подарков? Ибо позор всем нам, если они проснутся и ощутят себя забытыми, раз их

чулки остались пустыми.

Но ни один из обитателей Севера не ответил, ибо, хотя им было очень жаль, все они ценили свободу и возможность беспрепятственно мчаться по залитому звездами снегу и не хотели отказываться от нее.

— Что?! — вскричал Белый Медведь. — Неужели нет никого, кто примет упрек на себя, пойдет со мной к Санта-Клаусу и займет место наших погибших братьев? У каждого из вас будет теплое стойло, вы будете есть чистый сухой мох и пить воду из свежего снега.

Но все звери, даже те, кто действительно не отказался бы от мха, подумали о широких равнинах, жгучем северном ветре и былых пробежках, опустили головы и промолчали. Бедный Гром горько застонал, и даже Белый Медведь начал впадать в отчаяние, когда вдруг заговорил старый тюлень с одним передним ластом. Когда-то он попал в руки охотников и получил это увечье, с тех пор пил слишком много пунша и порой говорил невнятно — но у него было доброе сердце, у старого искалеченного тюленя.

— Мне больно, братья, что вы не отвечаете на такой призыв, когда, впервые с начала празднования Рождества, может случиться, что маленькие

дети не получат подарков, — прохрипел он. — Я всего лишь старый тюлень, который был дважды ранен охотниками, и я калека, но я сам пойду с Белым Медведем. Пусть я могу одолеть в лучшем случае всего милю в день, однако я сотру о лед оставшийся передний ласт и оба задних, но все же буду тащить детям всего мира сани, полные подарков.

Тогда всем обитателям Севера стало стыдно, а вольные олени выбежали вперед и закричали: «Мы пойдем с тобой, рассчитывай на нас!»

Именно поэтому на следующий день, пусть чуть позже обычного, Санта-Клаус закутался в свои меховые одеяния, и семь новых оленей во главе с Громом полетели, как ветер, сначала к побережью Норвегии, а потом и по всему миру. А если кто-нибудь из вас помнит, что в том году получил подарки немного позже, то это случилось потому, что новые олени еще не привыкли к своей работе, хотя старались изо всех сил.

Перевод Кирилла Берендеева и Григория Панченко

Кэтрин Батлер. Царство Божье[90]

Кэтрин Батлер Хатоуэй (1890–1942) досталась очень трудная судьба. Дочь обеспеченных родителей, в пятилетнем возрасте она заболела костным туберкулезом — и следующие десять лет (как она сама потом писала — «сто двадцать месяцев, бесконечное число дней, часов и минут!») провела фактически в неподвижности, привязанная к стальной распорке, повторяющей контур позвоночника. Но когда девочке наконец позволили вставать, выяснилось, что лечение помогло мало: ее фигура на всю жизнь осталась изувеченной, да и срок жизни оказался сравнительно недолог.

То, что Кэтрин все-таки сумела расширить свой мир далеко за пределы границ, отведенных ей болезнью, отношени-

[90] Примечания: 90

Название этого рассказа отсылает читателя к стихотворению поэта Фрэнсиса Томпсона с таким же названием; оттуда же и образ отринутого камня в финале — в стихотворении Томпсона есть строка «отриньте камень и раскиньте крылья», под которой подразумевается освобождение от бремени земного бытия.

ем семьи, американским обществом тех десятилетий, само по себе является жизненным подвигом. Она получила образование, начала писать, на профессиональном уровне иллюстрировала собственные произведения. В 1921 году создала свой литературно-художественный салон, ставший видным центром культуры штата Мэн. Собственное литературное наследие Кэтрин Батлер невелико, но ее книги и иллюстрации продолжают издаваться по сей день, причем вовсе не из жалости.

Он был в самом сердце толпы, внутри нее — той предвечерней толпы, само движение которой порождено всеобщим желанием перестать находиться в толпе. Одно из тысячи лиц, выглядевших почти трагично от усталости и отупения. К пяти часам живость утра давно позабыта. Уже не ищешь в лице напротив спрятанное сокровище, потому что лицо напротив, чьим бы оно ни было, слишком измучено своей тяжкой ношей, чтобы на нем можно было что-нибудь высмотреть.

Он бежал по лестнице, но вдруг поскользнулся и упал. Едва ли прошла секунда, прежде чем он

вскочил, рассерженный тем, что вокруг него немедленно собрались люди. Одна бледная женщина прижала ладонь ко рту и расплакалась.

— Дайте пройти! — воскликнул он, пытаясь пробиться сквозь напирающую толпу. Та самая толчея, неразличимой частицей которой был он сам, внезапно сомкнулась вокруг него, вперила в него свой многоглазый, как у Аргуса, взор, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы вырваться.

Он сел в поезд, едва дыша. Странное дело, но это происшествие словно бы вырвало его из глубокой летаргии, в которой он, сам того не замечая, пребывал. Его пульс участился, мысли потекли быстрее и стали четче. Он чувствовал, что на него обрушилась большая, хоть и неведомая пока удача. Это восторженное ощущение изумило его.

«С чего это я вдруг такой счастливый?» — подумал он.

Он окинул безразличным взглядом других пассажиров и, заметив несколько знакомых, ощутил истинное наслаждение оттого, что повезло ему, а не им.

«Я что, сплю? — спросил он себя. — Или вот-вот найду золотую жилу? Или что?»

Поезд ехал; он удобно откинулся на сиденье,

примостил подбородок на руке и стал привычно рассматривать вечерний пейзаж. Мыслями он вернулся в утро. Перед его внутренним взором предстала комната, куда он пришел будить детей. Это была большая квадратная комната, на стенах висели детские рисунки, в углу громоздились игрушки. Было прохладно и свежо, как всегда в начале мая, и в открытое окно виднелся газон, усеянный паутиной. На каждой из трех маленьких кроваток спало прелестное дитя. Они выглядели так умилительно со своими очаровательными кудряшками; губки и ноздри трепетали в такт дыханию; детская ручка, свисавшая с кровати, казалась совершенно чуждой беспокойному начинающемуся дню, а другая, лежащая на подушке, выглядела так, словно это не ребенок спит, а властная фея накладывает на кого-то чары. Когда он шел по комнате, то слышал, как малыш Джон бормочет что-то, просыпаясь. Алисия вдруг села в постели, худенькая и стройная в своей ночной рубашке, как молодой тростник. У нее были черные ресницы, а глаза — лиловые, как вереск.

— Папа! — закричала она. — Я знаю, какой сегодня день!

И через миг три маленьких вихря очутились

на полу, сбросили ночные рубашки и начали, размахивая руками и дрыгая ногами, одеваться, громко галдя в ожидании праздника. Их отец вовсе забыл, что у него сегодня день рождения, пока жена и дети не заставили его сбросить уныние повседневности и не сделали этот день лучшим из дней.

Уходя из дома, он посмотрел на Мэгги, свою хрупкую веселую жену, и попросил не переутомляться из-за ерунды. Она посмотрела на него с деланым высокомерием и велела не опаздывать к ужину, не портить праздник. Он не обратил внимания на ее слова; странно, но он никак не мог наглядеться на ее лицо. Чем больше он смотрел на него, тем более красивым и выразительным в смысле изысканности и нежности оно ему казалось. Она встревоженно заглянула ему в глаза и спросила, почему он ее не слушает.

— Потому что у тебя такое небесно-прекрасное лицо, — благоговейно ответил он.

Поезд все ехал, и он увидел зеленоватый туман, который словно шторой затянул ландшафт, такой унылый зимой, и на удивление украсил его; теперь в окно было не так неприятно смотреть, как раньше. В воздухе чудилось что-то почти лихорадочное, то легкое безумие, что сопровождает

перемену погоды.

В его сердце цвела любовь, текла по венам винным теплом, неповторимый букет аромата и вкуса. «Жизнь прекрасна! Жизнь прекрасна!» — говорило его тело, и эти слова отдавались эхом в каждой его клеточке. И когда поезд нес его по полям и лесам в город, им овладела странная страсть; она стучалась в его сердце, требуя слов, взывала к нему из молчаливых полей и лесов: слова, дай же мне слова!

Когда он вышел из поезда, спускались сумерки и моросило. Он чувствовал благодарность за темноту, за свежий воздух, овевающий его лицо, за тишину. Вечер вернул его в мрачный городок, на крохотную станцию, отмеченную лишь одним фонарем, крепко застрявшим в своем гнезде, словно древний человек ухватил его своей сильной рукой. Как всегда, с ним вместе сошли трое или четверо пассажиров, неспешно болтающих о пустяках, но они быстро исчезли за немаленькими дверями своих унаследованных от предков домов. Звук открываемой и закрываемой двери, приятный свет лампы, промелькнувший краешек накрытого стола, свисток отбывающего поезда — и в городке снова воцарилась тишина.

Он был благодарен и за то, что на свежем воз-

духе в этом благословенном месте у него снова улучшилось настроение. В этот темный и туманный майский вечер он снова ухватил потерянную было нить своего бытия. Только сегодня она казалась ему более золотой, трепещущей надеждой и тайной — тихий миг, проводящий грань между прошлым и будущим. «Сегодня мне исполняется тридцать лет, — подумал он, — у меня жена и трое детей». Как же быстро пробежало время! Они правда есть у него или это сон? Куда приведет его эта пустая улица? Может, в Вавилон или на затерянный берег богов и видений? Он завернул за знакомый угол. Свежий ветер швырнул ему в лицо водяные брызги, и в неясном свете он увидел головки крокусов, раскачивающиеся посреди травы у тротуара. Он распахнул дверь и услышал голос Мэгги, доносящийся из столовой, и смех Алисии.

— Привет! — крикнул он, но ему никто не ответил, и он вошел в столовую. На столе кругом стояли свечи, пока не зажженные, и ваза с цветами.

Мэгги сидела у огня, колола орехи и рассказывала что-то детям, рассевшимся вокруг нее в белых праздничных одеждах; отблески огня плясали на их лицах. Малыш Джон уставился на пламя с

тем самым видом, из-за которого его мать верила, что он одарен душой поэта. Она рассказывала самые диковинные сказки, какие только могла измыслить. Ее негромкий монотонный голос звучал таинственно.

Глава семейства задержался у двери, подумав, что, возможно, нарушил этикет дней рождения, вторгнувшись раньше, чем все было готово. Он засмеялся и сделал шаг назад.

— О, смотрю, мне здесь не рады. Я ничего не видел, правда! — И добавил, уже выйдя на лестницу: — Как скоро мне можно будет зайти?

Но ему не ответили. Слышались только загадочный голос Мэгги, звук, с которым она колола орехи, и короткий смех Алисии.

— Мэгги, дорогая! — снова позвал он.

Ответа снова не последовало. В комнате продолжали рассказывать и слушать волшебную сказку.

— Кстати, — он спустился по лестнице, — кстати, Мэгги, можно тебя на секунду?

Рассказчица умолкла, но не ответила и не вышла к нему. Охваченный дурным предчувствием, он подошел к двери столовой. В его голосе прозвучало удивление:

— Мэгги!

Она обернулась, и на ее лице промелькнуло замешательство, похожее на его собственное. Но она смотрела сквозь него, как будто его здесь не было. Малыш Джон глядел в огонь, все еще под глубоким впечатлением от того, что рассказала мать. Словно выныривая из сказки, он спросил:

— Что ты услышала, мама?

Она испуганно поглядела на него, а потом нежно и тепло улыбнулась.

— Да просто ветер на улице, дорогой. Ночь дождливая и ветреная.

И снова обернулась в сторону двери.

— Мэгги!

Его вдруг охватили такой страх и такая мука, что он едва смог заговорить снова. Приложив руку к голове, он шагнул к жене.

Словно для того, чтобы найти утешение в этот сложный момент, он задержал взгляд на Алисии, ребенке с изящными руками и чуткой душой.

Робби, приставучий младшенький, прильнул к матери, глядя встревоженно.

— Мама, кажется, я что-то слышал, — сказал он.

Она склонилась над ним, вся дрожа.

— И что это, как ты думаешь, милый? — спросила она.

— Я подумал, это дождь стучится в окно и пытается зайти.

Она рассмеялась, тяжело поднялась, держа ребенка на руках, и принялась расхаживать перед уютным камином. Довольно долго не было слышно ничего, кроме далеких завываний ветра, треска огня и шагов Мэгги.

Внезапно Робби расплакался, продолжая прижиматься к ее плечу.

— Почему папа не идет?

Его отец бросился к жене, чтобы обнять ее и ребенка у нее на руках, с криком:

— Мэгги!

Она снова села в кресло, продолжая дрожать, и испуганно и сочувственно погладила ребенка по голове.

— Что за гнетущая тайна! Это жизнь или смерть? — вскричал он.

Тщетно он простирал к ним руки. Между ними лежала непреодолимая пропасть. Когда он наконец отвернулся от жены, ему показалось, что стены дома давят на него, от огня в очаге исходит нестерпимый жар, а зрелище человеческой скорби невыносимо.

Он направился к двери, но на полпути в сомнении обернулся. Лицо Робби покоилось на груди

матери; его глаза запали и потемнели — он почти догадался.

Затем от дверей раздался звук, заставивший Мэгги вскочить в испуге. И желание обнять и утешить ее пересилило в нем желание вырваться на свободу.

Она оставила детей и пошла, решительная и бледная, встречать гостей; он парил позади нее. Она была похожа на хрупкий сломанный цветок, как крокусы в траве, побитые дождем.

Когда дверь открылась, он увидел двух мужчин, стоящих в темноте и сырости. Какое-то время оба молчали, а потом один посмотрел на другого и выпалил:

— Да скажи ты ей, бога ради!

Он видел это как в тумане, словно был уже в тысяче миль отсюда. Больше ничего ему не удалось услышать. Он вылетел наружу, в ветер и дождь. В его груди снова разлилось ни с чем не сравнимое наслаждение. Перед ним лежали темные холмы. Где-то внутри него распахнулись двери, так долго запертые на засов; его охватило ощущение триумфа. Больше он не чувствовал ни скорби, ни жалости — только невероятную свободу и радость, как будто с его плеч свалился и укатился прочь тяжелый камень.

— Смерть прекрасна! Смерть прекрасна! — отдавалось эхом в каждой точке его существа.

Он почувствовал морозное дыхание гор, познал безбрежное одиночество моря. Его жилы были огромными реками, текущими по лику земли, и так же сверкали и играли бликами. Его голова была среди звезд, он видел солнце и луну одновременно, и все четыре времени года выстроились перед ним. Облака на небе расступились и исчезли, и он увидел на фоне небесного свода вереницу сияющих благодатных фигур, отбрасывающих тень неуловимого величия на земную твердь.

Перевод Марии Великановой